



# СОГЛАСИЕ

*Ирина Муравьева*

АНАНАСЫ В ШАМПАНСКОМ



*Светлана Насекина*

ОЧЕРЕДЬ К ПОСОЛЬСТВУ

*Стихи*



*Юрий Карабчиевский*

УТРО И ВЕЧЕР

*Повесть*



*К 100-летию со дня рождения*

*Георгий Иванов*

ЗАКАТ НАД ПЕТЕРБУРГОМ



2' 1994

---

---



---

# СОГЛАСИЕ

---

---

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

**№ 2 (27). ФЕВРАЛЬ 1994 ГОДА**

МОСКВА. АО «СОГЛАСИЕ»

**В НОМЕРЕ:**

---

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

Ирина Муравьева  
АНАНАСЫ В ШАМΠΑНСКОМ

3

---

Светлана Насекина  
ОЧЕРЕДЬ К ПОСОЛЬСТВУ

*Стихи*

9

---

Юрий Карабчиевский  
УТРО И ВЕЧЕР

*Повесть*

20

---

Владимир Рецепттер  
ОБРАЩЕНИЕ К КАЗАНОВЕ

*Роман. Окончание*

66

---

Михаил Тарковский  
ЛИЦО ЗЕМЛИ

*Стихи*

121

---

Петр Алешковский  
АРЛЕКИН, ИЛИ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ  
ВАСИЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА ТРЕДИАКОВСКОГО

*Роман. Окончание*

125

---

**ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ**

*К 100-летию со дня рождения*

Георгий Иванов  
ЗАКАТ НАД ПЕТЕРБУРГОМ

208

---

**ПУБЛИЦИСТИКА**

Анатолий Курчаткин  
«ПЛАЧ ПО СОЦИАЛИЗМУ»

219

---

---

---

**К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

*Редакция располагает ограниченным количеством экземпляров журнала «Согласие» №№ 1—8 за 1991 год, №№ 1—12 за 1992 год, а также №№ 1—12 за 1993 год. Цена договорная.*

*Журналы можно приобрести в редакции по адресу: 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.*

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.**

---

---

---

---

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

---

---

Ирина Муравьева

### АНАНАСЫ В ШАМΠΑНСКОМ

Сквозь сон просочилось размытое дождем, слышанное в детстве: «Гули-гули-гули...» Потом звук дождя проступил сильнее, и сквозь его усилившуюся густоту опять: «Гули-гули, гули-гули...» Я открыла глаза, и во вздрагивающей рассветной белизне они выхватили сначала пустую детскую кроватку, плотно уставленную мешочками с сахаром, потом коробочку с надписью «Трава пустырник», потом банку с мутной жидкостью, затянутую марлей, на подоконнике. Тогда я вспомнила: это Москва, да. Вчера мы прилетели в Москву. Подошла к окну, отдернула занавеску: под мерно льющим дождем согнутая старуха крошила хлеб восковыми пальцами. Это она бормотала, возвращая мне детство: «Гули-гули-гули...» За старухой чернела развороченная помойка: переполненный бак, из которого вываливалось гниющее содержимое, и две ободранные кошки жадно пожирали что-то, вжав мокрые прилизанные головы. О Господи! Это начиналось утро, начиналась Москва.

Низкое и сумрачное строение Рижского рынка обросло темными сплюснутыми ларьками, ларьки — темными и сплюснутыми людьми. Торговали, покупали, приценивались, бранились. Те же пучки петрушки и укропа, что десять и пятнадцать лет назад, те же размокшие розовые сыроежки. Но сам рынок поразил меня: все прилавки его были завалены экзотическими фруктами: мохнатыми киви, ананасами и похожими на связки золотых полумесяцев бананами. Покупателей было меньше, чем продавцов, может, поэтому мне и закричали со всех сторон: «Дэвушка! Подойди сюда! Гляди сюда!! Бэри ананас! Бэри лимоны! Дэвушка, а, дэвушка!» Я подошла к первому. Пальцами, испачканными в черной виноградной крови (полураздавленный виноград чернел в большом тазу с отбитыми краями), он протянул мне колючий крепкий ананас: «Бэри, нэдорого!» — «Сколько?» — «Полторы тыщи! Бэри, нэ жале!» — «Что? — ахнула я. — За один ананас?» — «Зачем за один? — обиделся испачканный сладкой черной кровью человек. — Сейчас взвесим, увидим, сколько в нем. За килограмм — полторы».

С этого полторатысячного ананаса пришло ощущение перевернутых величин, расплзшихся измерений. Я и удивлялась и — не удивлялась. Удивление тут же переходило в защитную отстраненность, ибо оно было слишком громоздко, и тяжесть его превышала мое душевное пространство, разламывала его, как, бывает, мигрень разламывает затылок до того, что кажется, лучше избавиться от всей головы, лишь бы отдохнуть от боли.

Машина ныряла по ухабам разбитых московских мостовых, как лодка. Быстро темнело. Из подворотен, из старых арок возникали тени, двигались по трещинам вечерних улиц, иногда их освещало то тут, то там разведенными кострами. У костров тоже шла какая-то жизнь:



кружком сидели дети, что-то пили, что-то рассматривали, совещались. Поддерживая друг друга, прошли два старика; склонились над большим мусорным баком, пошарили, пошли дальше. Мы остановились на тусклом светофоре, и вдруг молодое, изуродованное ожогом, пьяное лицо приникло к ветровому стеклу, рука в рваной варежке перекрестила нас, лицо залилось готовыми слезами, и прыгающие губы начали целовать нашего водителя прямо через стекло. «Сереза! — взмолилась я. — Открой окно! Я ему дам денег!» Сереза обернул ко мне каменный профиль: «Различать надо, кому давать, а кому — нет! Ты, что, не видишь, что это клоун! Ими весь город кишит!» Лицо в лишайнике ожога отвалилось, рука показала нам кулак. К соседней машине подошел мальчишка лет девяти-десяти. Предложил товар: бутылочку с пепси колой. Сидящий за рулем плотный, немолодой, в массивном кожаном пиджаке человек бутылочку не купил, но ленивым жестом дал мальчишке закурить, и тот, втянув вихрастую голову в младенческие плечики, проскользнул между машинами обратно к костру, где сидели такие же, как он, дымили сигаретами...

Где-то в районе Чистых Прудов мы вильнули в переулок, и светящийся огнями, гостеприимно распахнутый подъезд предстал взору, как видение дореволюционной действительности. Перед подъездом стояли два швейцара в добротных ливреях. Мы прошли внутрь. Там было тепло, медовый свет разливался по вестибюлю, освещая витые столбики ведущей наверх дубовой узкой лестницы, малиновые ковры, странные окна с цветными стеклами, как оказалось потом — ненастоящими. Маленький гардеробщик в залоснившемся сюртучке прошлого века принял наши пальто, мелко тряся воробьиной головкой. Две девицы в очень открытых, вишневых, цветом в ковер, туалетах держали на подносиках блестящие желтые жетончики. «Берите, берите, пожалуйста!» — сахарно улыбались они, подсовывая эти пластмассовые кружочки. «Что это?» — удивилась я. «Это для игры в рулетку. Первые ставки, — объяснили вишневые девицы хором. — Вы можете уже сейчас попробовать, пока не начался капустник». Пора, наверное, объяснить: мы попали на капустник, который театр «Современник» давал в только что открывшемся клубе московских бизнесменов. Накрытые столы в большой комнате первого этажа ломились от еды. Черная икра была выложена прямо на тарелки, и первый раз в жизни я увидела материализованную метафору — икру «ели ложками». Из ананасов, памятных мне по вчерашнему Рижскому рынку, варварски вырезали нутро и вставили в каждую освобожденную от плода кожуру красные фонари. Экзотические плоды, раскинувшись подобием маленьких пальм по белой скатерти, горели между тарелками с икрой, лососиной, севрюгой. Большие, целиком запеченные рыбы с синими глазами лежали на овальных подносах, и было как-то даже неловко разрушить такое искусство, раскромсать его ножом. Комната уже была плотно наполнена телами, а люди все вливались и вливались из медового освещенного вестибюля, поигрывая только что полученными от вишневых девиц желтыми кружочками. Вечер, как сказал бы Толстой, был пущен.

Сразу стало очень накурено, душно. Чад какой-то стоял в воздухе, и казалось, что в этом чаду плывет перед моими слезящимися глазами сон ли, фильм — не знаю, что угодно, но только не реальная московская жизнь одна тысяча девятьсот девяносто второго года, на задворках которой маленькие гавроши греются у уличных костров. Среди мужчин бросались в глаза, во-первых, немолодые, седобородые, похожие на золотопромышленников из пьес Островского, которые золотыми зубами вкусно жевали упругий виноград и подкладывали себе на тарелки влажную лососину. Таких, правда, было немного, человек шесть-семь. В основном же капиталистическую Москву представ-

ляли джентльмены не старше сорока лет. Все во фраках. Есть такой особый тип людей, очень щедушных, маленьких, нервных, с напряженными плечами, с быстрыми, бледными, трясущимися пальцами, которые стараются ни с кем не пересекаться взглядами и в которых, кажется, все расбалансировано, все дрожит мелкой внутренней дрожью: слабые склеротические жилки на висках, мизинцы, запонки, родинки. Такие люди, чаще всего, бывают или темными пропойцами, или миллионерами, одержимыми темными страстями. Мы, судя по всему, оказались среди последних. Бежали зрочки, прыгали руки с вилками, кривились тонкие губы и вдруг растягивались визгливым смехом, брызгали слюной пополам с икринками. Девицы в вишневых шелках наклонялись к ним полуоткрытой грудью с высоты негнущихся лаковых каблуков: «Водку? Коньяк? Джин с тоником?» Кроме девиц с подносиками, озабоченно сияющих белыми улыбками, в чадной зале присутствовали и просто гости. Часть из них была в вечерних туалетах, часть просто в платьях, претендующих на шик. Прямо передо мной стояла худая, ярко-рыжеволосая женщина с какими-то черными перьями вместо рукавов, огненным маникюром сжимала бокал с джином и тоником. Ох, как меня тянуло выйти на улицу, тихо постоять в темноте, подышать прелыми листьями, редкими дождевыми каплями! Но тут в зал вошли актеры театра «Современник». Память сгустками выталкивала стершиеся имена: да, Неелова, а эта, не помню фамилию, но знакомое лицо, и играла в каком-то фильме... Каким? А маленькая, с умными острыми глазами, с детским тельцем в какой-то синтетической размахайке, в черных чулочках, — Лия Ахеджакова; а это Гафт, у которого не одно лицо, а два разных, ибо верхняя половина отведена страдающим собачьим замечательным глазам, а нижняя — полураздавленной змеиной улыбке. И ведь приходится существовать вместе: змее и собаке, презрению и боли, а каково им вместе-то? На одном лице? На одной шее? И были еще какие-то, совсем из молодых, появившиеся, наверное, после моего отъезда: писаная красотка с вызывающим... Чем? А всем: ногами под очень короткой, почти незаметной юбочкой, глазами с сиреневыми веками и мохнатыми ресницами, алыми губами, похожими на переспелую мокрую клубнику. Короткие волосы взбиты и перехвачены черной пиратской повязкой поперек белого выпуклого лба. Позже я поняла, что все эти вызовы: ног, глаз, губ, волос — не случайны. Это и для песен, которые надлежало пропеть, прохрипеть в распаренные уши бизнесменов, песен, сочиненных специально для этого капустника, специально для этих, со склеротическими жилками на висках, с прыгающими пальцами, со счетами в нью-йоркском банке, потому что в их прыгающих пальцах сейчас все: и меха, и икра, и нефтяные прииски... Но не только для песен. В вошедшей стайке «Современника» было сочетание актерской сценической свободы, отлакированного поведения людей, привыкших быть узнаваемыми и жить на виду, с глубоко запрятанным презрением неимущей элиты к денежным мешкам с косноязычной речью, к прыгающим рукам с отпечатками долларов на потных ладонях. В дымном чаду перед моими слезящимися глазами, заслоняемая рыжеволосой головой над черными перьями рукавов, проходила раздробленная по позвоночнику Москва, новый вариант «Талантов и поклонников», Раневской и Лопухина, артистичность, брезгливость и бедность — сквозь горловой ком — поющие, хрипящие, сахарно улыбающиеся тем, от которых зависит судьба твоей пьесы, задуманного фильма, поездка в Италию... Потому и была бравада, клоунада, вызовы, сдержанная отстраненность завешенной темными очками Нееловой, алые, как переспелая клубника, губы красотки в пиратской повязке...

А куда деваться-то? А как жить?

Я вышла все же на улицу, постояла в темноте, подышала дождем, прелой московской, забензиненной осенью. Вернулась обратно в этот чад и услышала кусок чьей-то пришептывающей речи, с запинками извлекаемой из тщедушного тела, туго стянутого фракком. «Он дает спич! — рыжеволосая женщина с огненным маникюром стрельнула в меня круглыми зрачками. — Слушайте, это интересно!» «Спич давал» председатель клуба. На указательном пальце блестел перстень с черным камнем. «И вот мы тогда посоветались, — пришептывая, рассказывал обладатель черного камня. — И посоветались мы и решили, чтобы... это, чтобы было у нас в нашем городе такое место... это, такое место, чтобы все мы могли, где все мы могли безо всяких посторонних, я хочу сказать, безо всяких чужих лиц, придти после тяжелого дня и, потому что мы работаем нелегко, и мои коллеги, которые меня здесь слушают, не дадут мне соврать, придти сюда, в этот гостеприимный дом, где нам дадут хорошо покушать и чего-то вкусного закусить и выпить, и мы в своей среде сможем все расслабиться и попеть и хорошо поплясать с нашими прекрасными дамами...» Черный перстень замер в воздухе. Зал слегка одобрительно поаплодировал. «Мы надеемся, что этот клуб не исчезнет с лица нашей матушки Москвы, и мы сделаем все, чтобы в нем было чисто и вот так же красиво, как сегодня, и наши гости и те актеры, музыканты и танцоры, которых мы будем приглашать сюда, смогут тоже получать от нас удовольствие, как мы от них, поэтому да здравствует новый московский клуб «Петровские палаты!» Спич оборвался грохотом раздавшихся рукоплесканий, и тут же на сцену выскочила красотка с пиратской повязкой на выпуклом лбу, и с ней двое мужчин: один в тельняшке, в матросской шапке, в облезлой чернобурой лисе, перекинутой через тельняшку, другой — толстый, с длинными волосами, в каком-то ватнике-безрукавке; красотка поставила свою ногу на колено чернобуролисого, и тот объявил, что в честь пригласивших их сюда хозяев клуба будет первый раз исполнена только что сочиненная песня «Ты гуляй, гуляй, купец». Из всей залихватской, невероятно громко исполненной песни я и запомнила один только рефрен: «Ты гуляй, гуляй, ой, гуляй, гуляй, купец», во время которого пиратка утыкалась всклокоченной головой в собственную же согнутую ногу, придавившую каблуком колено парня в чернобурке, а молодец в безрукавке так страшно откидывал назад толстый торс, что лицо его на мгновение исчезало совершенно и оставалась только огненно-красная от напряжения шея, перевитая вздувшимися от крика венами. Потом были горячие блюда на втором этаже. И там тоже было не менее дымно, душно, чадно, но подавали уже не девицы в вишневых шелках, а официанты в накрахмаленных белых рубашках. Над головами сидящих, над чистыми круглыми лысынями, над старомодными проборами-ниточками, над вытравленными перекисью женскими кудрями плыли в ловких растопыренных пальцах серебряные судки с — «шампиньончиков в сметанке не желаете?», «язычка с хреном?», «баранинки?», «карпа свеженького?». Кусок не лез в горло, глаза слезились от духоты и сигаретного дыма. Тут заметила я веселую, очень немногочисленную компанию крепко подвыпивших, тщедушных фракков, которые уже не хотели есть и придумали себе новое развлечение: брали с тарелок розовых раков с отлакированными усами, с черными бусинками мертвых глаз и ловко насаживали их на ананасовые пальмочки. «А вот и моя птичка прилетела...» — смеялся председатель клуба, закрепив розовый панцирь на зеленой верхушке экзотического плода. «А мой уже гнездышко свил, пока твоя летела», — нетвердым баском перебивал другой и вилкой подцеплял «птичку» председателя так, что рак падал на стол. «Обижаешь, Сеня!» — возмущался председатель, трясущимися пальцами закрепляя нового усача на

пальмочке. «Господа бизнесмены! — певуче объявила возникшая в дверном проеме блондинка в черном бархатном платье. — Приглашаем вас вниз на раздачу призов и лотерею!» На лестничной площадке стояла симпатичная парочка: один из купцов Островского и совсем молоденькая, с очень длинными ногами, в очень низком декольте девчушка с гладко зачесанными черными волосами. Проходя мимо, я уловила только конец фразы: «Можно вместе и во Флориду слетать. А? Погреться на солнышке? Подзагоришь, посвежеешь...» Ответа черноволосой Шахерезады я не расслышала. «А чего не слетать-то?» — пронеслось в моей задымленной голове. Не врет купец: и подзагоришь, и посвежеешь...

В зале на первом этаже притушили свет. Под медленную, мучающую нервы музыку две молодые, очень белолицые, с кроваво-красными губами женщины демонстрировали модели меховых изделий. Они не улыбались и не заигрывали с публикой. Их лица были зловеще неподвижны, глаза слегка безумны, губы полураскрыты, как перед поцелуем в индийском двухсерийном фильме. Один из служителей накидывал шубы на их острые голые плечи. Зал стонал от восхищения. Шубы и впрямь были особенные: не какая-нибудь там лисанутрия, а норка белая, серая, голубая, иссиня-черная, соболь, подернутый ранней сединой, голубой песец, такой голубой, что и впрямь сиял на всю полутемную, нежно подкрашенную алыми ананасами залу. Сиял, светился. Каждая из шуб была самым вычурным образом сшита. Ах, не на московские снега, не на наши колючие метели шили эти шубки! Для Флориды-то, может, и жарковато, а вот для парижской ранней весны — как раз. Или для нью-йоркской осени, чтобы выскочить из роллс-ройса, прижимая к себе кудрявую собачонку на золотой цепочке. Белолицые женщины сомнамбулически двигались по зале, не улыбались. Мертвые, невезучие звери переливались на их плечах. Я по наивности подумала, что эти шубы сейчас будут разыгрывать в лотерею, и ужаснулась. Но нет, обошлось. Молодой служитель сгреб ворох блестящих мехов и быстро уволок их куда-то на задворки. Зал громыхал аплодисментами. Опять грянула разудалая музыка, и началась раздача каких-то призов — не понятно, за что. Тут я не все помню, потому что случилась толчея и неразбериха. Помню только, как, страдая глазами и корчась губами, двуликий Гафт раздавал женщинам бананы — каждой по одному. Я ускользнула в сторону, и мне банана не досталось. Зато моя американская подруга получила огромный, слегка даже переспелый, и с удивлением прижала его к груди, не зная, что теперь полагается делать: есть неохота, а куда девать? Вроде ведь приз. В зале было нечем дышать, никто уже никого не слышал, потому что шла громкая игра в рулетку, во-первых, а во-вторых, громко обсуждались планы на будущее в каждой из образовавшихся групп и группочек: деловая Москва не любит терять времени даром. «Я тебе всю документацию представлю завтра же!» — доносилось из одного угла. «А я вам говорю, что нам подвальное помещение не годится! Плевал я, что это в Амстердаме! Я в Амстердаме скоро дом куплю! И все дела!» — брызгало из другого. И тут весь этот гвалт перекрыл глуховатый голос маленькой Лии Ахеджаковой, которая, давая интервью одной из находившихся здесь же телепрограмм, кричала в микрофон: «Дорогие, милые, хорошие бизнесмены! Вы наша надежда, вы наша гордость! Помогите нам! Посмотрите на нас! Мы умные, мы талантливые, мы добрые, очень красивые! Помогите нам! Нам так хочется работать! Мы столько можем! Я мечтаю сыграть в фильме по роману Достоевского! У нас есть блестящие сценарии, замечательные идеи! Помогите нам! Посмотрите на нас! Слушайте, надо же держаться вместе! Отчего вы не хотите нам помочь?»

Я тихонько потянула за рукав опекающую нас даму с Останкинского телевидения: «Можно нам домой? Как отсюда добраться-то?» Она куда-то исчезла, и через пять минут вернулась, загадочная и счастливая: «Ира! Только ни о чем не спрашивайте! Вы ничего не должны знать! Это лично мне сделали любезность, но сохрани вас Бог спрашивать! Вас везут на машине одного... — голос ее вдруг стал хриплым и страшным, понизился, — одного мил-ли-ар-де-ра, вы меня поняли? Он дает вам шофера и телохранителя ровно на полчаса, туда — обратно, вы меня поняли?» «Господи! — взмолилась я. — Не надо мне телохранителя! Такси разве нельзя поймать?» Ира! — гнев зазвенел в ее горле. — Вы как ребенок, ей-Богу! Объясню вам: нельзя! Как величайшая любезность! Мне — лично! Поняли? Через пять минут выходите!» Через пять минут мы вышли. Подъехал маленький «Жигуленок». Я не выдержала: «Это и есть мил-ли-ар-де-ра?» Опекающая — в самое мое ухо: «Господи! Это ведь конспирация! Что вы, как маленькая, ей-Богу!»

Два скошенных затылка, косая сажень в плечах — каждый, сидели впереди. За всю дорогу ни тот, ни другой не проронили ни слова. Крепкие, видать, ребята, не зря их миллиардер держит. Доставили нас к подъезду. Я робко спросила: «Мы вам что-нибудь должны?» Затылки отрицательно мотнулись. Потом телохранитель повернул к нам широкое, лиловатое от фонарного света лицо: «Доброй ночи». Мы поднялись к себе по неосвещенной лестнице, слабо пахнувшей кошками и валерианкой. Не снимая куртки, я подошла к окну. В доме напротив одно за другим гасли окна. Люди ложились спать. «Завтра, — вдруг подумала я. — Завтра тоже будет все это. Москва, дождь, развороченная помойка, детская кроватка в моей комнате, плотно уставленная мешочками с сахаром. И дай Бог, чтобы она опять появилась, эта согнутая старуха, которая кормит голубей и бормочет, возвращая мне детство: «Гули-гули-гули...»

---

---

---

Светлана Насекина  
ОЧЕРЕДЬ К ПОСОЛЬСТВУ

\* \* \*

1

Пора опять нанизывать на нитку  
И узелочком связывать концы,  
И бьющуюся золотую рыбку  
(Она в чужом стохотворенье бьется),  
Как право на бессмертную ошибку,  
Когда и сами Божии гонцы  
Запаздывают, — не поймать, сдается.

2

А может быть, сдается невпопад  
Ты лучше зятяни потуже ворот  
И в легкие поэзии, как в сад  
Таинственный, не пропускай совсем  
Простолюдинов, ветрениц, солдат,  
Детей сопливых — будешь сам исколот  
Шипами роз да иглами поэм.

3

Зачем им знать, что в мире это есть,  
И злобно выражать недоуменье?  
Они умеют вычесть и прочесть,  
Но принимать поэзии уколы  
Как благодать? Но жизнь отдать и честь  
В какое-то безумное мгновенье  
За прихоти божественной глаголы?

4

Конечно, нет. Как хорошо, что нет.  
На этом мир стоит, и ты, безумец,  
Из той же глины. Тех же пальцев след,  
Тебя лепивших, вмят в тебя до смерти.  
Ты не Его помазанник, поэт.  
Холодный дождь летит в ущелья улиц.  
Не говори — должно быть, сеют черти.

5

Помянуты не к ночи. Я сама  
Боюсь туда ступить: мокры дорожки,  
И шелестят деревья, как тома,  
И соловьи еще не встрепенулись.  
Свой соловей у каждого. Луна  
Крадется в темноте, подобно кошке,  
И дерева в безмолвьи сомкнулись.

## 6

О соловьях теперь? Но твой-то, твой  
(Раз говоришь, что каждому положен!),  
Ощипаный, невыспавшийся, злой,  
Почти комочек отсыревшей пыли,  
Себя готовый выдать с головой,  
Поющий не гортанью даже — кожей,  
Так тоже, говорят, бывает, — или?

## 7

Да — или. Или ты его спасти  
Не в силах, и тогда замки не трогай.  
Тебе такую ношу не снести,  
И ни шипом не сделаться, ни розой.  
Лишь знай, что смерть твоя — в твоей горсти.  
Он пылью станет на твоей дороге,  
Осядет на листе презренной прозой.

## 8

Достаточно о нем. Твой мир рогат,  
И лужица на дне бессонной ночи  
Доказывает то, что ты богат,  
Но скуп, и скоро сам себя погубишь.  
Тебя заруют в землю, словно клад,  
Монетами тебе закроют очи,  
Из золотого кубка ты пригубишь.

## 9

Но этого питья в моем дому  
Достаточно, причем в любой посуде.  
Не надо отправляться к Самому  
Лишь для того, чтоб сладкого отведать.  
Тебя, как гостя, как-нибудь приму,  
И поднесу на бабушкином блюде,  
И приглашу со мною отобедать.

## 10

О, согласишься, знаю. Но не в ту  
Мы область углубляемся, похоже.  
Я проглочу и эту срамоту  
И, если избегу гражданской казни,  
Не выдам даже белому листу  
Подробностей, прошедшее итожа,  
Одно себе позволив — из боязни.

## 11

Хоть ты порой теряешь даже пол,  
И те, что так в тебе счастливо слиты,  
Теперь являют меньшее из зол,  
Хоть вдвое сердце нежное терзают,  
Лишая выбора, и смертный есть укол  
В прекрасном имени Гермафродита,  
Когда они его в тебе признают.



## 12

А мне там места нет. Я ухожу,  
 Нашупывая скользкие ступени.  
 Приблизюсь к роковому рубежу,  
 А может, и его уже миную,  
 Но обо всем прилежно расскажу,  
 И в темные войду пустые сени,  
 И громко кликну девушку сенную.

## 13

Здесь новый мой приют. Сними с меня  
 Сапог железный. Их я истоптала  
 Дотла. И нет ни ночи мне, ни дня,  
 И будешь ты, служить мне тридцать лет,  
 Свою судьбу жестокою кляня,  
 Следить, чтобы свеча не затухала,  
 Да каменный глодать со мною хлеб.

## 14

Ты, знаю, в тонкий месяц влюблена,  
 И оттого он так сияет ярко  
 И сватов шлет — ты видишь из окна,  
 Что к нашему они подходят дому.  
 Отдам — ты будешь верная жена,  
 Любить его ночами будешь жарко.  
 Отдам ему, чтоб не давать другому.

## 15

И, выбрав одиночество в мужья,  
 Я тоже справлю свадьбу, отгуляю.  
 Нам есть о чем подумать, жизнь моя,  
 Хоть никогда мы не писались слитно,  
 И здесь, на черной кромке бытия,  
 И я тебе лицо свое являю.  
 Смотри, душа моя. Теперь не стыдно.

## ОЧЕРЕДЬ К ПОСОЛЬСТВУ

## 1. Большая Ордынка

Сойди на этой станции метро,  
 Потом иди подземным переходом,  
 От утреннего ежась холодка.  
 Безлюдны улицы. Столетие старо.  
 Мы никуда не едем год за годом.  
 А по Большой Ордынке шли века.

Орда, что все еще на том конце  
 Ордынки ждет твоей покорной дани,  
 В твои глаза раскосые глядит.  
 Смешалась кровь. Переменись в лице,  
 Почувяв дым, ползущий из-под зданий,  
 И сердце он тебе разбередит.

Так, натываясь на веков обломки,  
 Пустых посольств минуешь длинный ряд,  
 Язык свой забывая с каждым шагом.  
 Твои неповторимые потомки  
 Откуда-то с тобой заговорят —  
 Ты не поймешь. И придорожным знаком

Останешься для них. И впереди,  
 Где ханские как будто ржали кони,  
 Увидишь очередь, пристроишься в конец,  
 Звездой шестиконечною в груди,  
 Звездой шестиконечною в ладони  
 Горчит московский липкий леденец.

И в первый раз увидишь свой народ  
 Таким чужим, с тяжелыми чертами,  
 С акцентом местечковым на губах,  
 И отшатнешься. Очередь замрет,  
 Задышит замусоленными ртами.  
 И передернет стрелки на часах.

— И это — мой народ?! — воскликнешь глухо. —  
 Земля обетованная моя?!  
 И под асфальтом вздыбится Орда.  
 Москва тебе кивнет при встрече сухо,  
 Посмотрит, недовольства не тая.  
 Рубиново сверкнет ее звезда.

Ты будешь вызов про себя читать  
 И думать, что детей родишь ты нищих,  
 Лишенных всякой мудрости житейской.  
 Над Мертвым морем крепко будешь спать,  
 Да слушать, как приморский ветер свищет,  
 Да видеть сны на языке еврейском.

## 2. Погромная

Никому мы не нужны, никому.  
 Стекла выбиты в нашем доме.  
 И не плачут дети, мать не голосит,  
 И картина криво на стене висит.  
 И ночь наступает.

Ты усни, и я рядом усну в углу.  
 Нас как будто нет, луна на полу.  
 В погребе сыром суетятся мыши,  
 Но они не расскажут, если услышат.  
 И никто не узнает.

Отчего тебя таким я родила?  
 Нету худшего от матери зла.  
 Отчего, сынок, не спросишь меня,  
 Отчего не просишь, чтоб зажгли огня?  
 В темноте не страшно...

Люди онемели, но кричат на них  
 Каменные стены зданий городских.  
 И ползут, горячие, со щеки  
 Угольки.

## 3. Багаж

Те сорок килограмм воспоминаний,  
 Уложенных заботливой рукою  
 В дозволенном таможеню объеме,  
 Распухнут от проклятий и прощаний,  
 Невыплаканных слез, любви к покою,  
 Все можно увезти с собою, кроме...

Ну да, ни опостылевших соседей,  
 Ни эту трижды проклятую школу,  
 Ни голубей, слетевшихся к порогу,  
 Ни ужаса обманутых столетий,  
 Ни сердце согревавшую крамолу  
 Не увезти с собой. И славу Богу!

Охота ли влачиться с жалким грузом  
 По улицам земли обетованной  
 С гримасой унижения и боли,  
 Коль ты до смерти мечена Союзом,  
 И он зовет тебя своей желанной,  
 Не стоит бормотать себе: «Доколе?»

Не разорвется сердце между этой  
 И той страной. И вовсе не любовью  
 Она зовется — не прелюбодействуй.  
 Привыкла ты, скажу я по секрету,  
 Черты лица менять, и алой кровью  
 Смывать клеймо родного иудейства.

И то тебя к Большой Ордынке тянет,  
 К Орде или к посольству — непонятно,  
 И сон нейдет, метро еще закрыто,  
 И прежде, чем рассветный луч проглянет,  
 Твой чемодан уложен. Но обратно  
 Плетешься с головою непокрытой.

## 4. Московская прощальная

Тот сладкий город Иерусалим,  
 К которому ты привыкала с детства,  
 Как валидол, ложится под язык.  
 И мир, жарой нещадною палим,  
 Ты б отдала без всякого кокетства  
 За миг свиданья, быстролетный миг.

Но никаких вестей из Назарета,  
 Подорожали авиабилеты,  
 Не родила сестра моя Христа,  
 Моя мольба бесплодна и пуста.  
 И Третий Рим приставил ножик к горлу,  
 И время мне объятья распростерло,  
 И вслух не произнести мне никогда  
 Названья твоего — мне города  
 Другие суждены.

## 5. Точка

А там, где точку нужно поставить,  
 Со лба стираю холодный пот:  
 Ведь я хотела тебя прославить,  
 Воспеть тебя, еврейский народ!  
 И — вот...

\* \* \*

## 1

К кому ты обратишься наконец,  
 Проснувшись в перемолотой столице,  
 Среди обломков кирпичей, досок,  
 В кровати, что стоит наискосок  
 Москвы, и никому с тобой не спится,  
 А думала, что лакомый кусок...

## 2

Да электрички прошивают сны  
 Собою по живому, без наркоза,  
 И стук колес, как стук зубов о край  
 Стакана, и в тебя вползает рай,  
 Горячий и хрустящий, как глюкоза.  
 Он приторный, но ты глотай, глотай.

## 3

Вот рельсы прорастают из земли.  
 Мне говорили — кажется, в Китае  
 Растет бамбук вот так же, по часам.  
 Там отдают бамбуковым лесам  
 Преступников, чтоб те их растерзали.  
 Но здесь растет другое — знаешь сам.

## 4

Я никогда тебе не покажу  
 Того, что посвящается другому.  
 Твои грехи преследуют меня.  
 С тобою не хотела я огня,  
 И вот бреду одна к чужому дому,  
 Разменными монетами звеня.

## 5

Зачем-то захотела изучать  
 Язык чужой, куда-то собиралась,  
 И на Тверском очнулась, на скамье.  
 Приехала. Урод в своей семье,  
 Опомнилась, расчухалась, проспалась.  
 И — ничего. И счастлива вдвойне.

6

Я знаю все. Все знаю наперед.  
Я буду городской сумашедшей,  
Лимитчицей в промасленном пальто.  
Ты тоже отшатнешься. Но не то  
Еще скажу, ни разу не пришедший, —  
Пока не подхватил еще никто.

7

Моих стихов нелепых толкованья,  
Спасть ты можешь. Ведь не назвала  
В стихах тебя по имени ни разу.  
Губ не разжала. А какую фразу  
Себе бы в оправданье привела!  
Я думаю, ты понял это сразу.

8

Но, Боже, как же все это смешно:  
Ведь я сама сейчас сорву покровы  
С той тайны, что не ото всех таю, —  
Лишь от тебя. И тут же говорю,  
Себе противореча — только слово  
Разъединяет нас: благодарю.

9

Планета существует для того,  
Чтоб ты родился в этой части суши,  
А жил в другой. И главная на ней  
Та точка, где спустя немного дней  
Мы никогда не встретимся. Послушай,  
До смерти мне не сделаться умней.

10

И этот бред бессвязный бормотать —  
Вот все, на что способна я, как будто.  
Я в страсти не теряю головы.  
Ты тоже грязный пащенок Москвы,  
И нас одной метлой метут под утро  
Под пьяное напутствие молвы.

11

Нет, нет, но допускаю я всерьез,  
Что недостойна снов твоих и яви,  
И книг твоих касаться не должна.  
Судьба моя слепа, но несложна,  
Я на нее роптать совсем не вправе,  
Какая мне судьба еще нужна?!

12

И смела пожелать, чтоб ты и я  
Одни остались в мире! Мне за это

Такую кару уготовил Бог:  
Я не останусь даже между строк,  
Мне никогда не сделаться поэтом,  
Мне заживо уйти в земной песок.

13

Тебе же будет славы за двоих.  
А ты и о моем существованье  
Не знаешь. Твой да не смутится слух  
Моим глаголом. Бог хранит — ты глух.  
Одна лишь я конец твоим страданьям  
Могла бы положить. Но факел мой — потух.

\* \* \*

Никуда мы не уедем, никуда.  
В наших жилах волжская вода.  
В нашем сердце красная звезда.  
Спят вдали большие города,  
А вокруг граница на замке.  
Что ты там сжимаешь в кулаке?  
Разожми! Зачем же луч шестой  
У звезды над площадью пустой,  
У звезды над кущами садов,  
У звезды над сетью проводов,  
У звезды над розовым Кремлем,  
У звезды, что видим мы вдвоем,  
И ее в ночной тиши всегда  
Отражает волжская вода,  
И из труб валит клубами дым,  
Что там в черном облаке над ним,  
Что там в душной, замершей ночи,  
Чьи там мерно звякают ключи?  
Ледянящий ключик, ледяной.  
Никуда мы... правда, мой родной?  
Это Волга плещет у виска,  
Это мостик, скользкая доска,  
Это чутко дремлет глубина,  
Это шелест камешков со дна,  
Это рыщет старая тоска,  
Это скрип прибрежного песка,  
Это мутно дышит тишина,  
Это смотрит желтая луна.

\* \* \*

А то, что оставишь,  
Потом ты не вырвешь из рук  
Голодного времени. Справишь  
Те встречи, что пуще разлук  
Настигнут, впечатав  
В тебя дорогое лицо.  
Увидишь «за вьюгой крупчатой»,  
А лучше б... И это яйцо  
Пасхальное, с трещинкой тонкой

На темной его скорлупе...  
С дырявой заплечной котомкой  
Брести еще будет тебе.  
Еще тебе будет. Увидишь  
Блаженные эти края.  
Ничем никого не обидишь.  
Горячего ветра струя  
И твой опалит виноградник,  
И кожу, что белых ночей  
Белей. Казнокрад и лошадник,  
Над жизнью паленой твоей  
Томительный месяц  
Согнется в крутую дугу.  
И лет этих десять,  
Что ты пожелала врагу,  
К тебе воротятся.  
Лукавый повадится тож.  
И лучше не браться  
Руке за зазубренный нож.  
Корявые сосны,  
Чужого окна сторожа.  
Неверные сестры  
Стоят предо мною, дрожа.  
В воздушном театре  
Поет древнегреческий хор.  
Заплачешь ты вряд ли,  
Разучишься, с этих-то пор.  
Уходишь последней.  
Билет обтрепался в руке.  
Бледней и надменной,  
И все увязает в песке.  
По щиколотки сначала,  
Уже закрывают метро,  
Казанского двери вокзала  
Запоры замкнули хитро.  
Потом по колени  
Ты вязнешь в родимой земле,  
И слезы, и пени  
Лежат на столе, в хрустале.  
Им внемлет потатчик,  
Зевая, конвертом шурша.  
Закрыта, как ларчик,  
И брошена в море душа.  
И ты уж — по пояс  
В земле, и звонит телефон.  
Я слышу твой голос,  
Любимый, приди же в мой сон!  
Как всякая баба,  
Могла бы тебе повторять:  
Приснился б хотя бы,  
Хоть наспех явился б обнять!  
Ты слышишь, любимый,  
Что я провалилась по грудь,  
С сынами моими  
К тебе я уже не вернусь.  
Их много, их много,  
Не всем я дала имена,  
Но всем им дорога



Со мной, бесталанной, одна.  
 Увы, зажигает  
 Москва надо мной фонари.  
 Заплачь — не узнает  
 Любимая новой зари.  
 Шуршанье и шелест  
 Крысиных доношится нор.  
 Любимый! По шею!  
 А ты не пришел до сих пор.  
 Останься, останься, —  
 Кричишь, не жалея монет,  
 Расстанься, расстанься, —  
 Уж очень отчетлив мой след.  
 Но руки чужие  
 И трубку кладут на рычаг.  
 Остался, родные,  
 Последний остался мне шаг.

И занавес железный  
 Сомкнулся за спиной.  
 О, мой товарищ слезный,  
 Ты тоже здесь, со мной?  
 Как пусто! Ни травинки.  
 Зыбучие пески.  
 Засыпаны тропинки.  
 Засушены ростки.  
 О, узнаю я место!  
 Здесь был Эдемский сад,  
 Деревьям было тесно  
 Столетия назад.  
 И мы с тобой вернулись,  
 Земной окончив круг.  
 Ворота распахнулись:  
 Войдем скорее, друг!  
 Вот здесь тогда струилась  
 Прозрачная река,  
 Деревья возносились  
 Туда, под облака.  
 Здесь мы с тобою жили,  
 Не ведая стыда.  
 С годами серой пылью  
 Становится вода.  
 Годами, как пергамент,  
 Испещрены тела.  
 От Господа с годами  
 Останется зола.  
 И так пустынно небо,  
 И как оно мертво, —  
 Он, может, там и не был,  
 Не призывай Его.  
 Создатель и спаситель,  
 Усни, печаль моя,  
 И больше искуситель  
 Не соблазнит меня.

\* \* \*

Когда созреют юные поэты,  
 Поэзии поручики, корнеты

И прочая лихая молодежь,  
Когда штенцы, поднявшие галдеж,  
Вдруг сменят пух взъерошенный на перья,  
Еще вчера лишённые доверья,  
И Гоголем ходившие, и Фетом,  
И кем еще? Да что теперь об этом...  
Когда они созреют до конца,  
И блудный сын созреет до отца,  
До белого стиха, до бедных строчек,  
Когда и небо кажется с листочек,  
И не исправить сточенным пером  
Того, что написали топором,  
Огнем, железом... Точки не поставить,  
Местами никого не переставить,  
Врагов своих уже не воскресить,  
Живой водою их не оросить.  
И вроде порох есть в пороховницах,  
Да отсырел, да вовсе не годится,  
Да мельничные мелют жернова,  
Да рифмы нет, да строчка неправа.

---

---

# Юрий Карабчиевский

(1938—1992)

## УТРО И ВЕЧЕР

### Повесть

*Почти сорок лет продолжалась литературная деятельность Юрия Карабчиевского — прозаика, поэта, эссеиста, — но еще совсем недавно его имя было известно на Родине лишь в узких литературных кругах: незаурядно талантливый, острый и независимый в суждениях, едва начав печататься, он был зачислен в разряд диссидентов и затем, вплоть до 1988 г., публиковался лишь в русских изданиях за рубежом — в журналах «Грани», «Время и мы», «Вестник РХД», «22» и др.*

*Подлинную известность — сначала на Западе, а затем и у нас — принесла Карабчиевскому его острополюемичная книга «Воскресение Маяковского» (1983), удостоенная в 1986 г. в Париже премии имени В. И. Даля. Нашли своего благодарного читателя и другие его произведения — повести «Тоска по Армении» (1978), «Незабвенный Мишуня» (1988), «Каждый раз весной» (1992), роман «Жизнь Александра Зильбера» (1975), литературно-критические эссе, стихи и поэмы (подборка стихов Ю. Карабчиевского опубликована и в «Согласии» — № 3 за 1991 г.).*

*Повесть «Утро и вечер» писатель принес в редакцию «Согласия» незадолго до своей гибели. Ему очень хотелось увидеть ее напечатанной. Написанная более четверти века назад и отразившая духовный опыт поколения «шестидесятников», повесть и сегодня не потеряла ни своего значения, ни своей свежести.*

*Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?*

*Нов, 7, 17—18*

### 1

Ехать было надо на трех троллейбусах, но иногда удавалось на двух, если успеть на девятнадцатый, идущий утром из парка. Он шел до центра по линии третьего, до начала собственного маршрута, как бы сам, вместо третьего, довозил себя до себя. Там, на Дзержинке, все выходили, третий кончился, его уже не было, входили новые — на девятнадцатый, вламывались, топоча и борясь, друг от друга освобождаясь, судорожными рывками устремлялись к сиденьям, занимали крайние, оставляли у окон, сажали рядом ладонь или сумку, оборачивались пригвожденно и слепо, зазывали оттиснутую знакомую.

Славка сидел на пригретом месте, не входил и не выходил. Вся эта суета его не касалась, разве что содрогался он вместе с троллейбусом, да еще испытывал смену соседа, такую игрушечную трагедию: потерю прежнего, всегда неожиданную, коричневую пустоту сиденья,

к которой за мгновение успеваешь привыкнуть, затем толчок — и новая жизнь, к которой надо еще притерпеться.

Кто врывается, кто вырывается, Славка один сидел неподвижно, даже как-то вытягивался вдоль спинки сиденья, словно хотел показать входящим, что он не с ними, что был здесь всегда, с того начала, им неизвестного, а это, общее их начало для него лично — рядовой эпизод. Это бесспорное превосходство доставляло ему неяркую, но верную радость, и была она так верна и надежна, с таким удивительным постоянством подсвечивала весь бесконечный путь, что он готов был вставать еще раньше, чтобы только успеть на тот девятнадцатый. А вставал он и так без четверти шесть.

Он не мог привыкнуть к столь ранним подъемам, он переживал их как катастрофу. В мучительной и унылой борьбе под властью неведомой необходимости он отрывал от себя свой сон, нежные, мягкие его руки, и когда, поморгав и пощурясь болезненно, открывал, наконец, глаза, то чувство у него было, будто умер друг. И хотя никто из его друзей еще ни разу не умирал, да и не было такого уж близкого друга, тем не менее чувство были именно это: печаль и тяжесть невозвратности. Кстати, слово, от которого он пробуждался, было именно слово «друзья». Именно это нелепое слово встревало звонким зазубренным клином между ним и его живым еще сном и, возникая опять и опять, врубалось в намеченный промежуток, расширяя холодное и пустое пространство, превращая его в черную бесконечность. «Эй, друзья-а-а! — призывала мама как-то так заунывно и, вместе, бодро. — Пора, вставайте, друзья!» Это слово звенело и дребезжало, звучало так, как ему полагалось, но Славке в нем чудилось что-то еще, какой-то противный главному смысл, главным образом — просто противный. Уже спустив ноги с дивана, продираясь сквозь закрученные рукава рубашки, он пытался найти звуковые корни, истоки этой самой противности. Козявка, раззява, думал он, размазня, но нет, все это было не то, а какая-то узя плыла враскорячку, растекаясь на две мутные лужицы. . .

Так его мама и заставляла, когда возвращалась с горячим чайником, — неподвижно сидящего, без штанов, с руками, запутанными в рукавах.

— Тебе не стыдно? — говорила она. — Скоро третий десяток, а все как грудной. Ну о чем ты думал, ты можешь сказать?

— Нет, ни о чем, — отвечал он маме. — Просто так, не проснулся еще.

— Ну что ж, друзья, — говорила мама, — вставайте, друзья, давайте завтракать!

Он шел в уборную, потом на кухню, открывал нехотя и с трудом с вечера туго закрученный кран, прикасался опасно и брезгливо к лаковой и бесшумной струе — и она обжигала его вялые пальцы. Это был знак оттуда, извне, с улицы, с холода, с остановки, это пустое зимнее утро посылало ему ледяной привет. Он весь содрогался, закручивал кран, что-то привычное отвечал соседям и шел к себе, тряся полотенцем, вытирая сухое почти лицо.

— Ну, друзья. . . — говорила мама, и он опять собирался с силами, чтобы не выдать свое раздражение, давил и уминал его внутрь себя, и от этих его постоянных усилий оно становилось только пышнее, разрасталось в нем и словно взбивалось, как если бы он уминал подушку. Раздражала его не сама неуместность, не грамматическая нелепость, не то, что не было никаких «друзей», а был он один, Славка, сам-друг, — раздражала и бесила изначальная лживость, потому что и прежде, когда было их двое, это слово звучало еще нелепей, порой даже попросту издевательски, но мама упорно его повторяла, как бы надеясь на магию слова, будто если их называть друзьями — и лучше

погромче, и лучше почаще,— то они с отцом таковыми и станут, не устоят, оправдают название.

И потом, когда отца уже не было, то есть когда его не было с ними, и позже, когда его вовсе не стало, она не отказалась от этого слова, теперь уже просто навязчиво лишнего, теперь это был уже явный вызов, знак былого, которого не было. «Вставайте, друзья», — говорила мама, и это значило: он и отец. Но отец никогда ему не был другом, и отца самого уже год как не было, да и в слове «отец» ни теперь, ни прежде не было необходимого смысла.

Он терялся в этой многослойной неправде, в чем-то, рожденном от ничего, от того, которое, в свою очередь... Его охватывала тоска.

Сперва он садился на восемнадцатый, на нем доезжал до Новослободской, и там, на углу с Бутырским валом, ждал чрезвычайного девятнадцатого. Эта последовательность номеров тоже радовала его немножко, была в ней спокойная простота: сперва то, потом уже это.

Девятнадцатый вылетал с Бутырского, проскакивал мимо конца подвески и долго махал свободными штангами, словно делая ими зарядку. Выходила девушка в сером свитере, с некрасивым лицом, но хорошей фигурой, мучилась со своими штангами, и Славка все порывался помочь, но, конечно же, никогда не решался. Она приседала, повиснув всем телом, руками в брезентовых рукавицах держась за обледенелый канат, и юбка на бедрах едва не лопалась, и она раскачивалась, как маятник, влево — вправо, влево — вправо, пока не попала щеткой на провод, затем вторую, влево — вправо, и вот внутри уже вспыхивал свет, теперь отпустить, удерживать равновесие, легким движением — кольца вниз, со звонким шорохом вниз по штангам, затем широкий, мужской запах — и канат грохочет на крышу.

А там уже все расселись в салоне, и Славка вскакивал почти на ходу, выскальзывая каблучком или локтем из жесткой, захлопывающейся щели.

У окна еще находилось место, и Славка дышал деловито и шумно на белый, не тронутый с ночи иней и глядел в пяточковый иллюминатор на темную, сказочно-синюю улицу. Машин пока было мало, и троллейбус мчался без всяких заминок, летел восторженно и ошалело, девушка торопилась к началу маршрута, и Славка угадывал ее досаду, когда наткнулись на остановку. Народу становилось все больше и больше, потом уже больше не становилось — больше было уже просто некуда. Славка оглядывался тревожно, не надо ли кому уступить, не очень всматривался, но взглядывал все же, и нуждавшихся вроде бы не обнаруживал. Да и как бы он смог, если б было надо, в такой толпе никуда и не вылезешь, нет уж, сел, так сиди и не рыпайся, тем более что ты здесь один такой, все временные, а ты постоянный, — так он себя иногда успокаивал.

До Дзержинки ехали всякие разные, но от Дзержинки — одни технари. Это было ясно из разговоров, и, по мере неуклонного приближения к своим НИИ и своим КБ, они настраивались в резонанс, как бы заранее стремясь соответствовать. И если вначале еще трепыхались: «двадцать метров и кухня пять, он скорей запивать, а там то же самое, сотня сверху — это по-божески, гамма — как говоришь — глобулин?..», — то, выйдя на финишную прямую, на знаменитый Владимирский тракт, уже никак не могли устоять, поддавались его силовому полю, излучению многооконных зданий, надвигавшихся поочередными глыбами. И уже не разговоры звучали в троллейбусе, а словно бы легкий производственный шум, гул моторов и гироскопов, шелест упругих белков и синек, стук и шорох мелка о доску. Зеленые

импульсы и синусоиды вспыхивали в его атмосфере. «Переключаю ПТ на АП, и, веришь ли? — никакого эффекта!..»

Лампы гасли, за окном становилось светло.

Он выходил перед самым концом, когда никого уже не оставалось, а кто оставался — выходил вместе с ним. Пустой троллейбус тихо отчаливал, увозя какую-нибудь старушку или мать с закутанной маленькой девочкой, «не надо ясельки, не надо ясельки» — твердившей плаксиво и монотонно. К счастью, у него было мало знакомых, и все пятьсот оставшихся метров, пять последних свободных минут он мог еще провести в одиночестве. Он шел по тропинке наискосок, пробираясь дворами в глубь переулка. Вокруг громоздились желтые глыбы, но здесь, внутри, сохранились два маленьких домика, два деревянных особнячка, уже, возможно, готовых к сносу, уже и заборами не огороженных, но, безусловно, вполне живых. Дрова были сложены аккуратными стопками, из труб шел дым, как на детском рисунке. В одном дворе росли даже яблони и скрипуче раскачивалось белье. Вещи были исключительно женские, это бросилось Славке в глаза, вызывая определенные мысли, некие туманные вариации на тему уютной натопленной комнаты и заспанной, теплой, встающей навстречу... Он задевал за угол сарая и выныривал прямо у проходной. Часы показывали без четверти восемь.

Он работал уже почти полгода, но к этому все еще не привык. Хотелось сгладить этот момент, превратить его в пустую формальность. Он фальшиво улыбался девочке-охраннице, как всегда улыбался контролерше в троллейбусе, — нет, чтоб рассеянно и отчужденно сунуть под нос проездной билет. Девочка взглядывала ему в лицо, явно не видя его улыбки, а легко и небрежно вскинутый пропуск, готовый так же легко опуститься, чуть притормаживала рукой и всерьез, действительно — проверяла. Пять шагов до вертушки от двери он находился на подозрении, после вертушки оно снималось, но ему казалось, что это не все, что в нем еще, может быть, сомневаются, да и где-то внутри, на самом дне, оставалось смутное чувство виновности. Подозреваемый всегда виноват, как всегда несведущ экзаменуемый.

## 2

Это был такой повторявшийся сон — пожалуй, единственный, от которого он просыпался с радостью, то есть с ужасом, с тяжестью, с сердцебиением, но и с радостью, что это не явь.

Будто он все еще учится в техникуме, но не в том же самом, а во втором, по смежной, нужной ему специальности. Впрочем, это потом становится ясно, почти уже наяву. Сначала же он просто учится в техникуме, он пропустил много занятий (причина неизвестна и не важна) и вот, после долгого перерыва, приходит на самый главный предмет — то ли электронную математику, то ли вычислительную механику. Занятие это — последняя лекция, она же консультация перед экзаменом. Преподаватель еще не вошел, но все уже на своих местах, вертят головами, копошатся в портфелях, что-то друг другу передают, какие-то необходимые свертки, без которых завтра никак нельзя. Он стоит в проходе между столами, он один оказался без свертка. Постепенно все это замечают, на него начинают показывать пальцами. Это очень смешно, что он без свертка; временами, когда он становится ими и видит себя одного в проходе, он тоже не может удержаться от смеха: это ж надо, без свертка — просто умора! Но все же он — это только он, и ему тяжело нести свой позор, стоять вот так с пустыми руками. И он уходит от этих взглядов, нагибается, сворачивается клуб-

ком, с силой, с болью втягивает голову, так что плечи его закрывают уши. Он еще не очень это умеет, открывается то одно, то другое ухо, тогда он слышит, как — тю-уа-а! тю-уа-а! — проникает в него всеобщий галдеж, с влажным шипеньем, как будто в бане, в детстве, когда ему мыли голову и он закрывал уши ладонями, и ему казалось, отведи он ладони, и шум не только — тю-уа-а! — восстановится, но будет и дальше расти беспредельно, давя на голову и оглушая, и вода, заливающая лицо, будет становиться все горячее, превращаясь в безжалостный кипятилок. И — скорее, скорее — открыть глаза, чтобы так по-страшному, в этом котле, в темноте, глухоте и жаре, не погибнуть! Но глаза открыть ему не удастся, веки его прикипели друг к другу. «Молекулярное сцепление», — говорит кто-то сбоку, и он думает, да, молекулярное сцепление, и так он сидит, ничего не видя, в этой шумной бане-аудитории, ждет своей неизбежной гибели — и тут появляется преподаватель. «Друзья! — говорит он маминым голосом. — Пора! Вставайте, друзья!...»

Иногда он видел вторую часть, это был совершенно отдельный сон, но связь его с первым имелась в виду — первый присутствовал в нем как условие, как некое несомненное прошлое. Он входит на экзамен в аудиторию, даже, может быть, ту же самую, хотя о свертках нет уже речи, а группа просто сидит и готовится. Он дает зачетку преподавателю, и тот говорит ему что-то неясное, и это поначалу его не волнует, слава Богу, не первый раз... Но нет, он все-таки чувствует: что-то не то. Преподаватель презрительно морщится и машет ладонью вниз и в сторону, как бы отменяя его от себя. Он сокрушенно идет по проходу, подходит то к одному, то к другому, нагибается с молчаливым вопросом, и все отвечают громко и весело, артикулируют и скандируют — и не за что, не за что ему зацепиться, ни одного знакомого слова! Он чувствует, как вместе с его отчаяньем растет всеобщая бурная радость, как назревает это веселье, праздник его беспросветной тупости. И вдруг, со шмящим и острым ужасом, с провалом в полную безысходность, он наконец-то все понимает. Они говорят на другом языке, на том, он вспомнил, который учили как раз тогда, когда он отсутствовал. Этим новым техническим языком теперь заменен устаревший русский. То есть именно «русский» — такого там не было, а просто — старый, прежний, обычный...

От этого сна он пробуждался сам, лежал с открытыми настежь глазами и сумасшедшим сердцебиением. И была еще это не полная явь, а словно бы шлюз между сном и явью, где сон еще вполне достоверен, хотя и не мог царить бесконтрольно и уже позволял себя оценить, соразмерить с какими-то деталями жизни. Первый импульс: как-нибудь сдать экзамен — Славка сразу в себе подавлял, ясно было, что сдать невозможно. Тогда он говорил себе: и плевать, и не надо, второй техникум — что за глупость, лучше бы уж пошел в институт, конечно, жалко, последний курс, почти три года коту под хвост, но кое-чему ведь он научился, а диплом — зачем ему второй диплом? И вот ведь из-за одного предмета... Хотя что ж, язык так просто не выучишь, тем более совершенно новый, английский — и то уже вон сколько лет... И тут он действительно просыпался, и ему становилось совсем легко, хотя стесненность в груди оставалась — реальный физический след нереальности...

Один вопрос его занимал, даже два, даже целых три вопроса. Отчего многократность этих видений, подетальная точность каждой копии ничуть не снижает их остроты, потусторонней их достоверности? И неужели так слаб наш разум, что даже в своих привычных владениях он



еще долго себе не хозяин, еще долго живет во власти небывшего? И язык — это, пожалуй, главное — как легко он мог от него отказаться, ни секунды, ни чуточки не возмущался, только жалел, что не выучил нового! И еще здесь была одна заковыка, одно любопытное обстоятельство: он никогда не боялся экзаменов, всегда шел на них как на праздник, даже чуть приглушал тревожную радость, блеск обеспеченного благополучия перед лицом неумущих товарищей. И кроме пятерки — никакой отметки не знал. . .

Девчонка отпускала его руку с пропуском, нажимала невидимую педаль, и вот вертушка освобождалась, он мог повернуть ее и пройти. Но и в этом была своя неловкость, потому что он не мог уловить момент и медлил несколько больше, чем надо, а кроме того, никогда не знал, как ею пользоваться, этой вертушкой. Если он отворачивал ее рукой, то его догоняла задняя лопасть и не больно, но обидно ударяла в спину; если же он шел напролом, не глядя, не замечая ее существования, — то обязательно спотыкался, и выходило еще глупее. И когда он вырывался из желтой будки под щиты и лозунги заводского двора, когда вертел головой и плечами, обводя сомнительный этот простор, то испытывал странное чувство свободы, будто и вправду не вошел, а вышел. Почти минуту он жил с этим чувством, пока широкая дверь инженерного корпуса не надвигалась, дрожа и пружиня, на его оттопыренную ладонь. Он входил, замирая от страха: там, в теплом и грязном тоннеле, у колючих строчек табельных досок, его ждала уже не простая неловкость, не какое-то жалкое неудобство, причиненное внешними обстоятельствами, там его ждала необходимость поступка, допускавшая, впрочем, возможность отказа, что и делало ее вдвойне мучительной. «Ничего не вышло», — мог бы сказать он Леньке, — я пытался, но ничего не вышло», — и это была бы почти что правда, потому что табельщица, хмурая тетка, глаз не сводила с проклятой доски и, слева — направо, слева — направо, каждый номерок успевала проследивать. Но нет, так сказать он не мог бы, он бы смешался и покраснел, он бы просто слов таких не нашел, потому что это была бы неправда. Потому что — пусть неловко и грубо, пусть идя на верный провал, — но он должен был попытаться.

Первое время он делал так: перевешивал свой девяносто третий, стараясь глядеть куда-нибудь в сторону, пряча лицо в воротник и шапку, затем поднимался в лабораторию, там раздевался, спускался вниз и открыто и прямо — время еще оставалось, — как бы сам себя убеждая, что он — не он, перевешивал Ленькин сто сорок пятый. Но тетка, конечно, его заметила и однажды спросила его фамилию — к счастью, он был в пальто и шапке и как раз изображал самого себя. Тут, казалось бы, все и должно было кончиться, он был чист перед Ленькой, его застучали, что ж тут поделывать. И, однако же, ничего не кончилось, потому что Леньке он не мог отказать. Он не мог отказать и не мог помочь, и теперь просто-напросто лез на рожон, обрекая себя на всякие ужасы, на какие-то страшные наказания, каких и представить себе нельзя. Выражалось же это всего лишь в том, что когда он снимал свой легкий жетончик и пока нес его в правой руке, то левой делал пассы над Ленькиным, и то порхал над ним размягченной ладонью, то парил, как ястреб, готовый упасть и схватить. И он честно следил за проклятой теткой, не выпускал ее из бокового зрения, чтоб потом, когда скажет Леньке: «Не смог», — знать, что и точно не смог — невозможно!

От него шел пар после этой работы, он распахивал пальто и срывал с себя шапку, его губы обветривались, как при гриппе, и когда он тяжело поднимался по лестнице, то всерьез чувствовал себя больным.

## 3.

Ленька опаздывал ненамного, самое большое — минут на пятнадцать, и Славка никак не мог уяснить, зачем ему эти пятнадцать минут. Ну вставал бы чуть раньше, какая разница, зато и себе, и другим спокойно. Но Ленька решительно не соглашался. «Нет, брат, это вопрос принципиальный. Я обязан служить, ничего не поделаешь, вынужден, это я понимаю, но — служить, а не переслуживать. Больше, чем требуют, они от меня не получают. Да, я должен являться точь-в-точь, но именно так, ни минутой раньше. Ну, а как угадать — с этим ...ным транспортом? Вот иногда и выходит попозже».

— А, Гусев! — говорила Рая. — Пожаловал, Гусев, а уж мы заждались.

— Кто это «мы»? — отвечал Ленька, торопливо натягивая халат. — Расшифруйте, пожалуйста, Воронцова, кого поименно вы имели в виду?

Он еще успевал, проходя мимо зеркала, мазнуть расческой по гладкому чубу — и уже сидел за своим столом, как будто сидел здесь тысячу лет, ворошил бумаги, щелкал линейкой, сосал недожеванный карандаш.

— Мы — это я, — говорила Рая, — и Славка, ну и Вера Васильевна.

— Воронцова, не трогайте Веру Васильевну, не отрывайте от Веры Андреевны. Ставлю вам для начала на вид. Вы своими подрывными действиями вдвое снижаете концентрацию власти, которая и так уже у нас не слишком... — И он косился в начальственный угол, где две Веры, Васильевна и Андреевна, одна завша, другая замша, склоняли друг к другу неразлучные головы.

— На такси потратился? — спрашивала Рая.

— Нет, сэкономил, — отвечал ей Ленька. — Нам еще с вами хватит на вечер. Куда пожелаете? Бега? «Метрополь»?

На этом месте Рая краснела, бормотала что-то не очень ясное, вроде «отстань, не мешай работать», Ленька же, видимо, считал, что отметил, вошел в производственный ритм, вставал, потягиваясь и не жась, кивал Славке и шел курить.

Славка был человек подневольный, даже не рядовой инженер, Рая и он составляли плелс, низы инженерного коллектива, подножие многоступенчатой лестницы. И, конечно, выйти он мог без спроса, но Рудик видел, как Ленька кивал, и теперь поглядывал очень внимательно, пригибая книзу круглую голову и в упор наставляя фары очков. Поэтому Славка вставал не сразу, две минуты еще протягивал, включал поочередно все напряжения, слушал, как поют четыреста герц, тыкал в схему слепым пинцетом, как бы на ощупь проверяя монтаж, подносил к щеке холодный паяльник, опускал, подносил, опять опускал — и словно бы плюнув от нетерпения, словно с досады на эту отсрочку, на этот естественный — черт бы его! — перерыв, наконец-то вскакивал и вылетал.

«Закуривай», — говорил ему Ленька, и он послушно брал сигарету, то есть тянул ее неловкими пальцами, соскальзывая и уцепляясь ногтями. Потом крутил ее в плоских ладонях, догадываясь, что разминает табак, но уж точно не зная, зачем это делает. Потом долго и хлопотливо прикуривал под насмешливым Ленькиным взглядом. Впрочем, первые две затяжки были ему даже приятны, вызывали легкое опьянение и чего-то такого еще придавали. Но зато уже третья была тошновата, а четвертая чуть поджимала сердце и неспешно рассеивалась в голове серым глухим дундудящим гулом. Язык начинал дрожать и метаться, причесаясь от влажного едкого жала, но уже упругая теплая горечь через край заполняла рот, и он не мог вдохнуть ее в легкие, там ей просто не было места. Тусклые лампочки коридора покачивались и

обрастали лучами, хотелось лечь или сесть полулежа, но он лишь мог опереться локтем. Подоконник зарос многослойной пылью, оставляя пятно на рукаве халата, но сейчае это было ему все равно, его локоть пружинил на этой доске, она под ним даже слегка перекатывалась, даже чуть поскрипывала иногда, как доска далеких детских качелей...

— Ну и вот, — между тем рассказывал Ленька, — положение, сам понимаешь, дурацкое. Триста рублей я, конечно, достану, но поди попробуй уговори! А главное — что-то во мне сломалось. И не то чтоб она мне стала противна, но как-то, знаешь, пахнуло семьей, душевной такой струей потянуло: гости, обеды, манные каши... Банально, это я понимаю, у всех так, не я один, а что поделаешь? Притворяться? Но это же еще хуже, вранье никогда не бывает одно, обязательно потребует другого вранья, заврешься — сам себя не найдешь...

— Да, — покорно поддакивал Славка, — у всех так, это конечно, — не имея понятия, как это так. — Да, — повторял он, — врать еще хуже! — ни секунды не будучи в этом уверен, не будучи в силах почувствовать суть, блуждая в ряду абстрактных понятий: врать, убивать, воровать, предавать...

Ленька прекрасно все это видел, но вел себя со Славкой как с равным или, скажем, почти как с равным.

— Вот, — продолжал он, — сегодня ночью: лежу, смотрю — красивая баба, да еще и спит как-то так живописно, ладошки под голову, губки пухлые, бедра, знаешь, когда на боку... Красивая — а ничего не чувствую, умом понимаю, а тут — пустота.

Славка тревожно на него покосился, но нет, он прикладывал руку к груди.

— Ну, я встал потихоньку, пошел на кухню, позвонил Наташке — и тую-тю. А там-то у меня уж все спокойно, никаких клятв, никаких претензий, мы с ней с первого раза условились.

— Как же так... в эту же ночь! — вдруг оживал на мгновение Славка.

— Ну! — он отмахивался. — Что ж тут такого! В этом-то, может, и самый цимес: та брюнетка, а эта блондинка, та худая, а эта полная, та серьезная, эта смешливая... градиент, так сказать, максимальный. А знаешь закон Леонида Гусева? «Острота ощущений от любого воздействия численно равна его производной». То есть не самому воздействию, а вот именно его изменению. Читай Шопенгауэра, многое поймешь. Хотя, впрочем, до этого он не додумался... Ну, брат, ладно, кончай сачковать, Рудик там по тебе соскучился. Да и мне надо Верам глаза помозолить.

Они возвращались также вразбивку, но первым теперь появлялся Славка — чтобы в это «случайное» мероприятие не вносить элемента закономерности. Славка входил торопливым шагом, весь — деловитость и озабоченность, прямо с разбегу хватал паяльник и сразу же подносил к щеке, едва-едва ее не касаясь — так рисковал он за ради дела, хотя уже теперь дураку было ясно, что паяльник давно поспел.

— А Слава! — встречал его Рудик. — А я как раз... Куда это ты?..

Ну да, соскучился, думал Славка, но бурчал что-то дружески-оправдательное.

— Слава, — дальше нудил Рудик, — вы помните, что сдача СИ двадцатого?

Так, думал Славка, ну, начинается. «Ах, вы помните, ах, ты знаешь...» Его бесила эта форма общения, это плебейское перескакивание с «ты» на «вы» и потом обратно. Было здесь что-то противоестественное, невозможное, как возврат из царства Аида. Этот парень не слышал, что говорил. Нельзя же сказать человеку «ты» — даже в шутку, мельком, даже однажды — и потом опять вернуться на «вы», тут движение одностороннее. Да, думал Славка, именно так, нару-

шение каких-то капитальных законов — быть может, законов термодинамики? Так он пытался себе объяснить, чувствовал же попросту неприязнь и досаду. И еще шумело у него в голове, горький дым наполнял его череп, и сердце никак не могло успокоиться. И Рудик, паяльник, Ленькины женщины, опрокинутый блок на столе — он не знал еще, что со всем этим делать, и не мог исключить из этого ряда лишнее. И он тыкал куда-то концами тестера, не имея понятия, куда и зачем, испытывая неясную детскую радость, если стрелка хоть сколько-нибудь отклонялась. И вдруг отмечал не без удивления, что она отклоняется каждый раз, и понимал, уж совсем изумившись, что, оказывается, делает все как надо, он как раз хотел проверить анодные, вот и тычет на первый и шестой лепесток, обходя панельки поочередно. И тут он находил неисправный каскад и кидался к Руднику за ВКСом\*, и когда тот спрашивал: «Хочешь померить на сетках?» — то это было для него откровением, он и сам не знал еще, что будет делать, только знал, что сделает все как положено. И хотя большого ума здесь не требовалось, но все же он чувствовал некий импульс, и уже голова его прояснялась, и как будто зуденье легкого зуммера наполняло кончики пальцев рук. Начиналась обычная его работа, и он ничего не имел против этого.

## 4

И вот однажды он и Ленька... Впрочем, и это еще не однажды, и это случалось по многу раз. Они ходили туда ежедневно, и Славка выкраивал полчаса, и даже Рудик привык понемногу.

Он входил вторым, прячась за Леньку, выглядывая из-за его плеча, проходил между рядами кульманов, видя только Ленькину спину да еще косое мельканье досок, и этим доскам слегка кивал и что-то такое им проборматывал, не каждой, каждой бы он не успел, но, может быть, через две на третью, стараясь на обе стороны поровну, и две руки по бокам его тела свисали неловко и обременительно. Так они шли через весь этот зал, ото всех отличаясь еще и цветом: они ходили в черных халатах, конструкторы же носили белые. Он подходил всегда с опозданием, так что Надю уже почти и не видел, а снова — широкую спину Леньки, который склонялся над ней и журчал... Он облокачивался о стену, благо, была уже здесь стена, руки скрещивал на груди и снисходительно улыбался — так ему думалось, что снисходительно и чуть отчужденно, как старший брат. Он и Надя — их было двое: оттуда, из прошлого, старых знакомых, здесь, на заводе — почти родных, с общими, не заводскими друзьями, со своими отдельными воспоминаниями, с общим... Но это была болтовня, «лирика», как выражался Рудик, и Ленька, знавший Надю недавно, был ей, конечно, понятней и ближе...

Он садился всегда позади нее, в каждую новую аудиторию старался ворваться чуть ли не первым и стоял, высматривал, куда же она. Или еще лучше, пока ее не было, следил, куда сядет Лиля Березова, и в следующем ряду по диагонали пристраивал свой одинокий портфель: рядом с Лилей не занимали, знали, что это Надино место. Он любил ходить на политэкономию, или организацию производства, или любую другую муру, на которой нечего было слушать, — на серьезных предметах он был серьезен, хотя и садился на то же место. И вот он сидел на политэкономии, водил по тетрадке рассеянным перышком и видел ее напряженную спину с чуть обозна-

\* Ламповый вольтметр («вольтметр катодный сетевой»).

ченными лопатками под тонкой белой оборчатой блузкой... Или под голубым сарафаном с крупными радужными цветами, которые резко так обрывались на вогнутом безрукавном крае, а там уже — теплое и живое, плечо, рука и начало груди... И еще он видел склоненную шею, с тремя позвонками легким пунктиром, всегда вызывавшими в нем умиление и какую-то безотказную жалость, с которой он просто не знал, что делать. И еще — ее белокурые волосы, без всякой химии, натуральные, прямые, короткие, негустые. К праздникам она их всегда завивала, и тогда менялась неузнаваемо, даже спина становилась другой, взгляд упирался в нее и отскакивал и злобный такой холодок парикмахерской приносил на себе, возвращаясь.

Так он сидел и смотрел неотрывно, и все, что он видел, немного двигалось, слегка изменяло свои очертания, когда она наклонялась к тетради, или откидывалась назад, или вдруг прижималась к подруге Лиле, чтобы шепнуть ей что-нибудь на ухо. Иногда же — бывало ведь и такое — она оборачивалась к *нему* и всегда заставляла его врасплох, так, что он цепенел моментально и молчал, и даже не мог улыбнуться. Она же будто его и не видела. «Как там, — спрашивала, — для токов во второй цепи по закону Кирхгофа?» И он молча писал на листочке формулу или подсовывал ей тетрадь. Иногда им случалось общаться и дольше, когда попадалась трудная тема, и Надя, а чаще, конечно, Лиля, в общем, они просили помочь. Назавтра уславливались пораньше, и он тогда специально готовился, и особенно празднично волновался, и наутро являлся чуть ли не в галстук. То есть он, конечно, ничего не менял в одежде, на это вкуса еще хватало, но весь как будто приподымался, становился как будто шире и выше, и, казалось, теперь заполнял до отказа свой собственный слишком просторный пиджак. Лиля шла за ключами к техничке, и они оставались с Надей вдвоем перед дверью закрытой аудитории, она — прислонившись к двери спиной, он — рукой упираясь в стену, где-то рядом с ее плечом, так, чтобы вышло как можно ближе. Она была высокого роста, чуть ли даже не выше Славки и даже, быть может, чуточку выше, но в этом бы он никогда не сознался, да это и выяснить было нельзя — так она умела себя укорачивать, выставляя бедро и слегка сутулясь, что, кстати, ей удивительно шло. Но вот говорить ему было с ней не о чем, и только при приближении Лили, завидя ее в конце коридора, он собирал уже все ресурсы и разворачивал легкую фразу, так на ходу ее корректируя, чтобы вышло, что Лиля своим появлением не спасла их от тягостного ожидания, принесла им не легкость и избавление, а, напротив, вынужденный перерыв. И Лиля действительно покупалась или, может, делала вид, но, во всяком случае, чуть отстранялась, спрашивала: «Я вам не помешала?» И от этого он пьянел моментально и даже для формы не возражал, предоставляя это делать Наде. Они садились за первый стол, мигом вытаскивали конспекты и сидели, смотрели на него выжидательно и слегка покусывали свои ручки. Но он еще с полминуты молчал, еще стоял у доски, улыбаясь, чувствуя радостную уверенность, нетерпеливую дрожь вдохновения, потому что был здесь в своей тарелке и знал, что делает все хорошо. Он прихватывал мел, но еще не писал, хотя уже слышал свой собственный голос, звучавший просто, легко и естественно, о чем-то вроде и постороннем, но чем дальше, тем ближе приближавшемся к сути. Здесь имелись свои особые тонкости, своя подспудная драматургия: его незначашие слова вместе с его непишущим мелом создавали избыточное давление, устремление к тому, что будет написано. И вот, наконец, в какой-то момент, всегда для него самого неожиданный, возникла необходимость в букве, и они это чувствовали одновременно, он и его тишайшие слушательницы, и это было особенно важно: всем троим нужна была буква, и он эту букву

писал на доске. За ней появлялась вторая и третья, затем уже рядом, на чистом пространстве, возникали первые несколько линий: электроды ламп повисали в воздухе и окружались овальным контуром, прямоугольники сопротивлений важно несли свою пустоту, жирные черточки конденсаторов через тонкую щель тяготели друг к другу, и небрежные завитушки обмоток спадали вниз, как легкие локоны. И все это было как бы игрой, как бы чем-то веселым и необязательным, и вместе с тем становилось понятно, что ничем другим оно быть не могло, потому что каждая новая буква, каждый штрих и каждая точка словно бы и не рукой рисовались, а рождались его вдохновенной речью, ни на минуту не умолкавшей. Иногда он спрашивал, ясно ли им, и они кивали ему утвердительно, но он это делал скорее для ритма и еще, быть может, для передышки, потому что видел, что все понятно и даже больше того — интересно. Этому он и сам удивлялся. Как же, думал, так получается, что не только старательная Березова, но и Надя, которой тут все до лампочки, слушает и смотрит с таким вниманием? Он прямо взглядывал ей в глаза, они были яркосинего цвета, некрупные, но удивительно синие, хрестоматийные, из учебника: *blue as the Blue Sky\**. Это было действительно очень красиво, не зря, конечно, поэты и прочее, но так увлеченно он долго думать не мог, ведь она на него через них смотрела. Внимательно и вот уже чуть насмешливо, впрочем, может быть, показалось, но он уже отводил свой взгляд, опускал его, попадал на губы, обнимавшие черную авторучку, и так остро он чувствовал всю ее, что как будто уже на своих губах ощущал твердость и вкус пластмассы. Его губы были ее губами, и он думал, выходя на известный путь, на давно и не им проторенную тропку, что хотел бы лучше наоборот, быть вот этой ее авторучкой... На этом он сам себя заставлял, с ужасом чувствовал, как краснеет, как вдруг и сразу теряет легкость, как отворачивается к доске и там рисует свои кривые, старательно, долго и почти молча, не выводя, но лишь называя: «I — так, U — так» — мертвым и деревянным голосом. Они, конечно, были не дуры, видели эту в нем перемену, замечали также, с какого момента, и теперь уже страшно было подумать, как они на него смотрели, на этот дурацкий его затылок, на красную шею и красные щеки, все выплывавшие вполюоборота, то справа, то слева, как он ни прятался. Но инерция все же была велика, драматизм и блеск его построений еще отсвечивали и сюда — остывая, он это ясно улавливал. И концовку ему удавалось вытянуть, сымпровизировать нечто приличное, некий даже такой поворот, вполне для него самого неожиданный и их на какой-то момент увлекавший. И вот он снова стоял к ним лицом, вытирал испарину и улыбался, чуть криво, еще чересчур румяно, но это могло быть и от усталости...

Они выражали ему свой восторг, Лиля — шумно, Надя — сдержанно, все становилось им просто и ясно, а ведь думали, ни за что не поймут. Да, силен, говорила Надя, только мне это все без пользы, я ведь так все равно не сумею, ну да ладно, хоть поняла... Сумеешь, тут ничего такого!.. Но долго еще он не мог оправиться, не мог найти свой подлинный голос и в лицо ей тоже взглянуть — не мог.

## 5

Во всем тогда ему виделись символы, разные обнадёживающие знаки. Например, их фамилии — на одну букву, и даже число букв одинаково. Ну, а имя преследовало его с детства, у него с ним был

\* синий, как небо (англ.).

многолетний роман. Начиналось это еще в Челябинске, в туманные годы эвакуации, из которых всплывали лишь островки, да и те не все он мог рассмотреть, только некоторые удавалось приблизить. И один из таких островков был — Надя, девочка старше его года на три, ему было шесть, а ей, значит, девять, и была у них долгая тайная связь. Они жили полгода в одной квартире, у обоих отцы воевали на фронте, а мамы с утра уходили на службу. Славка оставался совсем один, ждал прихода Нади из школы и сгорал от любовного нетерпенья. Она открывала своим ключом, широко жестом его обнимала, миленький, говорила, заждался... Теперь в это трудно было поверить, каждая мелочь его поражала. Вспоминал — будто фильм интересный смотрел.

Она грела суп себе и ему, выключала плитку, они обедали, мирно беседуя, как муж и жена, потом они уходили к ней в комнату, раздевались и ложились вдвоем в постель, и так часами лежали, голые, обнимались и нежно друг друга ласкали...

Ужас, думал он, вспоминая, вот ведь ужас — такие дети! — но ужаса между тем не испытывал, да и самую эту трезвую мысль про-являя в себе с заметным усилием, нехотя, как от предутренних снов, отрываясь от милых воспоминаний...

А потом — но это в другом уже месте — *Надя Волкова*, еще и фамилия, хотя с ней он не был даже знаком. Какая-то уличная игра, прятки, салочки, казаки-разбойники, и он прямо летит на зеленую будку, на страшную дверь с костями и черепом, если к ней прикоснешься — все, конец! Но на этот раз удается спастись, он переносит инерцию вправо, делает невозможный вираж и вылетает, едва не падая, к песочнице в центре большого двора. И вот он бежит уже по прямой и натякается — *почти* натякается, но чувство такое, что буд-то вплотную — на дуло черного пистолета. Пистолет дергается, но не стреляет, и сразу же синий жесткий рукав отмечает Славку куда-то в сторону. И вот он сидит на углу песочницы, не дышит и истекает сле-зами и видит прекрасную гордую девушку, с руками, связанными за спиной. Она проходит легко и взволнованно, рассекая двор по диаго-нали, а в двух шагах от нее, неотступно, тяжело бухая сапогами, то-пает страшный синий мильтон и целит ей в спину из пистолета. «На-дя Волкова, — слышит Славка, — это та самая Надя Волкова!» Какая, за что, что значит «та самая»? Всю жизнь жалел, что тогда не спро-сил. Надя Волкова...

А потом, позже, уже в Москве, в больнице, где он лежал с диф-теритом... Это был мучительный полубред, и в него вплетались строч-ки из гимна, исполнявшегося поминутно вразброс высокими сестрин-скими голосами. «Сквозь гро-зы сия-ло нам солн-це своб-ды», — медленно проплывало мимо двери палаты. «Дружбы-народов-надеж-ный-оплот!» — дробно проносилось в другую сторону. Гимн еще только на днях появился и был популярен, как модная песенка. Ему сделали неудачно укол, страшно ломило бедро и ногу, к тому ж еще горло и голова... Дети кругом непрерывно плакали, сколько их там, он даже не знал, он чувствовал боль и глухое отчаянье, и какой-то угол, заполненный серым, расплывался перед его глазами, и надо бы-ло его собрать, свести бесконечно длинные стороны, так, чтобы серо-го было меньше, раз уж нельзя, чтоб совсем его не было... И была там девочка или девушка — пятнадцать, догадывался он теперь, или шестнадцать, или четырнадцать? — подходила, садилась к нему на кровать, успокаивала, прикладывала руку ко лбу, и, конечно, ему ста-новилось лучше, он старался увидеть ее лицо, почти видел, и что-то ей говорил, но тепеь уж совсем ничего не помнил, но так уж потом представлял себе: *Надя* — отводил ей место в бессмертном ряду...



Ну, а дальше уже появлялась Инна — но она была не из этого ряда, и он отставлял ее, отгораживал...

И тогда, скачком, возникало *то самое*... Женская школа, не параллельная, а другая, дальняя женская школа, куда они ехали вместе с Гришкой в узкой кабине старого «газика». Позади них, в кузове, на матрацах, тряслись усилитель и динамик-колокол, а проигрыватель и ящик с пластинками они держали у себя на коленях. Их ждали, встретили как почетных гостей, приглашали, вели, несли, помогали. Потом они вдвоем ходили по сцене, расставляли и вешали свое барахло, чувствуя общую сумму взглядов, ни одного не видя в отдельности. Славка был возбужден до дрожи, он всегда возбуждался, попадая на сцену, не имело значения, по какому случаю, даже если вспрыгивал на момент, просто так, пробегая мимо. Никогда он не выступал ни в каких самодеятельствах, никаких талантов не проявлял, но только здесь, возвышаясь над всеми, чувствовал собственную бездарность. И ему хотелось что-нибудь сделать, что-то такое, для всех интересное, как-то так хорошо сказать или всех рассмешить — оправдать внимание. Но он не мог ничего придумать и просто ставил, вешал, прикручивал, и стертые доски под ним пружинили, и он старался ходить потише. Он боялся, что что-нибудь не получится, мог, например, отказать усилитель, они там с Гришкой много наляпали, такие наворотили пайки, непонятно, как он вообще работал.

И тут подошли к ним эти две девочки, темненькие, одна с кудряшками, встали под ручку у края сцены — нет, среди них еще не было *Нади*, да Нади здесь и вообще-то не было, здесь была Надежда Сергеевна, только Славка еще об этом не знал. Девочки были в парадной форме, а Славка и Гришка — в протертых куртках, и Гришкина была еще хуже Славкиной, из какой-то рыжей мешочной ткани. Форму ввели на будущий год, но их тогда уже не было в школе, так они в форме никогда и не встретились. (Всякое «никогда», думал Славка, значительно, даже если речь идет о пустяке.)

«Мальчики,— почти хором сказали девочки,— когда вы все сделаете, мы вас заменим, мы будем по очереди ставить пластинки, вы оба сможете потанцевать». — «Хорошо,— сказал Гришка,— очень приятно, это вы хорошо придумали». — «Это не мы,— сказали девочки,— это придумала Надежда Сергеевна...» Он и так был здорово напряжен, но поднял голову и увидел Надежду Сергеевну, и все его сдавленное дыхание попыталось прорваться через зрачки — он почувствовал боль, но не мог отвернуться.

Девочки пошебетали с Гришкой, одна открыла ящик с пластинками, с другой Гришка пошел танцевать. Он был скромный парень, но дело знал, крутился и говорил непрерывно и бодренько так и вполне обеспеченно из-за девочкиных кудряшек на Славку поглядывал. Славка же, как *сошел со сцены* — так и остался стоять у края и смотрел на свою Надежду Сергеевну, опираясь рукой о пыльные доски, и не видел, что, значит, он в центре внимания, что все еще остается в фокусе... И тут она к нему подошла. Можно сказать, что он этого ждал, хотя никогда с ним такого не было. И откуда бралось его ожидание, его эта чуть ли уже не уверенность, оставалось потом для него загадкой.

Первых слов ее он не помнил, наверно, спросила, почему не танцует, и вот они уже с ней танцевали, и он пробовал голос на кратких ответах, выясняя, сможет ли разговаривать. Не такая уж она была взрослая, года, может быть, двадцать три, значит, на шесть лет, — но каких решающих! И вот уже предчувствие его угасало, слишком все оказывалось реально и просто, ну что, он думал, что тут такого, учительница — общественный человек, решила развлечь приглашенного мальчика... Но тут она вдруг сказала: «Постой. Мне неудобно все

время с тобой, пойду потанцую с нашим директором, а ты меня жди и смотри, чтоб ни с кем!» И так улыбнулась — шутка, не шутка? Он только кивнул, не смог ей ответить, не было у него ни слов, ни дыхания. Все разворачивалось как-то стремительно: только что он пружинил по сцене, тянул провода, затягивал клеммы — и вот стоял у холодной стены, отогревая ее ладонями, и смотрел неотрывно сквозь танцующую толпу, и в узком секторе его взгляда мелькали чужие случайные лица, как мелькают пылинки в луче прожектора, высвечивается же один только дальний круг. В этом круге, который он почти различал, как в нимбе, окружающем всю фигуру, двигалась его Надежда Сергеевна.

Сначала она танцевала с директором, он был низок и толст, с сухими губами, наверняка преподает историю, по учебнику, с мягким украинским «г»: Хомер, Хорацкий, Ханнибал. Смешно, что так ведь, должно быть, и надо, так, наверное, ближе к латыни... Потом она разговаривала с другими учительницами, непрерывно перемещаясь в их строгой кучке, то с одной, то с другой, то опять же с первой. И от этих кратких контактов с нею, как от соударений с возбужденной молекулой, на момент расцветали их блеклые лица, улыбались даже немножко и сами — выдавали что-нибудь, Славке не слышное, но вполне, он видел, нестроевое, никак не связанное с успеваемостью или тем более с дисциплиной... Потом она танцевала с парнем, тоже, наверное, десятиклассником, но высоким, здоровым таким мужиком, куда там Славке, да еще костюмчик: змеиный галстук, брючки, подошва — полный стилижий набор. Потом ее окружили девчонки, так что Славка ее почти потерял — она над ними не возвышалась. Потом она снова танцевала с директором.

Танцующий Гришка влетел в его луч, трепыхался и делал какие-то знаки, но он нарочно не реагировал, и Гришка еще поплавал немного, метнулся в сторону и пропал.

Помнится, он вышел тогда в коридор в полной растерянности, потирая виски. Учительница! Что случилось, как можно? Он хотел прислониться щекой к окну, но боялся, что кто-нибудь может увидеть. Коридор был холоден, пуст, полутемен, никого — но в дальнем углу площадки что-то гудело и шевелилось, его взгляд втянуло туда, как в воронку, и в несколько косых стыдливых кругов он разглядел там скромную парочку. Не обнимались, не целовались, просто стояли и разговаривали. Он сразу почувствовал облегчение, отвернулся — но все-таки позавидовал. Он позавидовал этим двоим, директору школы и даже Гришке, который, он знал, не нравится девочкам, но как-то всегда умеет пристроиться, уютно, весело, по-домашнему — спокойный и обеспеченный быт... «Инесс» — у них этой пластинки не было, видимо, притащили девчонки. Низкие режет, пронеслось машинально, и дребезг — колокол не годится, хорошо бы достать киношный динамик, сдвоенный, в деревянном ящике... Что он, собственно, должен делать? Вот сейчас, сию минуту? Вернуться казалось ему невозможным, стыдно, неловко (перед кем? чего?). Она его подхватила и бросила. «Подцепила», — подумал он без уверенности, чужое слово, но зато готовое. И тут же опять спохватился: учительница! Он сошел с ума, он все перепутал! Ну, он-то понятно, но ей-то зачем! Она пошутила, ему показалось, забыла, имела в виду не то. Домой он вроде бы тоже не мог: усилитель, Гришка, как объяснить. Голова болела где-то у глаз, он все-таки прислонился к стеклу, никого не было, кроме тех двоих. Но и не хотелось ему уходить, знал, что будет потом жалеть, что уже по дороге ему станет казаться, будто было все несравнимо лучше, будто было почти хорошо; будто он не просто стоял, охлаждая лицо, не зная, куда ему следует двинуться, направо ли в зал, налево ли к выходу, — а стоял и ждал, когда она выйдет, чуть ли они с ней не сгово-

рились. Все это очень легко представлялось, сколько раз уже так бывало, не совсем, конечно, но в общем похоже. Он стоял и маялся — и она к нему *вышла*, так, как будто он ее ждал и именно будто они сговорились! И даже с ходу так и сказала, оглядевшись чуть заметно: «Ждешь? Пошли!» — и сразу сама направилась к выходу, озабоченной, торопливой походкой, немного шаркая каблуками. Он шел за ней, все решилось так просто, темные волосы, белая блузка, юбка в обтяжку, шаг-шаг, ноги в капроне, такие взрослые, настоящие икры, совсем не девчоночьи, он шел позади — и чувствовал страх. И ничего он больше не чувствовал.

В раздевалке не было ни души, это немного его успокоило, хотя тут же он подумал, что так еще хуже, на людях была бы определенность, они были бы вынуждены притворяться, он ученик, а она учительница, то есть быть как будто самими собой... В общем, он запутался, как бы это было, но сейчас-то он явно не знал, что делать: самому одеваться или ей помогать. Сначала он было метнулся за ней, в особое учительское отделение, но она еще только меняла туфли, он увидел модную темную пятку, ступню с просвечивающими пальцами — и, весь зардевшись, кинулся в сторону, а когда, одетый, вернулся обратно, то она уже снимала с крючка пальто. Он выхватил его у нее из рук, но не выхватил, а вытянул, неуклюже и медленно, и еще ей какое-то время мешал, держа рукава то выше, то ниже. «Ну что, не умеешь?» — сказала она. И тогда ему стало немного полегче. «Не умею, — сказал он, — не приходилось...» — «Как это так? А маме, а бабушке? Вот она, современная молодежь! Пальто старушке подать не могут».

«Обещаю вам... К следующему разу...» И дальше все пошло хорошо. Они вышли на слабо освещенную улицу, и она обернулась и на него посмотрела. Глаза у нее были подведены, как ей только разрешают в школе... «Ишь ты, к следующему разу! Откуда ты взял, что будет следующий?» А посмотрела при этом очень мягко, и не было для него в этом взгляде ни вызова, ни испытания. Вначале он еще подумал о Гришке и об их дурацкой аппаратуре, но потом отмахнулся и напрочь забыл. Он мало что помнил из них разговора, но вот точно, что о школе он не сказал ни слова и очень себя уважал за это. Хотя, впрочем, спросил ее: «Вы что преподаете?» — «Биологию, — ответила она небрежно. — А могла бы химию. Или физику». — «Так же знаете?» — «Так же не знаю...» Ясно было, что школьная тема одинаково неприятна и ему и ей. Но и мелкую вступительную игру она очень быстро свела на нет. Они с ним были друзья и на равных, это как-то сразу определилось.

Путь был длинный и весь усеян подарками. Сперва она сама взяла его под руку, будто они так всегда и ходили. Затем, через некоторое время, когда он спросил, далеко ли идти, она ответила: «А ты устал? замерз? заскучал? Ты скажи честно. Можно было на трамвае, но ведь так же лучше?»

«Господи, да, конечно же, лучше! Я в другом смысле. Я глупость сказал...» — Он запнулся. Он хотел сказать ей «прости», но все никак не решался на «ты», а на «вы» уже ни за что не хотел...

А потом, расспросив его понемногу, она стала рассказывать о себе и сказала, что с детьми совсем не умеет, что всегда дружила только со старшими, и даже со сверстниками у нее не ладилось. Он обрадовался, прервал ее: «Да-да, я тоже!..» И она усмехнулась: «Вот видишь, как. Ты, выходит, остался верен себе, а я своим принципам изменила...»

Он шалел от этих ее приговоров, он весь парил, летал и порхал, и, кажется, уже говорил ей «ты» и вообще, не думая, что попало, и ка-

кое там устал, замерз, заскучал — готов был идти хоть целую ночь. И тут они как раз пришли к ее дому.

Это был незнакомый ему район, кирпичный, асфальтовый, многоэтажный — от привык к деревянному и булыжному.

«Ну вот, — сказала она. — Ну вот. Доберешься отсюда? Во-он там трамвай».

Он не обернулся.

«Приходи в гости. Седьмая квартира, третий этаж». — «Хорошо, — сказал он. — Хорошо, спасибо...» И почувствовал прежнюю свою растерянность. Опять он был неизвестно где, неизвестно кем, неизвестно с кем...

И тогда она его поцеловала.

Невозможно было в это поверить еще даже в самый последний момент, еще даже в самый этот момент. Уже приблизив губы к его губам, она могла бы — он еще успел представить — усмехнуться и сказать: «Ну что ты, что ты! Иди учи свою арифметику...» Но она взяла его за воротник пальто, притянула двумя руками и сама притянулась, и не просто поцеловала — *соединилась* с ним, он и не знал, что такое бывает. Что-то жгучее перешло от нее к нему, разлилось по всему его телу. А она слегка отстранилась, закрыла глаза, и опять, так же... И тогда уж сказала: «Какой ребенок!» — но ласково, без издевки, он это хорошо почувствовал. «Какой ребенок! — сказала она. — Даже целоваться, и то не умеешь. А я-то, я-то...» — «Что? — просипел он. — Ну что?» — «Ничего. Все...» Оттолкнулась от него и пошла к подъезду.

И на этом все, собственно, и кончалось; каждый раз, вспоминая, он слышал хлопок и видел закрытую дверь подъезда — но на деле было еще продолжение. Непонятно, как могло оно быть, как он мог решиться потом, через время, поостыв и имея возможность подумать. Он много думал, но не остыл, и вот, быть может, через две недели, да, выходило примерно так, в тысячный, в миллионный раз проиграв все запомнившиеся ее слова и особенно — то свое состояние, надежно так себя подготовив, вечером он сел на трамвай и поехал. Разумеется, он выбрал не лучший вечер, мороз был градусов двадцать, не меньше, варежки у него были рваные, он шел от трамвая, грея руки в карманах, торопясь, переваливаясь и истекая слезами. И еще он, конечно, проскочил мимо дома и пол-остановки топал назад, и когда, наконец, ворвался в подъезд — с трудом отворив огромную дверь, всей рукой, без пальцев, цепляясь за ручку, — то уже не испытывал никаких желаний, только тепла и горячего чаю. Но и в этом, он с ужасом вдруг подумал, ведь и в этом могли ему отказать! И еще подумал, какой он болван, у нее же, наверное, есть телефон, в таких домах у всех телефоны, что б ему у нее спросить — нет, даже в голову не пришло. Он увидел железную клетку лифта, широкий, с загибом, лестничный марш и две двери в глубоких нишах, одну слева, другую справа. Подошел к одной, чтоб взглянуть на номер — пухлая коричневая обивка, щель с газетными заголовками, кнопка звонка со списком жильцов: Гольцев, Сапожников, Шварц, Федотова... Интересно, что потом, через несколько лет, тот вечер, еще долго его питавший, вспоминался им сквозь туман и дымку, деформируясь и легко расплываясь, этот же — одинокий, бесплодный — представлял всегда однозначно и четко, в безусловности каждой ненужной мелочи. Гольцев, Сапожников, Шварц, Федотова. Номер был пятьдесят три, квартиры семь здесь быть не могло, не могло ее быть в этом подъезде. Надо было назад, на улицу, он содрогнулся при одной только мысли. Может быть, это не тот подъезд, выйти, взглянуть, подумал он вяло. Тронул холодную ручку лифта, но махнул рукой и пошел пешком — черт его знает, как им пользоваться, может, там есть какие-то хитрости, с него уже и так хватало загадок. Ступени были низкие и широкие, ему казалось, что он буксует, даже если шагал через две — на крупный, в полную меру шаг подъем приходился совсем незначительный. Там

были такие же две квартиры, то есть две такие же точно двери, и его уже подготовленный взгляд споткнулся о странную пустоту на месте недостающей цифры: не 55 и 56, а просто 5 и просто 6, будто кто-то, чтобы его успокоить, взял и стер эти лишние две пятерки. Или, наоборот, чтоб его огорчить, две пятерки там, внизу приписал. Он вполз на третий — 7 и 8! — такая дурацкая нумерация, первый этаж выпадал из системы. Но ему уже совсем не хотелось звонить, чаю он выпил бы с удовольствием, но не у этих чужих людей. Он спустился вниз, запахнул шарф, надел варежки, сунул руки в карманы и двинул локтем наружную дверь. Гольцев, Сапожников, Шварц, Федотова. Все-таки он немного согрелся, до трамвая мог теперь добежать... И на этом, действительно, вроде бы все кончилось.

## 6

Одного из ее ухажеров он знал, это был здоровенный такой бугай, год назад исключенный из техникума — то ли за пьянку, то ли за драку, то ли за то и другое вместе. Звали его Генка Галиев, фамилия, безусловно, нерусская, но не было в нем ничего нерусского, разве, может быть, что-то такое в глазах — то ли дальний привет от хана Батыя, то ли просто циничный бандитский прищур. У них были со Славкой свои отношения, то есть было у него отношение к Славке, почему-то он выбрал как раз его. В здание Генка входил стеснялся, или, как он выражался, брезговал, ошивался внизу, где-нибудь в подъезде, и вот случайный какой-нибудь парень говорил Славке, что зовет его Генка. Это значило, что он вызывает Надю. И Славка ей это передавал и даже при этом испытывал радость от простой возможности к ней обратиться, а еще — от приобщения к ее жизни, к ее тайне, к ее сокровенной сути... Он возвращался в аудиторию, это было чаще всего на черчении, когда можно было выходить свободно, Генка выучил расписание и выбирал подходящий момент, — он возвращался, но не спешил, подождет, ничего ему там не будет, и долго, минуты две или три, с бесшабашной радостью тратя Генкино время, стоял и выглядывал из-за доски, почти осмелев, едва не открыто, чуть ли порой не подробно и пристально. Он был ей не просто соученик, он был здесь единственный посвященный. Он, может, знал про нее такое, чего она и сама не знала, мог ей кое-что предсказать и даже слегка управлять ее жизнью: сказать ей раньше — пойдет она раньше, сказать позже — пойдет позже. Так упивался он своей властью, наблюдая за каждым ее движением. Она рассматривала эскиз, перекладывая его из руки в руку, проводя языком по влажным губам, при этом еще играла со стулом, то упиралась в него коленом, то присаживалась на уголок, то подхватывала, как костыль, под мышку. Наконец она решалась, бросала эскиз, брала карандаш, прижимала рейшину. Потом долго, откинувшись, смотрела на доску, качала головой, облизывала губы. И была в ее движениях хрупкая грация, детская трогательная неуклюжесть, видно было, что не ее это дело, чужое, взрослыми ей навязанное. Появлялась суровая Роза Ефимовна, круглая, как игрушечная пирамидка, строгим, кукольным голоском спрашивала: «Ну что, страдаешь, Надежда?» — «Да, — отвечала она, — страдаю, мучаюсь, выручайте, Роза Ефимовна». И Роза Ефимовна, сердито ворча, выхватывала у нее из рук карандаш, резко, как будто она противилась, раз-два проводила и что-то стирала привычным взмахом пухлой ладони, и добрый ее буратинский клетот не подрывал, а только подчеркивал серьезность и вес ее точных движений. Надя смотрела, согласно кивала, спасибо, говорила, Роза Ефимовна, теперь, спасибо, ладно, попробую — и улыбалась детской своей улыбочкой, неширокой, уютной, мягкой, спокойной... И вот после этого он подходил — когда она уже больше не мучилась, хотя бы на время знала, что делать, когда уже почти с удо-

вольствием... Тогда-то и должен был звать ее Генка, чтобы оторвать ее от хорошего, пусть хоть мелочь, но все же нарушить, хоть еле заметную вызвать досаду. И она и вправду не проявляла радости, только мельком взглядывала на Славку и медленно направлялась к двери, уставясь в пол, обдувая челку, вертя забытый в руке карандаш. Так, думал Славка, о'кей, все правильно: туда, куда надо, вниз, к подъезду, направлено было ее раздражение. И вообще, он думал, что не очень она... ничего у них там... раз Генка приходил к ней в техникум. Ах, он едва ли ему не сочувствовал, он почти хорошо к нему относился!

Других никого он не знал, не видел, но знал, что были, не могло их не быть. Потому что были еще и третьи, то и дело напоминавшие о возможности.

То он видел, как Витька Тишков, прощаясь с ней у метро на улице, когда все расходились уже по домам, тряс ее руку в своих ладонях, мял и тискал, тянул, не пускал — и не краснел, подлец, не бледнел, не проявлял никакого волнения, смеялся, болтал и мял ее руку...

То замечал на слесарной практике, как мастер, круглоголовый болван с усиками под Радж Капура, подходил со спины, обнимал за плечи, тянулся к напильнику: показать, объяснить... и щекой прижимался к ее волосам, и Славка не мог смотреть, отворачивался...

То вечер, танцы... Но уж тут хоть плачь, он и в зале старался почти не показываться, сидел, отсиживался в радиорубке, выбирал пластинки, перематывал пленки — для нее, для всяческого ее удовольствия...

Он бездействовал — и его обходили, предчувствия не спешили сбываться, и символы таяли, неподкрепленные. И когда их распределили вместе на один и тот же дурацкий завод, то сначала он, ясное дело, взвился, весь забился, затрепыхался, дня два сиял, летал и парил, но потом как-то сразу потух и сник, понял, что опять ничего хорошего, что так бы еще, может, случайно встретились, ах, Славка, ах, Надя, сколько зим, сколько лет, вспомним нашу беспечную молодость. Но вот и такого ему не дано, даже этой естественной перемены, никаких поворотов, одни продолжения: приятельство, сотрудничество, соседство...

— Ну как, еще не остое...нило? — спрашивал Ленька, поднимая голову. — Мне, так на все девяносто девять. В глазах рябит, ничего не вижу, то ли шестерка, то ли девятка, как будто сутки резался в преф. Бросай, поехали в гости к Надюше.

Славка бросал, и они «ехали».

— Люблю женщин, — говорил по дороге Ленька. — Нет, не только в том самом смысле, то, конечно, само собой... Но вот — не любовниц, а собеседниц. Тут, конечно, нет разделения, все они и то и другое, ты прав (Славка пока молчал), но все же и я безусловно прав. Я даже не знаю, что мне важнее, и если отбросить физиологию... хотя снова ты прав, как это сделаешь! Мне трудно выразить мою мысль. Ну вот — что ты об этом думаешь? — терпеть не могу мужицких компаний, и даже пить предпочитаю с бабами, просто так, безо всякого там интереса, без каких-нибудь там отдаленных целей. Вот ведь и наш обожаемый мэтр, наш дорогой Александр Сергеевич...

— Брось, не надо.

— Ах, снова ты прав. Но и он не любил мужское общество, предпочитал ему общество дам, только с ними был легок и весел.

— Вот именно — легок, может, в этом как раз...

— Да, конечно, конечно, и в этом. Но легкость совсем не значит поверхностность. Тут, брат, такие бывают глубины — но они открываются как бы в игре, без нашей учености, без занудства. Только тут постигаешь истину, потому что истина, чтоб ты знал, это именно то, что нельзя проверить. Необязательности, игры — вот чего нам, мужикам, не хватает. Ты послушай любой мужской разговор — это же охренеть с тоски!

Так все серьезно, так однозначно и так весомо! Плетем и плетем свои длинные нити: сначала нить, потом цепь, потом сеть — пауки, да и только. Черные мрачные пауки.

— Ну, ты даешь! — бормотал Славка, но разговор ему был приятен, чему-то такому в нем соответствовал.

— А что? Конечно! — увлеклся Ленька. — Ты окинь взглядом любое общество, любую смешанную компанию, ну хоть нашу лабораторию, буквально встань, поверти головой, опиши замкнутую кривую. Ты увидишь разницу материала, просто-таки ощутишь физически. Мужчина — твердое и холодное, женщина — теплое, мягкое, доброе... Ты не остри, не остри, успеешь! И это — независимо от характера. Даже в начальствующей нашей Вере больше тепла, чем... да, чем даже, допустим, в тебе!

— Но ведь это же общеизвестно, это ведь, в общем, банально.

— Вот, вот, «банально, общеизвестно» — это в тебе говорит мужик, мрачный педант с чувством ответственности, повсеместно требующий отчета. (Славка слушал с большим удовольствием, этот упрек его очень взбадривал.) Вывод, качество, ре-зюме! — Он останавливался и воздевал руки к небу. — Не-ет, мужики, мой друг, отвратительны! А все эти наши чугунные шуточки! Тоже не просто так — для гимнастики! Шутят, треплются два мужика — как будто гири друг другу кидают: так и слышишь натужное кряканье...

Они поворачивали за угол, поднимались еще на один этаж и снова долго шли по прямой. Двери мелькали слева и справа, в промежутках мелькали серые доски с приклеенными листками приказов, стенгазета в три ватманских полотна с новогодними елками и стихами, с карикатурами на опоздавших. Их встречали и обгоняли, кое-кто здоровался с Ленькой, со Славкой никто пока не здоровался. Они шли деловой, торопливой походкой, они не гуляли, не прохладжались, завод — это вам не на танцы пришли, это вам не кино, это вам... и так далее, но все же свободу они ощущали, тем более сладкую, что запретную. Они были чуть ли не флибустьерами, когда плыли по затхлым этим тоннелям. Славка слушал, поддакивал, возражал — был глубоко благодарен Леньке за эту дурашливую болтовню, потому что сводилось-то все к тому, что теперь он имел формальное право зачислить Надю в *собеседницы* к Леньке и тем исключить из иного числа... Но Ленька еще развивал свою мысль, верней — находил в ней иной поворот, не столь уже, может, уютный, не столь аморфный, в мягкой тьме уже что-то поблескивало, что-то стальное, что-то холодное... И сердце у Славки уже покалывало.

— А впрочем, что ж, — говорил ему Ленька, — мы вот так с тобой рассуждаем, спорим, доказываем, выстраиваем, а все-то, может, гораздо проще, все-то сводится к одному. И мы чувствуем легкость в общении с женщиной оттого, что следуем здесь природе, поддаемся притяжению разноименных. От мужчин же — естественное отталкивание. Дружба самца с самцом неестественна, соперничество у них в крови. Старик Фрейд не такой дурак, он кое-что понимал в этом деле. Вот, зачем далеко ходить...

Славка весь замирал в напряжении. Он прощал ему — и с радостью — «старика Фрейда», он готов был поддакнуть со всей убежденностью и даже угодливо улыбнуться — только бы Ленька не продолжал.

— Вот мы идем с тобой в гости к Наде, казалось бы, просто так, потрепаться, но каждый из нас в глубине души, в дальней, темной таковой глубине...

Но тут он взглядывал косо на Славку, чуть усмехался и замолкал. Какое-то время они двигались молча, Славка весь покрывался испариной, ему хотелось исчезнуть куда-нибудь, юркнуть в дверь, растворить-

ся в воздухе, и было стыдно за это смущение, которое так очевидно Леньке.

Между тем у Леньки хватало такта не перейти на другую тему, а выдержать паузу и вернуться, так, будто он собирался с мыслями и отбросил *ту*, как не очень удачную.

— Да,— говорил он,— конечно, обидно. Обидно думать, что все эти радости диктуются нам животным инстинктом. «Ах, я — человек, я не зверь и не птица; мне тоже хочется под ручку пройтись!» Вся заслуга нашей культуры в том, что она усложнила обряд, порой удаляя цель в бесконечность. Удаляя — но не уничтожая. И любой — заметь! — разговор наш с женщиной всегда происходит *до* или *после*, пусть хоть этого «до» никогда и не было, а этого «после» не может быть. Вот отсюда и легкость, отсюда игра, а откуда ж еще им взяться...

Славка молчал, вытирал лицо небрежным, как бы случайным движением, выходявшим заметно и неуклюже, и когда приближался к искомой двери, то разные чувства в себе обнаруживал — но только не легкость и не игру.

## 7

Это был поначалу бессмысленный день, слишком насыщенный, но не событиями, а какими-то бесцветными мелочами. День — как лоскутное одеяло из кусочков разной степени яркости, а вернее, разной степени тусклости: более серый, менее серый — так, пожалуй, они различались. С утра отключили электроэнергию, на подстанции вылетел трансформатор. Все обсуждали и сокрушались, причем Рая и Ленька — совершенно искренне: Рая чертила монтажные схемы и от внешних условий никак не зависела, никакие аварии и неисправности не сулили ей вынужденного перерыва, разве что кончится вся бумага или исчезнут карандаши. Но на это было смешно надеяться. Карандаши валялись повсюду, да и бумаги было достаточно — три тугих рулона тяжелыми бревнами покоились на верху стеллажа. И это был еще только запас, еще не тронутый, на потом, пока же еще, сколько помнил Славка, хватало пружинящей стопки листов, распластанных на столе у Рая. Он сам вначале, первые два месяца, чертил вот эти проклятые схемы. Жгут А, жгут Б, тридцать четвертый на конденсатор, семьдесят первый на пятую ножку... Никогда не знал ничего тоскливее, и те тугие желтые бревна, на которые он иногда поглядывал, усугубляли его тоску, порой доводя ее до отчаянья. Нет конца, говорили они, каждый конец — это только начало. Торопись, радуешься, вот-вот, вот-вот, скоро, скоро этап, завершение... Но эта граница — чистая фикция, ее в природе не существует. Условность, придуманная для обмана, грубая хитрость работодателя, клок сена на длинной палке перед лошадью, движущейся по кругу. Конец одного — начало другого, каждый лист переходит в следующий. Ты только подумай: размотать, разрезать — и ты потратишь несколько дней, а потом на каждом нарисовать, и не что-то такое, а то, что надо, вымучить каждую эту детальку, сверить с принципиальной схемой, соединить, обозначить номером и так все пространство заполнить, заполнить, занять и вытеснить — *испецирить*, потом проверить, потом исправить — и только тогда облегченно вздохнуть, наконец-то достигнув — о радость! — начала: начала следующего листа...

И всегда его пугали большие числа, не знаки чисел, а сами количества, и не любых, не каких попало предметов, а лишь тех, к которым прикасались руки. Перед ним останавливался поезд метро, тыщи заклепок, окрашенных краской, покрывали сыпью бока вагонов, и он



с ужасом думал, что каждую — каждую! — вставлял и расклепывал живой человек! А сколько заклепок в каждом вагоне, а сколько вагонов, а поездов! Он терялся в россыпи выпуклых точек, как когда-то в детстве — в россыпи звезд, и с болью ощущал бесконечность Вселенной. Это так же нельзя было охватить воображением ни ему, ни, тем более, тому рабочему, можно было только вставлять и расклепывать: начало — конец, начало — конец, начало — конец, конец — начало...

И так же постройка кирпичных зданий всегда выводила его из себя: надо было часами следить неотрывно, чтоб заметить ничтожный прирост высоты. Он поглядывал на работы с мастерками и удивлялся их оживлению, их шуткам, заигрываниям, их беззаботности — они не ведали, что творили. И когда он впервые увидел блоки, для него это было отдохновением; он, конечно, поддакивал окружающим, да — ужасно, да — некрасиво, но чувствовал легкость и будто свободу, словно после тупых мучительных поисков нашел простой и естественный выход — решил задачу о Бесконечности...

Рая чертила монтажные схемы, Ленька же занимался расчетами, он тоже не потреблял электричества и до вечера, пока не стемнеет, не мог надеяться на перерыв. Все остальные болтались без дела, собирались группками, зубоскалили, то и дело выходили, хлопая дверью, будто что-то узнать, какие-то новости, выяснить, скоро ли, поторопить.

Славка все воспринимал как надо, то есть он ничего не имел против, но в коридоре, стоя в возбужденной толпе, какое-то все же беспокойство испытывал, некоторый, что ли, тревожный зуд. Тут была и неловкость перед Ленькой и Раей, но было и чувство несоответствия, нарушения строя, потери облика, и какое-то шевеление совести — перед кем-то неясным за что-то неясное, и даже мистический страх наказания...

Словом, легкости он не чувствовал, и даже стыдно было признаться, но он бы сейчас предпочел работать.

Он пошел обратно в лабораторию, смутно надеясь на перемены, вошел, стараясь не хлопать дверью, воровато глянул в начальственный угол, но ни одна Вера его не заметила, обе стояли и смотрели в окно. Да и все остальные смотрели во двор — там сгружали новенький трансформатор. Славка тоже подошел, взглянул, удивился: такой маленький на целый корпус! — отошел, потянулся, сел за стол, выдвинул ящик, задвинул ящик. «Рудик! — крикнула Вера Андреевна. — Рудик! Можно тебя на минутку!» — «Рудика нет, — ответил ей Славка. — Рудик сегодня в райкоме». — «Та-ак, — сказала Вера Андреевна. — Ну, значит, придется тебе».

Она тоже сидела уже за столом, перебирала бумаги, ставила галочки. Он подошел, сел напротив.

— Я вас слушаю, Вера Андреевна.

Она была высока и суха, бледное лицо, короткая стрижка, строгий и ясный взгляд педагога. Вторая Вера, подружка и замша, совсем иная, круглая, рыхлая, продолжала смотреть в окно.

— Слава, — сказала Вера Андреевна, — как у вас с Рудиком подвигается?

— Ничего, спасибо, Вера Андреевна. Что именно, Вера Андреевна?

— Когда собираетесь сдать СИ?

Сначала он даже, пожалуй, обрадовался: ему представлялась возможность блеснуть.

— Видите ли, — сказал он, — Вера Андреевна, ваш предыдущий Селектор Импульсов, тот, который еще до меня...

— Ну?

— Был рассчитан на другие нагрузки. СПЦ и БВ располагались рядом, можно было кабель не согласовывать.

— Ну?

— А теперь, из-за емкости кабеля... А блок скопировали один к одному. И приходится добавлять повторители, причем триодом не обойдешься, значит — по лампе на каждый канал.

— Ну?

— А монтаж там — видали, какой? Мизинца лишнего не просунешь. Если бы сразу всю компоновку... Хуже нет — готовое переделывать. Вот и выискиваешь резервы. Ну, например... Я сейчас, минутку...

Он вскочил, побежал к своему столу, схватил за краешек синьку со схемой, блеклую, бархатную от старости — она подалась только этим краем, на том лежало что-то тяжелое, стала мягко по шву распознаться, в руке оставалась меньшая часть. Он взглянул: ничего, как раз то, что надо, — рванул до конца и бегом назад.

— Вот, — сказал он, — Вера Андреевна, вот этот, видите, мульти-вибратор может вполне обойтись без буфера. Ну, без этого — верно ведь? — никаких сомнений. Но, пожалуй, и без того. Вот вам уже одна панелька. Так? Но это еще не все. Третий каскад в каждой линейке — представляете, в каждой линейке! — можно убрать со спокойной совестью. Как? А оч-чень даже просто. Для этого надо аттенюатор...

И тут он понял, что она не слушает. А не слушает потому, что не понимает. А не понимает потому, что не интересуется. Потому что интересуется совсем другим. Он сник, увял, заглох, как мотор, замолк где-то на полупhrазе. Ей было плевать, она не заметила, решила, что это и есть конец.

— Ну, — сказала она, — и когда же?

Он осторожно взглянул ей в лицо. Чистое, бледное, все в морщинах. Глаза большие, красивые, серые. Строгий, ясный взгляд педагога. Кажется, у нее уже взрослый сын. Обыкновенная пожилая женщина. Начальство ее тягает, требует...

Но она не дала ему размягчиться.

— Ну, — повторила она, — и когда же? Сроки вы уточнили с Рудиком? Значит, я так тебя понимаю. Рудик скопировал старый блок, вместо того чтобы сделать новый. И ты теперь за него отдуваешься, придумываешь всякие фортели.

Ну вот, подумал он, вот и попался. Надо же было этому гаду! Выбрал же день для своих райкомов! Теперь он будет еще и предателем. А ведь был бы он здесь — ему же и хуже, так хоть она разрядится на Славку.

Он с трудом отлип от своей схемы, ясно уже было, что разговор не о том, стал бормотать о каких-то трудностях, о каких-то задержках в монтажном цехе, о том, как Рудик старался, старался, ходил, звонил, писал докладные, вы же это помните, Вера Андреевна, вы же сами тогда же, Вера Андреевна...

— Хорошо, — сказала она, — спасибо. Я еще с ним потом побеседую.

## 8

Этот день, проходивший для него как бы в сумерках, безвкусный, как еда в заводской столовой, сохранял тем не менее признаки двойственности, прошлого и будущего, утра и вечера. Славка отметил уже давно, что дневное время в его представлении не является чем-то самостоятельным, заслуживающим названия и числа, а всего лишь промежутком между утром и вечером. Только утро и только вечер обладали определенным характером и имели свои неизменные свойства.

Этот обобщенный сложившийся образ не могли поколебать никакие оттенки, никакие исключения и частные случаи. Утро всегда было жестким, холодным, вечер — мягким, сочувственно-теплым. Утро — отчетливо, по-молодому безжалостно, вечер — невнятен и по-стариковски добр. И, конечно, утро трезвее вечера, но вот Славка не сказал бы, что мудренее. Что же касается собственно дня, то день, как и полагается промежутку, мог тяготеть и к тому и к другому, быть более утром или более вечером или в равной степени тем и другим. Утро могло тянуться до вечера, но и вечер мог сразу наступить после утра.

И в этот ничем не заполненный день, вопреки непосредственным своим впечатлениям, Славка чувствовал именно тягу *вечера*, как будто, кружась и топчась на месте, продвигался к какой-то неясной цели.

Он успел пообедать за двадцать минут. Капуста в щах была вялой и жесткой, волокнистой, как кусочки бумаги; на второе давали блинчики с мясом — серое холодное месиво, завернутое в подгорелый картон; и потом, наконец, бледно-серый кисель, тягучий, густой и пресный, как клейстер. Какой-то, он подумал, канцелярский обед, кошмарный сон Акакия Акакиевича. Он успел поесть за двадцать минут, всего попробовав понемножку, и еще он мог полчаса поспать, за своим столом, на синьке со схемой. Ленька вместе с ним не обедал, все-таки он был рангом повыше, ему разрешалось ходить в «офицерскую», официально именовавшуюся диетической. Он, впрочем, жаловался на язву и тут, возможно, вдвойне соответствовал.

Он спал, увлажняя синьку слюной, и сны видел тоже какие-то влажные, бесформенные, округло-тяжелые. Его разбудил сигнальный звонок, бранчливо-резкий, вздорный, чужой — голос невидимого начальства. Он отлежал себе руку и щеку, и локоть его, упирившийся в корпус — чего? — он посмотрел — осциллографа, в гибко-решетчатую его обшивку, глухо саднило, как от ушиба. Еда, подступившая к самой глотке, изъясляла ему свою несъедобность. Трансформатор, видно, еще не включили, ясное дело, до завтра провозятся; Ленька еще не вернулся с пинг-понга; Рая чинила карандаши. «С добрым утром, — сказала Рая. — Как поспали? Какие видели сны?» Боже, подумал он, вот ведь тоска, зачем, подумал он, улыбаясь Рае, отвечая что-то необходимое, зачем, неужели иначе нельзя?

Он встал, потянулся, вышел в уборную. Там было накурено и многолюдно, он с трудом продрался сквозь толпу мужчин, показавшихся ему грязными мужиками, хотя, конечно, выйди они отсюда — и станут вполне обыкновенными людьми, в меру чистыми и опрятными. Здесь же даже их голоса звучали как-то хрипло и мусорно. Ага, он подумал, продираясь обратно, все дело тут, видимо, в коллективности: совместное пребыванье в уборной так же противоестественно, как совместное... В общем все стыдятся друг друга, даже если только стоят и болтают, и вот, преодолевая в себе этот стыд... Он вспомнил, что два, по крайней мере, события сегодня должны непременно последовать: комсомольское собрание — и получка. Сначала получка, потом собрание.

Все же их лаборатория лучше других: даже дверь с простым английским замком, никаких там тебе секретов и шифров, заходи кто хочет. Зашел и видишь: сидят две милые пожилые женщины, вперебив разговаривают о мужьях и детях, улыбаются, будто в гостях друг у друга, и лишь временами их косые взгляды проскальзывают по таблицам и графикам, в порядке разложенным на столе, — но это так быстро, что улыбка не успевает угаснуть.

Ленька нахально читал книжку, вполовину выдвинув ящик стола. «Мопассан», — сказал Славка, проходя мимо. «Бабель», — сказал Ленька, не поднимая головы. «Довольно близко, — сказал Славка. — Почти

угадал. Дашь почитать?» Ленька поднял голову и нервно улыбнулся. «На одну ночь,— сказал он.— Согласен? Сегодня дам, завтра возьму».— «Идет,— сказал Славка,— давай сегодня».— «Дам. Только это будет завтра».

Рая заполняла штампик. Буквы были круглые, нечертежные, но все одинакового размера; желтые грани карандаша вжимались в мякоть пухлого пальца.

— Слав,— сказала она,— давай проверим? Я буду читать, а ты проверять?

— Что ж,— Славка вздохнул,— давай.

Ну вот. Пока отсутствует Рудик, тоже бы мог посидеть почитать. Так нет, проверяй ее дурацкие схемы.

— Начинаем?

— Давай, давай, начинаем.

— С Эл-двадцать девять?

— С Эл-двадцать девять.

— Значит, так: первая — Це-сорок три, Эр-сто четыре, Эр-сто тринадцать; вторая ножка — Це-сорок девять...

Лицо ее было покрыто пушком, светлым, светлей, чем ресницы и брови, но все же довольно-таки заметным. Нет, нельзя сказать, что уродина, все на месте, девка как девка. И все же, подумал он, неужели... Неужели и для этой найдется кто-нибудь, кто будет ждать, желать, волноваться? Но ведь как же иначе, как же иначе, надо — надо, чтобы нашелся, пусть даже двое, мало ли всяких, пусть она выбирает, вертит хвостом... Он чуть не заплакал от собственной щедрости.

— На дроссель Де-эр-двенадцать идет?

— На дроссель?..

Он подумал, что это к лучшему. Пусть! — какое-то все же занятие. Так читать, как Ленька читает, — прямая дорога в психушку.

— Ты чего, заснул? Спать надо ночью. Идет на дроссель?

— Идет, идет...

Вокруг продолжался убогий праздник, робкое торжество безделья, тихий гул разрешенной запретности. Серая пленка буднего дня, ничем не отмеченного промежутка, по-прежнему оставалась непрорванной, лишь упруго дыбилась кое-где — и только ту же давила на голову: самый будний из будних дней.

Рудик пришел в половине четвертого, потому что в четыре давали деньги. Кассирша у Раи была знакомая, выдала ей за десять минут. Рая вернулась в лабораторию, прижимая к груди шелестящий сверток, смущенная и важная, как молодая мать. Все потянулись к ее столу, но она еще разложила по стопкам, развязала бурый мешок с мелочью, не торопясь развернула ведомость.

— Слушайте, люди! — сказала она своим детским, наивно-ворчливым голосом.— Слушайте все, чтоб потом не спрашивать, а то каждому объясняй в отдельности. Охрипнешь тут с вами. Порядок такой: с каждого три рубля — ДОСААФ, два рубля — на озеленение и еще...

— Ишь ты!

— Чего там еще?

— ...И еще — пять процентов зарплаты билетами денежно-вещевой...

— Мне не давай,— сказал Ленька,— в гробу я видел твою лотерею.

— Гусев, не груби! — сказала Рая и вся пошла багровыми пятнами.— Я тут при чем? Мне вон выдали, что ж я их, себе, что ли, все возьму?

— А это, дружок, не мое дело. Я работал, я заработал, мои деньги мне и отдай.

Рудик протиснулся, сжав кулаки, выставил круглые свои фары.

— Ты, Гусев, как будто с луны свалился. Ты как будто живешь в другом коллективе. Ты живешь как будто в другой стране...

— Вот,— сказал Ленька,— отдай их Рудик, он здесь, по-моему, самый сознательный.

— Так! — сказал Рудик.— Один против всех!

Все молчали, все слушали как бы из зала, и только эти трое — на сцене. Веры остались в своем углу, но тоже — головы повернули, смотрели очень внимательно.

— Рудик! — Ленька взглянул на Славку, Славка сразу покрылся испариной.— Рудик, не трать на меня порох. Оставь немного для своих идиотов...

— Это вы про кого?! — закипел Рудик.— Это вы — вот? Это вы — так?!

Славке нельзя было больше молчать, он должен был поддержать Леньку. Сволочи, говорил он себе, вот ведь, действительно, навязали... Но решимости никакой не испытывал, и злость его, лишь слегка взбаламутившись от этого неуверенного помешивания, вновь оседала на вязкое дно.

— Все проплет,— говорил Рудик,— все просадит в тотализатор, все спустит за один день, а чтоб хоть немного помочь государству...

— Я готов помочь кому угодно, любому, даже тебе. Но пусть меня об этом попросят, а не грабят, не вырывают из рук. Понимаешь, это мои деньги, ты можешь их у меня попросить, я тебе одолжу, или так отдам, или вовсе не дам, уж как захочу, но отнимать — не имеешь права!

Пора, пора, говорил себе Славка, и так уже... Все это может кончиться, разговор оборвется в любую минуту, и выйдет, что он промолчал, отрекся... Но еще тут моталась одна мыслишка, как гирька, подвешенная на веревочке, то одним, то другим ударяла краешком: что ведь Рудика он уже подвел, только тот еще об этом не знает. Но Рудик — это Рудик, а Ленька — это Ленька. И ведь он не подвел, так только вышло, это такой результат получился, он же сам ничего плохого не сделал...

— Пропью! — между тем распаялся Ленька.— Пропью, просажу, а тебе не дам!

— Да при чем тут мне? Да при чем тут я?! Очень нужны мне твои капиталы!

— Я тоже,— сказал Славка и проглотил слюну.— Я тоже, так же... Мне тоже не надо...

— Ну, конечно! — радостно крикнул Рудик.— Вот и Славка! Мы все...

— Нет, я про билеты. Мне тоже не надо этих билетов, зачем они мне, я не возьму.

Фары медленно повернулись.

— Вы это что? Вы это куда?

Славка не ответил, взглянул на Леньку: приятно было видеть, как он расслабился.

— Хватит! — сказал Сергей Бородулин, старательный малый из вечных заочников.— Хватит митинговать, мужики. Где там, Раюшка, моя фамилия? Так. Ну вот, давай отсчитывай.

Рудик ходил взад-вперед по проходу, бодая воздух, махая рукой.

— Что ж, все правильно, вольному воля. Вас заставить никто не может. Но и мы, коллектив, имеем право...

Совесть у Славки была чиста, он как-то сразу вполне успокоился — и тут его что-то сладко кольнуло, не первый раз уже в этот день. Что-то будет! — неясная мысль, и тут же — ясная — ей навстречу: ни-

чего не будет; будет собрание — два часа убитого времени, позднее возвращение домой, усталость, мамыны охи и ахи...

Разумеется, все обернулось глупостью. Сказать он сказал, а дальше-то что? Ленька сидел за своим столом, он сидел за своим. Что-то мешало ему подняться, подойти, спросить, посоветоваться. Все будут смотреть, провожать глазами. Надо шептаться или вовсе выйти. Слово «заговор» медленно проплыло в мозгу. Могут ли им не выдать зарплату? Не могут, не имеют никакого права! Господи! Да, конечно же, могут! Не дадут и все — что будешь делать? Суд, арбитраж, юрист, нотариус... В-Ц-С-П-С. Ленька тратит сколько захочет, ему наплевать, тут Рудик прав. А Славка — что он скажет маме? Мама крикнет: «Дело не в деньгах! Посмотри на себя, в чем ты ходишь! Мне от тебя ничего не нужно, но хоть бы туфли себе купил. Ты же знаешь, сейчас такое время, надо не фыркать, а брать, что дают!» Всегда у нее *такое* время, было ли когда-нибудь *не такое*? «Дело не в деньгах, — скажет она, — но я уверена, этим не кончится, ты себе покалечишь жизнь».

— Ну и подпись у тебя, Бородулин, тебе бы министром финансов работать.

Рая напоминала ему Розу Ефимовну — округлостью, голосом, общей игрушечностью. Странно, у нее ведь и мать, и отец... Но и в Розе Ефимовне это было не *то*, а нечто вполне наднациональное. Хотя и этого, впрочем, хватало. Вкрадчивый, настороженный юмор, неполнота, ненасыщенность каждой фразы, постоянное присутствие второго смысла — порождение вечной еврейской двойственности.

Сходство, конечно, чисто внешнее. Внутреннее — уж скорее у мамы. Хотя Роза Ефимовна — резче, острее.

Все женщины друг на друга похожи, все еврейские женщины — близнецы... Глупость, но звучит будто истина.

## 9

У них дома никогда не говорили *об этом*, даже этого слова не произносили, теперь было трудно себе представить, как удавалось его обходить. Тем более, что «инвалидов» и «пятых пунктов», всех этих подпольных эквивалентов, предполагававших внутреннюю стесненность и, значит, внешнюю неправоту, — отец не признавал.

Он очень гордился своим происхождением, все мамыны родственники были просто *родственники* (вот, пожалуй, эквивалент), его же родня именовалась: *казаки* — хотя отец его, Славкин дед, родился и умер в Третьем Церковном, в грязном кривом двухэтажном доме, с огромной помойкой в углу двора. Тетя Люда, впрочем, жила в Ростове («На Дону!» — с ударением приставлял отец), но приехала она туда из Москвы, на Ростсельмаш, по распределению. Отец был худ, невысок, не сказать, чтоб красив — за что его только любили женщины, в том числе, конечно, и мама?

Да, вот именно, *в том числе*... Его замашки были смешны: детская показная лихость, усы, поиски сходства с Шолоховым. Шолохова он считал величайшим писателем, «посерьезнее, чем Толстой и Бальзак!», покупал подряд все его издания. Славке было одиннадцать лет, когда он всучил ему «Тихий Дон». «Читай, — сказал он, — все без разбору, будет что непонятно — спросишь!» Славка мучился месяца два, иногда, чтобы только его не обидеть, спрашивал о деталях казацкого быта, хотя непонятно ему было другое, о чем он тогда и не думал спрашивать. Всерьез же увлекла его одна только сцена: когда казаки насилюют Франю. Это место он перечитал раз десять, с дрожью впитывая каждую мелочь, и все ему было мало, мало, все никак он не

мог достроить пропуски из детского, скудного материала... Дальше он просто не стал читать, перелистал, стараясь запомнить фамилии, так же и всю вторую книгу, или том, или как оно там называлось. Но отец, конечно, его уличил — и отсюда, с того большого скандала, началась открытая их вражда. Он впервые почувствовал несоизмеримость своей вины и отцовского гнева, а почувствовав это, увидел другое — то, на чем держалась их жизнь; не все, но ему уже было достаточно. И когда вечером после работы мама снимала отцу сапоги (он всегда садился напротив зеркала, смотрелся, пощипывая усы, а ей, не видя, протягивал ногу), Славка, прежде порой умилявшийся, с трудом сдерживал тошноту и в бешенстве выбегал на улицу.

Для него эта *Сима* была облегчением, он считал тогда, что для мамы — тоже. Двусмысленность теряла всеобщий характер, она становилась частным случаем. Но для мамы это было иначе, она все цеплялась за каждую мелочь, и даже звала их обоих в гости; придет, мол, увидит тепло и уют, сравнит, расчувствуется, прослезится... Но он и один не пришел ни разу. «Вставайте, друзья! — упорно долдонила мама. — Пора, вставайте, друзья!»

И его, и ее он увидел в больнице, верней, это так называлось: «в больницу» — он увидел их в лесу, на полянке, он их там, можно сказать, застал. Автобус шел полтора часа, он заснул, его разбудила соседка, чистенькая такая старушка. «Проснитесь, — сказала она, — больница. Вы не проехали? Вам сюда?» Он не сразу вспомнил, куда он едет. Старушка везла две большие сумки, у него же был только пакетик с клубникой да вчерашние мамины пирожки — с капустой, отец их терпеть не мог. Было очень жарко, конец июля, он зачем-то надел свой серый пиджак — чтобы шире, что ли, казаться в плечах? Вот, мол, как он возмужал и вырос... Шагал, весь мокрый, вялый от сна, и не то чтобы с ужасом думал о встрече, но даже и вообразить не мог, что вот сейчас он его увидит. Здравствуй, папа? Здравствуй, отец? Привет, старик, а ты прекрасно... Он прошел через парк в деревянный флигель, поднялся по стертой двухмаршевой лесенке, еще наверх, сказали ему, налево, там такой закуток, а там... а, собственно, вы к кому? Так он не здесь, он в процедурном, он в это время *на облучении*.

Он вышел, пошел по песчаной дорожке, смущенно поглядывая на встречаемых. Ему казалось, что все его чувства: страх, болезненное любопытство, неловкость за свою непричастность — написаны на его лице. Что ж, придется пройти через *это* — он, кажется, даже немного обрадовался: ничтожная, но все-таки плата за его верный обратный билет.

Он вошел в небольшой приземистый домик, холодный, бетонный, как бомбоубежище, прокрался по узкому коридору — толщина стен была налицо, то и дело они представляли в разрезе — и вполз, с трудом подавляя страх, в комнату, где ожидали больные. «Он уже ушел, — сказала сестра, крупная толстогубая девка. — Пошел вон по той... А вы ему кто?» — и как-то особенно улыбнулась, качнув головой и стрельнув глазами. Та-ак, с неприятно подумал Славка, жив еще, значит, старый казак, медсестры еще подлежат его чарам. «В лес он пошел, вон по той тропинке», — она показала, Славка взглянул с удивлением обнаружил окно: ему-то казалось, что он под землей. У окна сидел молодой парень, в тренировочных брюках и шелковой тенниске, широкие плечи, волосатая грудь. Неужели и этот?.. И у него?!

«Зотов!» — громко сказал динамик, и Славка вздрогнул от неожиданности. Парень очень спокойно встал и, складывая на ходу газету («Советский спорт», — отметил Славка, с неясной, но сладковатой болью начиная расшатывать этот зуб), направился к двери в центре стены. Дверь была крашена «под орех» (или «под дуб»? — он всегда

это путал), но ее металло-бетонная сущность была очевидна, маскировка этому не мешала, наоборот, привлекала внимание. Дверь тяжело отошла от стены, теперь уже в открытую, нагло, показав свою толщину и бетонность. Вышла маленькая старушка, в цветном сарафане, с полотенцем под мышкой, внутри же, мечась лихорадочным взглядом, заметил Славка пульт управления — три-четыре ручки, две-три шкалы, письменный стол, мужчину в халате... Парень вошел, дверь затворилась. Никакого страха, по сути, не было, ничего, кроме толстых стен и дверей. Он еще потыкался в эти двери, подгоняя вялое воображение — и отстал, отказался, махнул рукой.

«Спасибо», — сказал он сестре и пошел, едва успев скользнуть в развороте по ее оживленным влажным глазам.

Он шагал по указанной ему тропинке, испытывая что-то вроде досады, как в детстве, когда обещали и не дали — ах, какие все нехорошие, обманули кровожадные его ожидания. Да, вот так, подумал он трезво, именно так: обычные люди, никаких тебе вывороченных кишков, но с каждым — внутри — его обреченность. Человек не кричит, если боль отпускает, даже если причина осталась. Человек читает «Советский спорт»... Травинка, которую он жевал, была съедобной и несъедобной, надламывалась влажно и как бы сочно — и оказывалась сухой и жесткой. Вдыхать распаренный воздух леса было тоже приятно и неприятно: лес, по которому ходят больные; нет, лес, по которому *бродят смертники*... Во всем он видел эту раздвоенность. Устремлялся вперед, торопливо и бодро, ему ведь надо было догнать — а чувствовал вялость и неудобство, хотелось обратно, домой, к маме («не застал, не пустили, перевели...»).

И тут он увидел их на поляне. Было мгновение, когда не узнал, то есть когда не пытался узнать, не думал, что это может быть он. Впрочем, была и еще отяжка — потому что сперва он увидел *ее*. Нет, бедро ее из-под задранной юбки — вот что он в первый момент увидел. Гладкую выпуклость голого тела и руку отца (не сразу — «отца»), всеми пальцами вдавленную, погруженную... Все казалось странно преувеличенным среди пестрой и чужеродной зелени, бедро — необыкновенно широким, нога — необыкновенно длинной.

Отец сидел, прислонившись к дереву, она полулежала у него на коленях, загорелой рукой обхватив его шею, и то ли что-то шептала на ухо, то ли ласково целовала в щеку. Все тем же торопливым, догоняющим шагом вылетел Славка к ним на поляну, «Господи-Боже, куда это я!» — но было поздно, он уже вылетел. И уже отец, заметив его, одергивал смявшуюся ее юбку, уже отстранялся и как-то выпрастывался, а она покачивалась на руке, в поисках устойчивого положения, и маленькой полной ступней с педикюром ловила свалившуюся бо-соножку.

Черные вьющиеся волосы, карие, чуть выпуклые, глаза... Отец постоянен во вкусах.

— Здравствуй, здравствуй. Что, навестить? — прохрипел он сдавленным, мертвым шепотом, и Славка застыл со сведенным ртом, с комком, подкатившим к горлу. Ужас, тот самый, вождеденный ужас достал, настиг его, наконец, и застал врасплох на этой поляне, рядом с этой красивой женщиной, в окружении этих трав и цветов, чьих названий он никогда не узнает, будто сам, немолтвующим своим горлом, он почувствовал тяжесть узлов и сплетений, навалившихся на гортань отца.

— Что, — прохрипел отец, — не привык? Жаль старика? Ну-ну, ничего, Не размокай, посмотри на Симу, вон она у меня каким молодцом!

Славка послушно взглянул на Симу — она улыбнулась просто и прямо, славно так, хорошо улыбнулась... В ушах звучала тихая му-



зыка, явственно, как будто и вправду. Он не сразу понял, что это вправду: черная маленькая коробочка лежала на свернутой пижамной куртке, отец повернул ручку и выключил. Приемник на полупроводниках! Ее подарок, подумал Славка. Ее подарок, а иначе откуда бы, он и сам ни разу таких не видел. И еще он смутно подумал: «Не знаю... ничего я не знаю. К маме, домой...»

— Распишись вот тут!

Он расписался.

— Ну вот, а теперь бери свои деньги и, пожалуйста, больше не строй из себя. Одни вы с Гусевым такие умные, всем — так, а вам — по-другому...

Деньги он сразу сунул в карман, билеты же подержал в руке, раздвинул веером, сдвинул, помял, положил на стол и отдернул руку. Рая уже подходила к Леньке. Не возьмет, откажется. Ленька взял.

А потом он увидел ее на кладбище, она показалась ему некрасивой: губы опущены по-старушечьи, какой-то даже двойной подбородок, и черное ей, несомненно, не шло. Мама плакала, билась в истерике, целовала желтые руки отца, ее оттаскивали, держали. Славка с ней сидел на скамеечке, уговаривал и поил валерьянкой. А Сима держалась как будто спокойно, не всхлипнула, не обмолвилась словом. Впрочем, была она всем чужая, все ее разве только терпели. Но в конце, когда ухватились за крышку, вдруг она оказалась у гроба, и черная маленькая коробочка быстро скользнула в мертвую руку — так, будто сам отец ее взял. Кто-то кинулся, вынул, велел заколачивать. И тогда она распростерла руки, обхватила, сколько могла захватить, и сказала — твердо, сухо, без слез: «Нет, это должно быть с ним... Он любил... Это должно быть с ним...» И никто не решился ей возразить, и снова она вложила приемник, и стояла, ждала, пока заколотят. А потом, когда подвели веревки, повернулась и молча ушла одна.

Больше он ее никогда не видел, но, вспоминая об отце, что случилось не часто, вспоминал и ее, и тогда уже думал больше о ней, обе эти сцены подробно проигрывал и мучился над ее словами. Что она хотела сказать об отце: «Он любил» — ее, или этот приемник, или музыку, или просто — жизнь?

## 10

Ленька взял и билеты, и деньги, все аккуратно вложил в бумажник, спрятал, вынул из ящика книгу и открыто, с хлопком, положил на стол. «Бледно, бледно!» — подумал Славка, но сразу почувствовал облегчение. Все рассосалось само собой. Да и день уже подходил к концу, день, прожитый без электричества, кисловатый, муторный буднично-праздник. Толпа уже собиралась у двери, надевали шапки, поправляли косынки, рассеянно и напряженно острили, то и дело поклеивали часы, поочередно, как деревянные куры. Славка сегодня был непричастен, мог любопытствовать со стороны.

Звонок, как всегда, прозвенел неожиданно. Пока боролись около двери, пока крутили ручку замка — в три руки, упорно мешая друг другу — потеряли много лишних секунд. Коридор громыхал и трясся от топота, это было тем более примечательно, что сегодня вся молодежь оставалась. В окно была видна проходная, лавина уже устремилась к ней, уже оторвались первые двое и, махая руками, скользя, спотыкаясь, втягивались в отверстую дверь. Одна вертушка на все ОКБ, бесценные минуты свободы...

— Пошли, — сказал ему Ленька, — отметимся.

Они поднялись на четвертый этаж, увидели девиц за красным

столом, подошли, развернули свои билеты — и тут ожидал их страшный удар: сегодня билеты не отдавали, оставляли все до после собрания. Ленькино обаяние было бессильно: девиц контролировало начальство. «Ловко,— сказал он,— придумали, суки!» Потолкался среди знакомых, в зале и в примыкающих комнатах, расспросил и вернулся, вконец расстроенный: ждут какого-то фрайера из райкома, никого не выпустят до конца. Славка тоже вслух возмущался, но больше в поддержку и для компании, сам же он давно примирился и ни на какой уход не рассчитывал. Он даже по сестве, был доволен, ему не нравились все эти фокусы. Смотаешься, выиграешь пару часов, а потом не знай ни сна, ни покоя, гадай, застукали — не застукали, утром лети в поту и дрожи, торопи троллейбус, беги бегом, лови взгляды, угадывай мысли... Слава Богу, все решилось само собой. Но Ленька не так-то просто сдавался, он еще приготовил Славке сюрприз.

«Значит, так: дождешься, возьмешь оба, сначала мой, а потом свой. В гробу я видал! У меня бега. Сегодня мне один человек... В общем, сегодня ответственный день. Будь здоров!» — и он ринулся к выходу. Но — поздно, там уже стоял заслон: четыре лба из антенно-фидерных топталось, балагурия и гогоча, хватали, заталкивали обратно, не достаивая ответом, тыча в морду свои повязки. Ленька вовремя затормозил, опомнился, успел избежать насилия. «Так! — он уже заметно подрагивал. — Мало им билетов, клапан устроили. Осталось только открыть огонь. А что? — оч-чень даже возможно. Следующий закономерный шаг. Порядок, строй, дисциплина — х...на. Не-ет, этих не переспоришь, этих разве пересидишь. В уборную! — там сейчас наше место». В уборной уже собралась толпа — не одни они оказались умными. Курили, поглядывали на дверь. Не зря поглядывали: пришел Рудик, взяла на себя миссию от парткома... «Иди, иди,— сказал ему Ленька,— мы сейчас, следом, займи места».

Рудик зыркнул, зло и сутуло, однако не стал заедаться, вышел. Кое-кто потянулся следом за ним. Шум в коридоре сначала возрос, потом понемногу начал спадать и вдруг всосался куда-то внутрь, остались только редкие вспышки, три-четыре голоса вперебивку, пару раз еще хлопнула дверь, и после мертвой минутной паузы Ленька махнул рукой и пошел.

Славка пролез под черную штору, тихонько прикрыл за собой дверь, огляделся: задние все уже заняли. И тогда он с ходу, почти неосознанно, наметил себе другую цель, нашел, и сразу ему повезло: там рядом было свободное место, и даже не очень близко от сцены, пять или шесть рядов от конца. «Сюда, сюда, молодой человек, там тесно, а здесь, впереди, свободно!» Он вздрогнул, но курса не изменил, тут уж ему хватило решимости. И вот — пошло, пошло, покатилося, так, будто только ждало момента, будто накапливалось весь день, все дни, все предыдущие годы...

Она еще издали ему улыбнулась, что-то сказала подружке справа и потом десять прекрасных секунд специально занималась его ожиданием, просто ничего другого не делала.

— Привет! Ты что ж это не являешься? Я вас сегодня весь день ждала. Вы же сегодня филонили, верно? Или, может, другую себе завели?

Он внутренне дернулся, заметался, запутался в этих местоимениях, не смея верить: ты или вы? Ну, конечно, вы, какой разговор, он и Ленька, это же ясно... Но она говорила что-то еще и уже обращалась только к нему, Леньке там уже не было места, и он не то чтобы прыгнул от радости, но как бы весь с трудом приподнялся, перевалился через барьер и плюхнулся на другую сторону.

Она говорила тихим шепотом, он близко-близко к ней наклонил-

ся, так было надо, чтобы расслышать, и с трудом удерживал нужный угол, предельный, только не прикоснуться, и перекошенным правым глазом, сдвинутым вправо, впритык, до боли, видел ухо с жемчужно-круглой сережкой и чуть оттопыренный завиток и легче, легче, скользя по щеке, почти уже совсем легко и свободно рассматривал движущиеся губы. Рот у нее был широковат, и чистые, розово-нежные десны открывались в углах при каждой улыбке.

Он стал торопливо шептать ей в ответ, шепот придавал их словам значительность, будто речь шла о чем-то действительно тайном, это их как-то объединяло: шепот, тайна, склоненные головы... над ними сгушался некий интим.

Он не был уверен, что и она это чувствует, но, по меньшей мере, какую-то часть, какую-то долю в этой игре она принимала без возражений. Вокруг ведь тоже все разговаривали, но делали это совсем иначе, гудели тихими голосами — они же шептались, как заговорщики: заговор шепота против гула. Он чувствовал зыбкость этой конструкции, так странно и чудесно возникшей, и одна забота его занимала — уберечь, не нарушить, не выйти из русла...

Подруга справа была еще тут, порой еще дергала Надю за локоть, сердито и быстро гукала на ухо. Надя на миг поднимала голову, кивала и вновь возвращалась к Славке. Чудо длилось и продолжалось, и Славка уже, наглядя до крайности, готов был поверить, что это не чудо, что так оно все и должно было быть. Где-то ведь это было заложено, за несколько лет их общения в прошлом разные наобещались возможности. Он востроился, взглянул на сцену, первый раз за все это время — там шло обычное представление. В краткой, почти неподвижной картинке отпечатались вся его монотонность, но сегодня это было даже приятно, вносило уют и успокоение. За красным барьером томился президиум; на переднем плане сутулый Рудик, растопырившись, мучительно улыбаясь, вручал какому-то парню знамя; наконецник древка был остр и тонок, выдавал немирное свое происхождение и в центре Славкиного живота отзывался привычным с детства уколом; райкомовский фрайер стоял на трибуне, маленький, виднелась одна голова, крышка графина, стоявшего рядом, была выше, а казалась — значительно выше.

— Как тебе нравится? — шепнул он Наде. — Натюрморт с графином.

Она засмеялась.

— Точно, — шепнула она, — натюрморт! Или, знаешь, еще — кукла за ширмой. Голова куклы, а рука актера...

На них напал безудержный смех, такое дурацкое состояние, когда все вокруг теряет устойчивость и любое слово — как детонатор. Они хохотали, давились от смеха. Воистину судьба благоволила к Славке — что могло бы их больше объединить? Безудержный... да, но не бесконтрольный. Потому что, как искренне он ни смеялся, как ни был захвачен этой волной, внешней, насильственной, как болезнь, — все он видел как бы со стороны, свой собственный недремлющий глаз чувствовал свою о себе заботу. Между тем вокруг поднимали руки, их подтолкнули, они тоже подняли, не глядя, друг от друга не отрываясь, разве только слегка разогнувшись. «Голосуют, значит, скоро конец», — шепнул ему тот уголок сознания. Но гудеж еще длился какое-то время, они продолжали свое веселье, и вот им сделали замечание, тоже опомнились! — сразу обоим, общее, «девушка с молодым человеком!» — он даже и не поверил сначала, а поверив, чуть не завыл от радости.

Они вышли из зала в общей толпе, кинулись на раздачу билетов, вместе со всеми, в гике и свалке, и тут пришлось им разъединиться: их отделам давали в разных углах. Он, конечно, не смог протиснуться первым, но когда понемногу дополз до стола, то все еще ничего не

растратил, все еще чувствовал прежний подъем, и этого было ему достаточно, чтоб взглянуть в лицо раздающей девице, выкрикнуть сразу обе фамилии, выхватить сразу оба билета... И тут он почувствовал беспокойство, они ведь с ней никак не условились, где же теперь... куда же она... В той, второй толпе ее не было, это он обнаружил сразу, потому что самой толпы уже не было, оставалось несколько человек, зазевавшихся или самых спокойных. В ужасе он вылетел на площадку, проскочил до первого этажа, стремительно сверзившись и обрушившись, пронизал пространство до проходной, ярко освещенное прожекторами, в каждой удаляющейся фигуре страхась и надеясь узнать ее, взлетел обратно и встал, задыхаясь, не имея понятия, что делать дальше. Коридорчик пустел, надо было идти, но сначала — что-то такое придумать, найти если и не решение, то хотя бы какую-то определенность. Но и мысли его страдали одышкой, он думал отрывистыми словами, никак они не сливались во фразу. «Ничего! — успокаивал он себя. — Завтра!..» — так он себя успокаивал, в то же время прекрасно осознавая, что нет, не завтра, только сегодня, что завтра будет, как и вчера, потому что все, что сегодня важно, завтра окажется пустяком, и он опять не найдет в себе силы, и больше, может быть, никогда...

— Ну что, пошли? Ты о чем задумался?

Он даже не смог улыбнуться в ответ, только беспомощно дернул губами.

— Ты где была? — спросил с опозданием, хрипло, все еще задыхаясь.

— Да тут... зашла... — она усмехнулась. — Что, заждался уже? Соскучился?

— Знаешь — соскучился! Даже очень!

Пропуская ее вперед в проходной, он уже примеривал разные взгляды: застенчиво-нежный, робко-счастливый — и уже хотелось ему другого, уверенного, хозяйски-спокойного.

Она направилась было по улице, но он повел ее через двор, мимо своих скособоченных домиков. Белье уже сняли, но яблони были на месте, и светилося окно, одно из двух, обращенных во двор. Над белой, не до верху, занавеской, сквозь сетку тюля видна была лампочка, свисавшая на проводе с потолка. Второе окно, пустое и черное, вдруг на миг, пока они двигались мимо, обманывало зрение резкими бликами — то ли от соседнего яркого света, то ли от каких-то других, окружающих. И вот уже оно не казалось пустым, а напротив, живее, чем освещенное, взгляд невольно к нему притягивался — и отскакивал без результата. Дальше они попадали в тень, синий снег и черные фигуры деревьев, но и здесь был рассеян какой-то свет, луна? — подумал он неуверенно и даже глянул куда-то вверх, налево и вверх, скосив голову, с неловкостью вечного горожанина, вдруг обнаружившего существование неба. Там, куда он глянул, луны не было, подробней рассматривать он не рискнул.

— Как хорошо! — сказала она. — А я и не знала этой дороги.

Он все не решался взять ее под руку, наконец, потянулся, робко притронулся... «Нет, нет! — и все в нем ухнуло вниз. — Нет, лучше я тебя возьму сама». Ах, это было действительно лучше — так прекрасно чужда, так волнующе реальна была ее ладонь в шерстяной варежке, он прижимал ее локтем, сильнее, сильнее, чуть отпускал и опять прижимал...

В троллейбусе он снял с нее эти варежки, положил к себе в карманы пальто. «Дай лучше мне, — сказала она, — зачем ты?» Но он помотал головой, взял в свои руки ее ладони, сразу обе, грел их и гладил, и то нежно, чуть касаясь, обводил их по контуру, то падал сверху, как бы ловил, и тесно, плотно держал — удерживал...

— Надюша, привет! — широколицый парень из тех оборачивался к ним с переднего сиденья. — С собрания? Что ж я тебя не видел? Ну что, как провела время?

Он подмигивал, и она улыбалась, и уже он крутился и так и этак, распахивал пальто, свешивал локоть, устраивался надолго и поудобней, на Славку не обращая никакого внимания, балагурил, трепался...

Она смеялась. Безумная началась тоска. К счастью, он выходил на Солянке, еще долго что-то гудел на прощанье и почти уже руку ей протянул, но как-то в последний момент закруглил, вырулил и провалился в дверь.

— Это Забавин, — сказала она. — Из приемников. Ты его разве не знаешь? Забавин. Подходящая фамилия, верно?

— Забавин, — пробормотал он сквозь зубы. — Подходяще...

— Ох, Слава! Ну что ты, Слава! — снисходительно и ласково усмехнувшись, она к нему качнулась и откачнулась — будто сказала ребенку «агу».

И тут уж они как раз приехали. «Площадь Дзержинского, конечная, вам не пора, молодые люди?»

Она жила рядом, на Кузнецком мосту, как они медленно ни шагали, вышло не больше пяти минут. Они вошли под круглую арку, открывавшую узкий глубокий двор, освещенный неярким (луна или окна?), болезненно-желтым светом. Она остановилась, обернулась к нему. «Вот и все, — сказала, — я уже дома». Застегнула ему пуговицу на пальто (он ей мешал, обнимал ее руки). «А теперь поцелуй меня, — сказала она. — Нет, ты не так, ты хорошо поцелуй!»...

Ладони его скользнули по атласной косынке, все их порезы, задиры, царапины как будто спешили себя проявить, корявые руки, гладкая ткань, голова ее, мягко сопротивлявшаяся, и сладкая, сладкая боль на губах... Он готов был упасть в какой-то момент; встрепенувшись, она его поддержала. Он опомнился, прижал ее руку к щеке, повернулся молча и вышел на улицу.

## 11

Он проснулся среди ночи от жаркого счастья, волна накатила и пронеслась, и когда он открыл глаза в темноту, то ощутил себя вдруг широко и распахнуто, весь он был как бы тихим возгласом «ах!». Мама похрапывала за дверью, это не раздражило его — растрогало. Ей тоже, подумал он, будь здоров... Он приподнял подушку, сел на постели, подтянулся к окну, отвернул штору, поставил часы под свет фонаря. Было еще только без четверти три. Это было прекрасно — без четверти три, целых три часа до подъема. Он укрылся, закутался, спеленал себя одеялом, инстинктивно ограничивая жизненное пространство, как бы собирая расползавшиеся чувства. Все ему было одинаково важно, он не должен был ничего пропустить. Для начала он просто произнес ее имя, попробовал, как оно ему теперь, и впервые, как бы со стороны, специально отметил его значение. Надя, сказал он себе, *Надежда!* Выходило, быть может, слегка театрально, но и в этом виделось ему соответствие, любая чрезмерность казалась мерой. Затем он легонько, по самой поверхности, стал наигрывать тему вчерашнего дня, придерживая свое нетерпение, оставляя главное и единственно важное напоследок, на будущий особый настрой. Но тут уж у него ничего не вышло, он успел лишь подумать, что вот предчувствие, что-то ведь было, что-то ведь есть... И все, сорвался, больше не выдержал, как когда-то в детстве с колеса смеха, скатился — и прямо в ее объятия, и уже позволял себе, расслабляясь, ощутить руками протяженность ее ладоней и губами почувствовать вкус ее губ... Так он вбирал и впитывал ее в себя и опом-

нился, лишь исчерпав свою память, ничего не оставив воображению, не будучи в силах, как ни старался, ни услышать голос, ни увидеть лицо. И уже лицо ее плавало где-то сбоку, справа и немного вверху, ему удалось поймать за веревочку и притянуть его в поле зрения — но это оказалась Вера Андреевна. Она улыбалась... Нет, не улыбалась, а показывала пальцем больной зуб... Но и тому, что засыпает, он тоже радовался, было мягко, тепло, далеко до утра...

А утром он спал тяжело и каменно, мама не могла его добудиться. Он встал, наконец, но не знал, что делать, как одеваться, куда идти. С детства зазубренный распорядок будто стерся из его одичавшей памяти. «Кажется, ты вчера перепил!» — эта шутка считалась легкой и тонкой, и хотя обычно достаточно было улыбки, сегодня он с готовностью рассмеялся. Мама как будто осталась довольна, но от подозрений не отказалась, смотрела как-то подчеркнуто в сторону, и тем более неестественными и явными были ее короткие «скрытые» взгляды, которыми она пыталась его пронизать. Он опоздал на свой девятнадцатый, и, странно, эта мелочь его огорчила. «Несмотря ни на то, — сказал он себе. — Несмотря на то...» В троллейбусе его притиснули, он отступал, отступал и уперся в сиденье, и, конечно, садиться было не надо, но все случилось само собой. Круглый выступ толкнул его под коленки, он упал и уже остался сидеть, туго зажатый в узком пространстве, благо, лишь он и мог бы там уместиться. Тесно было и справа, и слева, но справа, он сразу это почувствовал, намного тесней. Теснота справа была активной, она была угрожающей, она надвигалась. Почему-то сначала, косым взглядом, он увидел отвислые мокрые губы, а потом ощутил уже смрад перегара. «Что, чернявенький? — обрадовался мужик с пьяной цепкостью и целенаправленностью лоя чуть заметное его движение. — Увеселишься? Нр-правится тебе у нас в России? А? Что молчишь, тебя спрашиваю? Язык проглотил? Или, может, не знаешь по-нашему? Ну? Ты мне по-еврейски скажи. Я пойму, я вашего брата мно-о-го... Ну! Давай с тобой покалякаем. Как там у вас? Сары-мары, маца-цаца...»

Глаза и волосы были у Славки мамины, в остальном же он больше походил на отца, но то ли сами эти отцовские черты, несмотря на бодрячество и казачество, не несли в себе ярких славянских признаков, то ли как-то трансформировались незаметно под напором неразбавленной восточной крови — но только разного рода курьезами он был обеспечен с обеих сторон.

Кем он был, русским или евреем? «Не имеет значения, — говорила мама, и лицо ее становилось торжественным. — У нас, ты же знаешь, все равны!» Почему-то Славке при этих словах представлялась очередь за мукой, бесконечно длинная и унылая, сам он ни разу в такой не выстаивал — у них была знакомая директорша булочной, — но много раз с тоской наблюдал. В этой очереди, которая ему представлялась, стояли попеременно евреи и русские и почему-то еще татары. Друг от друга они отличались по цвету: татары были красные, как индейцы, евреи — черные, русские — белые. Они чередовались в строгом порядке: русский — еврей — татарин — русский, и каждому из маленького деревянного окошечка выдавали одинаковый серый пакет... Он довольно рано, еще при отце, почувствовал эту свою половинчатость, странность своего положения в мире. Он катался, катался, будто шарик в коробочке, и если поднимали ее правый край, то он перекачивался в левый, поднимали левый — перекачивался в правый. Конечно, бывали и периоды равновесия, наверное, даже их было больше и дольше по времени они продолжались, но память о крайних была острее и давала постоянное чувство неустойчивости. «Все мы — советские», — говорила мама, и это звучало как строчка из песни. «Net dlia nas! Ni chornyh ni tsvetnyh!» — пел Роб-

сон своим детским басом, и мама неизменно вытирала слезы и шептала, подрагивая губами: «Как ему, должно быть, приятно это петь! Приятно — и грустно. Ему ведь приходится *туда* возвращаться...»

«Все мы — советские! — говорила мама. — У нас нет ни евреев, ни русских». И Славка, хотя и явственно ощущал натяжку, несовместимость этих «равны» и «нет», все же с легкостью скатывался в эту лунку, она его тоже как будто устраивала. Но тут же, стоило ему выйти из дому, просто выйти на улицу, хлопнуть дверью, вдохнуть постороннего, домашнего воздуха, как он чувствовал разочарование в этой песенной форме, и не то чтобы она ему казалась неверной — но абстрактной, не пригодной к употреблению. Он нуждался в заклинании — но только таком, чтобы бросить его в лицо оскорбителю, и тот бы смешался и отступил, отошел понуро и уже никогда... Но такого заклинания у него не было. Не было его, например, и у Гришки. Но зато у Гришки было другое.

Гришкины родители были стариками, старший его брат — намного старший — успел уже погибнуть во время войны. Он учился в Московской консерватории. «У Ямпольского, — говорил Гришкин отец, — в одном классе с Ленькой Коганом. И можете мне поверить (он был со всеми на «вы»), что Эмика все считали способней. Ямпольский плакал, я сам это видел, он не хотел его отпускать. Но Эмик все же настоял на своем и пошел дирижером в военный оркестр, и даже до фронта он не доехал — их эшелон разбомбили в дороге... Нет, Ленька — большой артист, он многому научился за эти годы, но, уверяю вас, даже сейчас — ему еще далеко до Эмика. У Когана полный, хороший звук, но он не умеет играть тихо. Это может Хейфец, ну и Менухин, но Эмик умел это лучше всех. Нет, не думайте, что он не мог громко — но вот он играл «Цыганские напевы», вы их знаете... Нет? Знаменитые? Сарасате? Ничего, вы еще успеете, надо слушать музыку... Он играл цыганские напевы Сарасате — и душа ваша падала, падала вниз, вы умирали, вас уже просто не было, и вдруг, хоп! — вы взлетали до неба, и такая открывалась вам красота, что просто нельзя было не заплакать. И это не только я — никто не мог удержаться от слез...» — «Пап, не надо, — говорил Гришка с терпеливой, удивлявшей Славку мягкостью. — Давай ты лучше потом расскажешь?» — «Хорошо, хорошо, — соглашался отец, и опять, уже спокойней, обращался к Славке: — Скажите, у вас нет музыкального мастера? Но только чтоб очень-очень хороший?» — Это был повод показать скрипку. Мать Гришки, молчаливая добрая женщина, распухшая от какой-то страшной болезни, доставала из шкафа черный футляр, они открывали его торжественно, все трое, каждый за что-то держась, и там внутри, всегда неожиданно, оказывался яркий белый атлас, он светился ровным и чистым светом, и казалось, что если теперь закрыть, то в футляре будет светло по-прежнему. Скрипка, на Славкин бездумный взгляд, выглядела здесь немного лишней, она эту белизну нарушала, уж как-то была чересчур темна, матова, даже лак не блестел. Но постепенно, привыкнув к контрасту, он и ее научился рассматривать и даже испытывал странное удовольствие, перескакивая взглядом туда и обратно, с убогой обстановки Гришкиной комнатки — на изящный вензель скрипичных обводов. Гришкин отец вынимал смычок (в кривой изогнутости его древка, в провисшей ленте серого волоса было что-то неправильное, непредсказуемое и оттого непонятно живое), затем, охнув, брался за скрипку. Он брался за корпус двумя руками (а Гришка и мать держали футляр) и медленно, как тяжелобольного, поворачивал на ребро, и — открывался страшный зияющий пролежень. «Вот, — говорил он, — такое несчастье...»

Однажды после школьного вечера они возвращались с Гришкой домой, и уже на Ямской, бесфонарной и грязной, двое мужиков загоро-

дили им путь. Мужики были взрослые и почти не пьяные, у одного через плечо, как солдатская скатка, была надета бухта веревки, толстой, он пригибался под тяжестью, у другого — такая же бухта ремней, какими обвязывают чемоданы. «Жидята!» — сказал один и гыкнул. Другой бормотнул: «Нагаек хотят».

Славка рыбкой метнулся в сторону, упал в грязь рукой и коленом, но тут же вскочил и успел отбежать, а Гришку они прижали к забору и стали стегать по лицу и рукам, мыча и примурлыживая от удовольствия. Славка попрыгал, попрыгал вокруг и отчаянно ткнулся куда-то под локти, чтоб и его, чтоб и ему... Но они уже насытились, расступились и разом исчезли, как не было. Но было: Гришка стоял перед ним, ссутулившись, прислонившись к забору, и по лицу его удивительно параллельно пролегли две явственные темные линии, казалось, они тут были всегда. «Что, здорово видно? — спросил Гришка влажным от слез шепотом. — Как бы мне теперь... от отца... Тут ведь, знаешь, достаточно мелочи. Два инфаркта, двести на сто...» — он всхлипнул, тема ему позволяла.

И вот тогда, как мог, подготовив родителей, введя в их игрушечнотесную комнатку криво улыбающегося сына, с синеватыми полосами на лице (на свету они оказались бледнее, не так уж, пожалуй, были страшны), слушая их приглушенные вопли, наблюдая их неуклюжие хлопоты (тазик с водой, мешочек с лекарствами, банка с какой-то мазью...), тогда-то он ощутил впервые полную свою от них отчужденность. Господи, и от них тоже! И не в том было дело — он это чувствовал, — что Гришке досталось, а он избежал, нет, не досада и не враждебность, просто им было не до него, они расслабились и раскрылись, он будто подсматривал и поражался: все иначе, не так, как при нем. И не только их мягкое еврейское карканье, которого прежде он тут не слышал и которое, к величайшему его удивлению, легко и свободно понимал Гришка и, хоть и оглядывался смущенно, хоть и отвечал им только по-русски, ясное дело, мог бы и так же. Не только это одно он увидел, но взгляды, движения и походки — все в этом доме было иным. Старик бормотал, бормотал непрерывно, ласково, ровно, миротворительно, и Славка, не понимая ни слова, понимал в то же время, не сомневался, что он, успокаивая Гришку, не говорит ему «все равны» или «нет ни евреев, ни русских», а находит совсем иные слова, может быть, менее справедливые, но зато живые, определенные, обозначающие нечто реальное, нечто такое, что не исчезнет, не испортится от дневного света и уличного холодного воздуха.

## 12

— Ну, что молчишь? Брезгуешь? Как кровь нашу... Так... а так...

Над ними, в притиснутой к ним толпе возникла внимательная тишина, не сплошная — урывками, до остановки, торопливое любопытство проезжих людей.

— Ты чего, ирод, к парню пристал? Надрался с утра, так сиди, помалкивай!

Он не поднял глаз. Голос старушечий. Бабушка. Тут бы и успокоиться, тут бы и почувствовать ему равновесие, но он еще прежде принял решение, вспомнил, как надо, ему рассказывали. Он с трудом приподнял вялое тело, отклонился, как мог, от мерзких коленей и с ходу, не дав себе больше подумать, полупрямой рукой, без размаха, чувствуя свою от нее отдельность, пальцами, не сжимающимися в кулаки, как во сне, ткнулся во что-то мокрое...

Вышло ужасно. Их разнимали. Чьи-то сильные чужие руки, действуя телом его, как тараном, его плечом расслоили толпу и вытолкну-



нули его из троллейбуса, там, на воле, еще подержав, пока он не выскочит стоять без опоры.

Следующий троллейбус он пропустил — чтоб не ехать с этими, с остановки, свидетелями его позора, а в третьем, в который он нехотя влез, и потом, от Дзержинки на девятнадцатом, он уже был другим человеком, на лица поглядывал с недоверием, с опаской, мельком, исподтишка — все они были на подозрении. Он уже не мог ни о чем другом... И вот, обсасывая эту боль, обкатывая бережно и всесторонне, языком пробуя каждую грань, он вдруг, уже входя в проходную, почувствовал резкую острую горечь — такую, что ничем не заешь. Он понял внезапно, что все это время, с самого начала, с первого мгновения...

«Пропуск!» Он стоял у вертушки, сзади напирали, девчонка ждала. В правом кармане пропуска не было, в левый никогда не клал. Ну что ж, мало ли... В левом не было. Сзади напирали и нервно держались. Он спиной, потом боком, потом уже грудью, мимо выставленных рук и осуждающих взглядов, протиснулся и снова оказался на улице. Да что ж они все, сговорились, что ли? Он повернулся спиной к проходящим, он прекрасно знал эти легкие взгляды, эту снисходительность несочувствия, бесконечную дистанцию превосходства между имеющим и потерявшим. Все содержимое всех карманов: записные книжки, бумажки с адресами, записи каких-то головоломов, проездной билет, билеты в кино, схема приемника на УКВ, Ленкин комсомольский в отдельном кармане и свой, не выложенный вчера (неужели оно было, это вчера?.. — тупой, как сквозь одеяло, толчок), все ненужное или нужное прежде было найдено уже по нескольку раз, и если он все еще на что-то надеялся, продолжая поспешно, в какой-то конвульсии, тыкаться в тупики карманов, — то не на то, что он мог пропустить и вот теперь, наконец, обнаружит, а на то, что эта красная книжечка, никому ведь, кроме него, не нужная, сжалится над ним, сама осознает и появится там, где ее прежде не было...

Начальник охраны с хорошей фамилией: Собакин — сначала надо к нему. Славка будет стоять, он будет сидеть, задавать идиотские свои вопросы. «А может, ты передал врагу, и враг проникнет на территорию (он произносит «может» и «врах»). А у нас, ты знаешь, какой объект, инструктаж проходил или, может, не помнишь, может, в первый отдел тебя отослал, там, знаешь, не то что со мной, там могут уже и под суд. Потерял? Что ж, хорошо, потерял. А если враг этот пропуск найдет, а может, даже уже и нашел, вот мы сидим здесь, мирно беседуем (ты-то сидишь, подумает Славка), а враг уже бродит по территории, узнаёт государственные секреты и, может, уже кое-что и выведал?» Господи, да какие секреты, нет у нас здесь никаких секретов! Если где-то и есть, то уж здесь-то точно... Схемы пятнадцатилетней давности, да еще целносодранные с американских. Двухтомник «Основы телемеханики» Массачусетской школы радара, перевод сорок четвертого года — и то получаем в первом отделе, добро еще с одинарным грифом. Но этого Славка ему не скажет, а будет тоскливо ждать конца. Двадцать минут, меньше не выйдет. Наконец, Собакину надоест, он снимет трубку, станет звонить — начальству, но только не Вере Андреевне, а в отдел, Перельгину, того не найдут, тогда он согласится на заместителя. Тут, знаете, один ваш герой... Потом заместитель свяжется с Верой...

Он шел назад по своей тропинке, перебирал пустыми ногами и ясно чувствовал это «назад» — в вялости неубежденного тела, в сопротивлении плотного воздуха, в тревожном отсутствии видимой цели. Его еще мягко тянуло обратно, к тому, что могло называться «впе-

ред», если б теперь оно не было сзади. Но там — тупик, глухая вертушка, кусок изогнутой стальной трубы, грубо покрашенной серой краской. Можно подлезть или перелезть, но ведь вот он не станет этого делать, а почему — и не скажешь сразу. Картонка, бумажка, подумал он... И не мог уклониться от этого русла, и уже покорно плыл по течению, по фарватеру с надписью «сила бумажки», и весь этот серый бесформенный фарш, прокрученный в тысячах мясорубок, пропускать через пустое свое сознание... От тропинки ответвлялась еще тропинка, он пошел между яблонь, пришел к сараю, сел на поленницу, под самой крышей, с легким неосознанным сожалением обломив головой стекляшки сосулек. Капля закралась за воротник, проползла по спине ледяной букашкой. Он поежился и отодвинулся — и вдруг понял, что надо делать. Первую сосульку он отломил у верхушки, осмотрел этот гладко-корявый камушек, сунул в рот, пососал, разгрыз. Ничего, оказалось вполне съедобно. Вторую он отхватил смелее, вместе с куском примерзшего толя, грыз, перекладывая из руки в руку, стараясь глотать куски покрупнее, мотал головой, обжигая горло. Напротив в домике отворилась дверь, он успел выбросить свою игрушку, сунуть мокрые руки в карманы. Вышел мужчина в пальто с каракулем, в каракулевой шапке прямым пирожком, в золотых очках, с папкой под мышкой. Глянул, прошел, ничего не сказал. Он не годился этому домику. Может быть, и не здешний житель, какой-нибудь заночевавший гость.

Славка еще постоял, потоптался, еще отломил, еще пожевал. Однажды, помнится, в первом классе, они прогуливали с ребятами, шлялись по льду замерзшей речушки, непрерывно, до одури ели снег, так, что уже саднило небо (до сих пор после этого он не пробовал, только помнил пресный ненасыщающий вкус), и на гладко заснеженных берегах писали слова, кто больше знает. Славка знал на удивление много, и когда он с торжеством выводил последнее, раздвигая пальцем корочку наста, сверху, с берега, его окликнули. По фамилии. Это значило — кто-то из школы. Тот ужас он долго не мог забыть. Оказалось — завуч, Мария Васильевна, хуже, как говорится, не надо. Ничего, прошло, обошлось и это, вот ведь жив, здоров... Да, здоров. Он еще отломил, засунул за шиворот, потом подвигал, подвигал лопатками, разместил на спине этот гладкий холод, почувствовал, как намокает майка, и решил, что это уж было лишнее. Оставалось ждать, пока растает, не раздеваться же здесь, на улице. Мокрое долго не прогревалось, он ежился, но и был доволен: теперь-то уж точно, теперь уж наверное...

В троллейбусе он стоял, не садился, хотя все места оставались свободными, изгибался толчками и перекручивался, то отслаивая от себя одежду, то плашмя, всем телом к ней прижимаясь. Ему показалось, уже знобит, но, конечно, этого быть не могло, это он просто дрожал от холода. Домой ему пока не хотелось, да и знал он спасительное это тепло: придет, переоденется в сухое и чистое, закутается в мягкое одеяло, напьется горячего крепкого чаю, возьмет книжечку поуютней — и все, попался, пиши пропало. Он вышел на какой-то промежуточной остановке, за Рогожской, но еще вдалеке от центра, пошел по узкому тротуару, мимо тесных обшарпанных зданий, с узкими витринами магазинчиков. В молочных бутылках белела соль, насыпанная впопыхах, с перекосом, откровенно обнажавшим ее зернистость. На пустые бутылки из-под шампанского были надеты фольговые шапочки, плохо обжатые — вот-вот слетят. Бутылки же с минеральной водой сохранялись в подлинном своем виде, неоткупоренные и целые, так же щедро наполненные ничем, как год или пять назад. И снова бутылки, но только маленькие, не бутылки — бутылочки: пузырьки. Духи — это то, что дарят маме. Отец это делал с большой

помпой: «А что я тебе... А что у меня...» Кривлялся и разводил руками, потом, отвернувшись, вскрывал портфель, доставал сверток, еще не видимый, еще не должный быть обнаруженным, прятал за спину и уже оттуда, плавным и музыкальным движением, виолончельно-округлым вначале, а в конце обрывающимся резко и кратко, вперед, в преданную тишину, в провал перед бурей рукоплесканий... И мама участвовала, сколько могла, дилетантски подыгрывала, старалась: «Ты, наверно, истратил кучу денег. Больше сотни, скажи честно?» Она как бы вовсе не знала цен, и на этой самой коробочке, снизу, на белой, некрашенной ее изнанке, как бы тоже не было ничего написано. Отец снисходительно усмехался: «Да нет, что ты, меньше, меньше». — «Не может быть! Такие духи! И как достал, их же нет нигде. Еще наверняка и переплатил». — «Да нет, да что ты... Да хватит тебе». Отцу начало уже приедаться, кем-кем, а жмотом он все же не был и не цене придавал значение. «Дай честное слово, что не переплачивал». — «Да что ты выдумала! Ну, честное слово». — «Честное партийное?» — «Честное партийное!» («Честное ленинское, честное сталинское, честное всех вождей!»), — мысленно договаривал за него Славка.) Да! Вот! Вот отчето: она всегда чересчур старалась, вот отчего он ее не любил. Ее не любил, потому что старалась, его не любил, потому что отлынивал... Ну, это разные отношения. В Славку он вглядывался, как в зеркало, ожидая увидеть только свое, а видел мамино и чужое, вообще не понятно откуда взявшееся. И тут его вдруг опять шибануло, как еще недавно там, в проходной, и он завертелся в темном пространстве, пытаясь определить на ощупь, откуда эта странная боль: работа, пропуск? — нет, не это, с этим было уже покончено, саднило, но привычно уже и терпимо, а то было где-то вблизи *отца*, расходилось кругами от этого слова, и так, отходя, рассекая круги, тяжело вздымаясь на каждой волне, он плыл, и доплыл наконец, и уткнулся — и это было внутри него. Да всегда, всегда — не только в детстве, что очевидно, но и теперь, сегодня утром, с этим пьяным дегенератом, уже принимая, уже реагируя, — он все еще полностью не принимал, все еще оставлял себе маленький хвостик, короткий, но важный такой отросточек, и там тихонько, свернувшись клубочком, — мыслишка, надеждица, ошущеньице? — что он ведь не тот, он ведь не полностью, и даже скорее наоборот, и сейчас это выяснится, и в паспорте...

«Господи, — подумал он, — ну зачем! Быть бы ему уже тем или этим. Или жить бы, допустим, в такой стране, где жили бы только одни полукровки. А дети их были бы *квартироны* — красиво звучит, как барон или граф. Или нет, как же? Так не выходит, дети бы тоже наполовину... А родители? Мама? — Ее не пустят. Скажут: «Русская? Целиком? Нельзя! Еврейка? Тогда тем более!...»

## 13

С козырька над витриной размеренно капало, он уже чувствовал тяжесть лужицы, постепенно скопившейся в центре шапки. Руки примерзли к трубе ограждения. Он оторвался, стряхнул воду, двинулся дальше по тротуару. Как ни тепло, а все еще холодно. Может быть, все-таки это озноб? Серые всхолмия обледенелого снега, гладкие, отдельные от асфальта, напоминали рисунки в учебном атласе: внешний вид и условные знаки высот. Он почувствовал запах тушеной капусты, увидел четыре грязных ступеньки, спустился с радостью и вошел. Душная, тесная забегаловка, хорошо, сейчас уж точно согреемся. В большой кастрюле бурлили сосиски; несколько штук, самых удачливых, высовывали на воздух красные рыльца, погребя под собой утонувших прочих. За прилавком не было никого, где-то в боковом подсоб-

ном отсеке буфетчица ругалась с посудомойкой. «Я за шестьсот рублей корячиться!» — «Вали, никто тебя тут не держит!» — «Другие делются, на паях...» — «А вот — не хочешь? Ишь выискалась считать мои деньги! Да можешь хоть завтра. Я таких — знаешь, сколько...» Очередь терпеливо ждала. Счастливы, успевшие отовариться, сидели за столиками, поспешно жевали, стараясь в упор не видеть друг друга. Молодой лейтенант положил фуражку себе на колени, распахнул шинель, черпал сметану корявой ложечкой, закусывал сладкой булочкой с маком. Старая бабка, баба-яга — два мешка, связанных вместе узлом, бугристых, пятнеющих свежими латками, заснули у ног, как две собаки, — жевала сосиску углом рта, держа ее обеими руками. Трое мужиков разливали водку — один разливал, остальные ждали, не отрывая глаз от стаканов. Стаканы были меньше обычных — вышло почти по полному. Неужели выпьют все сразу? Подержали на локте, легонько чокнулись, согласно кивнули друг другу. Все трое выпили до конца, только выпятили по-рыбьи влажные рты. Славка почувствовал тошноту, отвернулся. Вот он кому завидовал!

Наконец буфетчица вышла — стремительно, как вырвалась, раскрасневшаяся, вылила в титан ведро кофе, как ведро помоев, мутным обильным потоком. Лицо красивое, темное, тонкое — и толстая, бесформенная фигура, никак невозможно соединить.

«Вам? Еще? Еще? Все? — Вам? Еще?..»

Он не взял кофе, хотя кофе-то больше всего и хотелось. Не из брезгливости — наоборот, боялся, что рано, что все испортит, воспрянет, прогреется, заблагодарствует. А ему и так уже было неплохо, он не чувствовал холода влажной майки, только в горле некоторое неудобство, но это как раз и было, что требовалось. Он отошел со своей тарелкой, инстинктивно ткнулся, где меньше народу — в углу пустовали сразу три места. Он поплавал, попарил над серым мрамором, выскивая местечко почище, среди влажных, незамкнутых кругов от стаканов, хлебных крошек и рыжих ошметков капусты. Сразу протянулась тонкая ниточка от невидимой бастующей посудомойки к этому небранному столу и дальше, к нему — он принял участие. Капуста, та самая, что пахла на улице, здесь оказалась уж совсем несъедобной, рыжая тошнотворная жижа. Но обе сосиски он съел с удовольствием, торопясь, глотая, опустошая, он и не знал, что так хочет есть, — и тогда лишь заметил соседа напротив. Соседу было на вид лет тридцать. Лысая выпуклая голова, пожалуй, чересчур раздутая по сравнению с нижней частью лица, лицо небритое, вялый рот. На столе перед ним, на месте тарелки, лежала невысокая стопка бумаги. Листы были исписаны карандашом, крупным почерком с правильным четким наклоном. Строчки были короткие, в пол-листа, человек прочитывал по одному листику, поднося их близоруко к самому носу, и, читая, жевал черствоватый хлеб, ровно, без видимого аппетита, но и не замедляясь от куска к куску, не обещая насытиться в обозримом будущем. Каждый кусок совпадал с листком, он дочитывал и дожевывал одновременно, брал новый листок и новый кусок, но листков оставалось еще довольно, а хлеб в пластмассовой белой хлебнице мог вот-вот подойти к концу. Человек обнаружил, что он замечен, поднял голову, взглянул прямо и пристально, близоруко — и все-таки слишком метко, зрачок в зрачок. Славка задержался под этим взглядом, забегал, но глаз отвести не смог и что-то стал бормотать в оправдание: «Это у вас... можно?.. стихи?..» — и не успел ужаснуться и пожалеть, как человек уже протягивал ему листок и вслед за ним пододвигал всю стопку, причем ни слова не произнес, а все так же смотрел, неотрывно и прямо. Славкино внимание расплзлось, он должен был прочитать строфу целиком, прежде чем уяснил размер, прочитал, перечитал — и глазам не поверил: стихи были *настоящие*! «Это ваши? — спросил он со слабой надеждой. — Или нет? Ваши? А? Это

чи?» Но тот кивнул и ткнул себя в грудь — немой, еще ко всему и немой! Немой, но слышит, как в «Двух капитанах»...

Славка и сам когда-то пописывал и даже подумывал, а не стать ли ему... Как будто это от него зависело: стать — не стать. Уж больно девочки покупались (знакомые — он только знакомым читал, но, конечно, лелеял дальние цели). А особенно нравился один стишок, начинавшийся длинной шикарной строчкой, смысл которой и тогда ему был неясен, теперь же абсолютно и явно отсутствовал: «Мчится время по жизненным ярким просторам». Инна просто его обожала, слушала по три раза подряд... Но был в его жизни такой период, когда и читал он только стихи. Все, что написано было столбиком, с ходу притягивало его внимание, и даже, к примеру, оглавление в книге вызывало вначале легкий толчок, в самом рисунке неравных строчек заключалось уже некое очарование, которое рассеивалось не сразу. И хотя он вовремя понял свою беспомощность, свою непригодность к этому делу, увидел непреодолимое расстояние между желанием и осуществлением, но и теперь еще иногда, раскрыв сборник или журнал, он испытывал — ничего с собой не мог поделать — досаду и острое сожаление, и даже нечто вроде надежды, неоправданность которой — осознавал...

Но сейчас он читал не журнал и не сборник, сероватый лист, карандашные строчки, длинные, как скобки, крюки запятых, два различных «т», то одно, то другое, то палка с притянутой перекладной, то тройное, сводчатое, с хвостом. Рукотворность, самодеятельность была налицо — но тем удивительней и непонятней казалось то, что витало в воздухе, отделяясь от этих строчек. Он оторвался, взглянул вокруг: старушка еще терзала сосиску, офицер утирался обрезком салфетки, те трое оживленно махали руками, stalkиваясь где-то над центром стола. Перед ним стояла его тарелка, с кривой алюминиевой вилкой, с пачкающим пятном загустевшей горчицы, с расплывшейся лужицей рыжей капусты. И слова — единственные, незаменимые, бледно-серым по серо-желтому, так кустарно, так ненадежно... Он читал стихи один за другим, смутно еще на что-то надеясь; вот сейчас, начиная с того листа, проявится то, что давно ожидалось: пустые скорлупки, части без целого, плоский, прямой, одинокий смысл... Но это было уже невозможно, *здесь* такому не было места, да и что бы решило одно на пять... на семь... на десять... Он сбился со счета. Непонятные строчки встречались часто, и даже целые стихотворения, но внутренний строй, завершенность гармонии были для него очевидны, и в себе самом, а не в этих стихах, ощущал он причину каждой невстречи. Он устал. Опять его стало трясти, и опять он не знал, от того ли, от этого. Ему уже больно было глотать, лицо горело (но опять: от того ли?..). Там еще оставалось довольно страниц, но он уже просто больше не мог. И когда он бережно отодвинул стопку и взглянул, и задал первый вопрос, то уже не удивился, что ему ответили. Так уютно ему было в этом ознобе, в этой легкой вибрации челюстей, в нестрашном и плавном головокружении, в начинавшейся (вот оно!) ломоте — что всякое чудо казалось возможным: немой говорит — ну что тут такого! Немой поэт говорил негромко (естественно!) и не очень внятно, пришепetyвал и проглатывал слоги, прятал «р» за гладкое «л», так что оно лишь чуть-чуть, острием, вылезало. И по мере того, как он говорил, расстояние между ним и его стихами увеличивалось, увеличивалось с возрастающей скоростью, все дальше и дальше они разъезжались, *этот человек и те стихи*. И было тут некоторое утешение, нечто такое, что примиряло, потому что если бы вдруг оказалось, что и в жизни возможна такая точность, такая наполненность каждой секунды — то как бы тогда и жить после этого. Славка это чувствовал, когда читал, то есть и это он тоже чувствовал, неосознанно проявляя сквозь строчки стихов, как водяной прозрачный рисунок, лицо вообра-

жаемого поэта, забывая, что тот сидит перед ним. Но уже и к этому он привыкал, к тому, что автор и *этот* — разные, и уже перестали они разъезжаться, а двигались где-то по параллельным, и это стабильное расстояние становилось чем-то вполне естественным, как бы новой спокойной закономерностью. И тогда обозначалось также и сходство, первые точки, первые тропки: да, он, именно этот... Возникал как бы некий обратный эффект, стихи — невидимые, воображенные, расплывавшиеся в ослабленной Славкиной памяти, обретали человеческие качества автора, какую-то общую его нетвердость и даже, вот именно, косноязычие. Это было несправедливо, но он не противился и не пытался перечитать, хотя были они еще тут, перед ним. Да он, пожалуй, уже и не мог бы: его уже крутило вовсю, и глаза были цепко, упруго сдавлены, так, что он начинал косить — верный признак болезни или сильной усталости. И потом, дома уже, в постели, да и все последующие дни этой странной, им самим сотворенной болезни, он мучительно пытался припомнить подробности — и помнил только конец разговора, пять или десять последних минут. И вот еще какая странная штука: если весь разговор отложился в памяти в виде каких-то неясных линий, где дефекты речи служили орнаментом или даже точками изображения, как на картинах пуантелистов, а он как будто рассматривал в лупу и видел эти отдельные точки и уже никак не мог отодвинуться, чтоб осмыслить все изображение в целом, — то эти, последние уже минуты воспринимались им совершенно иначе, здесь он помнил все, каждое слово, но не слышал, вспоминая, ни единой корявости и не мог привязать, как ни пытался. Будто, как в сказке, три превращения претерпел этот человек на его глазах: немота — косноязычие — чистая речь.

Ему тогда захотелось кофе, он решил, что теперь-то уж все равно — и тут он увидел пустую хлебницу и впервые подумал, что несвободен, что просто обязан что-нибудь сделать. «А как же, — спросил он, — теперь... куда вы?» — «Да что ж, — ответил тот, — домой. Очки вот, жалко, разбил. Через улицу страшно. А так ничего. Вы плохо выглядите. Не больны? Вы мне нравитесь, я вам сразу поверил. У вас лицо... Да нет, не тревожьтесь, все уладится, все образуется, все займет подобающие места. Я, знаете, по утрам ухожу из дома, чтоб избежать приглашения к завтраку. Нет, тетка моя человек добрейший, но с какой стати... вдовья пенсия. Я вот свою хожу хлопочу. Я ведь... Вы, может быть, даже заметили?.. (Не надо, подумал Славка, не надо!) Не пугайтесь, это вам ничем не грозит. Это только так, диагноз, не больше. Я нормальнее, например, Достоевского, у меня припадков и то не бывает. Но пенсию — отчего же не взять? Очки бы купил, ну, и поест. Нет-нет! (Славка потянулся в карман.) Нет, благодарю вас, сейчас я сыт, мне совершенно ничего не надо». — «Простите, — сказал Славка, — будьте добры... Пожалуйста, разрешите мне... Можно я вам...» — «Нет, я ничего не возьму. Это будет плохо, вы меня понимаете?» Славка не понимал, но кивнул. И почувствовал облегчение: с этим покончено. Совесть свою он убажил... (Если б знать ему, на какое короткое время! Как он будет мучиться этой минутой, как не сможет потом прикасаться к деньгам, которых пожалел голодному гению! И хоть не вполне это будет истиной, но себе он скажет именно так: пожалел паршивых своих бумажек! И позже еще, уже через годы, задумываясь на секунду, давать — не давать, тратить — не тратить, в других ситуациях — ах, всегда в других, в такой никогда! — он будет грубо себя обрывать и за шиворот, мордой, сюда, в подвальчик, пред ясные близорукие очи... И любую сумму крупнее трешника — почему-то такая граница: трешник! — будет чувствовать неодолимой тяжестью, будто камнями набил карман...)

«...Быть может, — продолжал между тем собеседник, — когда-ни-

будь это и напечатают. — Он приподнял пачку своих стихов, постучал, выравнивая, ребром по столу. — А! Это все чепуха! Запрещают, умалчивают, не печатают — это ли события в нашей жизни. Как погода: холодно, жарко, дождь... Наблюдается кое-что пострашнее: просто — кончилась литература, и решительно некого обвинить, разве только естественные законы. Не думайте, что это очередной этап, мы не этап переживаем — конец. Поэзии не будет уже никогда, никакой, даже слабенького намека. Проза еще подпрыгает ножками, кто-то посмотрит, кто-то поверит, примет конвульсии за движение... Утонченность станет мерилом истины. Такая, знаете, литература, что прямо литературнее некуда. Адекватность, рассчитанность, экономность. Ни строчки, ни фразы порожняком — сплошная нагруженность и воплощенность. Это будет... Да нет, уже!...» Славка почти ничего не понял, ощутил лишь странность определений, целиком, на его взгляд, позитивных, — похвал, разжалованных в ругательства. «Все пустое пространство, дорогой Слава, все освободившиеся места будут заняты — уже заняты в полном соответствии с временем: вместо боли — зуд, вместо страсти — желание, вместо мук совести — муки обиды, вместо стремления к абсолюту — анализ собственной неполноценности...»

И тут он умолк, будто взял себя за руку, и после невыносимой паузы, которую Славка уже порывался, и не мог, и хотел, и страшился нарушить: «Простите, сегодня я многословен. Вам-то все это ни к чему. Мне просто понравилось ваше лицо».

И еще — явственно помнил Славка ту странно-торжественную последнюю фразу, никогда, ни от кого им прежде не слышанную, разве что читанную в романах: «Будьте счастливы, и храни вас Бог!»

Он пошел не домой, а сперва в поликлинику, к маме в киоск он тоже не стал, а прямо двинул в регистратуру. Участковой еще не было — вечерний прием, он прошел через холл к дежурной сестре, взял у нее влажный холодный градусник. Хоть немного должно было набежать, набегало обычно по любому поводу. «Какой реактивный!» — удивлялась участковая, та самая, которой сейчас еще не было. Семь минут продержал, преодолевая нетерпение, вынул, взглянул — тридцать семь и одна. Неплохо, еще бы хоть две десятых. Но нет, сколько потом ни держал, вынимал, смотрел, вставлял обратно, туго, с силой, до боли под мышкой — больше одной никак не тянуло. Показалось даже в какой-то момент, что ртуть намерена дернуть обратно — с досады, что ли, на его назойливость. Он поторопился отдать сестре, и пока она рассматривала на свету, все это долгое унижительное мгновение он ярко представлял себе столбик ртути и тащил, тащил его всеми силами, поддерживал, чтоб не утек назад, за красную мирную свою границу. Бумажку она ему все же выдала, он двинулся к кабинету дежурного, держа ее на весу, на виду, как бы молчаливо провозглашая бесспорное право свое на безочередь. Но сидели там одни старики, еще издали почувствовал он их законную ненависть. «Все торопятся, всем некогда, завод, военкомат, молодые, им жить, а нам не надо, а мы и подохнуть можем в очереди, кому от этого будет плохо, лишь бы они там были здоровы!..» Грузная пожилая еврейка, седые волосы, платок на затылке, рыхлое лицо, волоски, бородавки... Он опустил руку со своим листочком, спросил с достоинством, кто последний, и уселся ждать — не без задней мысли, температура ведь должна была еще подниматься, время работало на него. Прежде, в подвальчике и по дороге, он не сомневался, что заболел, что уже болен, что просто плох. Здесь же, сидя на мягкой лавке, перебирая свои ощущения, обходя их поочередно, зачисляя в признаки, он не находил их уже достаточными, да и в каждом в отдельности как-то не был уверен, и то и дело глотал слюну, проверяя наличие главного козыря — боли в горле: тут ли она, не исчезла ли, не слабее ли стала. И так иной раз удачно и гладко гло-

тал, что казалось — да, стала слабее, вот ведь ужас, вот не везет! Нотут же, поднакопив слюны, успокаивался: нет, даже усилилась...

Принимал Богданович, хороший врач, единственный, пожалуй, во всей поликлинике, резкий, грубый, заметно чокнутый, инвалид войны и искатель истины. Орал он на всех, в том числе на начальство, за что его, как говорила мама, давно уже собирались уволить, готовили собрание с осуждением. «Садись! — сказал он. — Так. Давай. — Не глядя, кинул бумажку в корзину. — Карточки нет? Потом принесешь. Работашь, учишься? Бюллетень захотел? — Он ткнул свои пальцы Славке под челюсть, посмотрел горло, пощупал пульс. — Так, повышена. Не надо, не надо, не снимай ничего, задери рубашку... Ну, парень, ну ты даешь! Ты что, купался? Не рано ли начал?» — «Вспотел...» — с трудом процедил Славка. «Брось, ты мне голову не морочь. Вспотел! Снегу, небось, накидал! Однако и быстро же ты сработал. Смотри, Валюш, какой реактивный, с утра кинул снегу за шиворот — и вот, на тебе, как по заказу! Или еще пожевал чуток? А ну, честно говори — пожевал?» Давно он не испытывал такого позора, с какого-то дальнего пункта в детстве, с какого-то поворота на взрослость, во взрослой жизни — никогда не испытывал. Тут — он понял уже с опозданием — надо было держаться легко и шуточно, почти на равных, мол, все чепуха, ну и кинул, поди докажи, ну или как-нибудь там еще — но только не так, как он себя вел, не стоять молча, тряся губами, не заправлять рубашку и майку из-под надетого пиджака, не краснеть до пота, до льющихся капель...

«На, — сказал Богданович, — больничный и чтоб ко мне — никогда, ни ногой. На фронте, знаешь, куда таких? Самострельщиков, членовредителей? Положи горло и много не ешь. Обожрешься — получишь еще пневмонию. И в сухое переоденься, болван!» — это он крикнул ему уже вслед, в открытую дверь, так что слышали в холле...

У киоска сейчас никого не было, мама его увидела издали, застыла среди коробочек своих и бутылочек, ужаснулась, вытянула шею в ожидании. «Что случилось? Ты заболел?» И пока он лениво ее успокаивал, всем телом уже поглощая болезнь, отчаянно, жадно, назло Богдановичу, правильно, что его выгоняют, так ему, черт, нахал, солдафон, но больничный дал, и на том спасибо, мог бы не дать, ну да как бы он мог, не на фронте, температура, значит, обязан, ничего он не обязан, да и дело не в этом, в конце-то концов, ну, что он сказал, все ведь верно, все так и есть, башка у него варит, переодеться... И пока он так стоял перед мамой, говорил одно, а думал другое, он успел еще подумать и третье, скользнуть глазами в угол прилавка, мельком в тысячный раз удивиться, как *они* так открыто лежат и неужели же кто-то вот так покупает (покупают, он видел, все равно — неужели?), а главное, мама, его мама, вот этими маминими руками — листает, отсчитывает, заворачивает, без смущенной улыбки, как аспирин... «Вот тебе аспирин, — сказала мама, — и стрептоцид, и вот риванол, и скорее ложись в постель. Суп сможешь себе подогреть?» И следом, сразу — еще одна мысль, тоже привычная, тоже детская: что вот где-то же это делают, на серьезном заводе, взрослые люди... Ну нет, шел он по заданной схеме, нет, как-то там все не так, там царят двусмысленность и игра, щипки, подначки и грубые шутки, как в деревне вечером, на пятачке, — такое странное производство... Но, с другой стороны, взрослые люди... Он долго — да, пожалуй, еще и сейчас — сохранял детское убеждение, бесконтрольное, противоречащее всякому знанию, что взрослые *этим* заниматься не могут, не станут, слишком строга их жизнь, слишком солидна и обязательна. Нет в ней места такой игре, такому легкомысленному бесстыдству — ну разве какие-то раз или два, затерянные в общем течении быта. Как выходит иногда человек на улицу, портфель, шляпа, очки, галоши, ну, в об-



щем, взрослый: на лице—мысли и озабоченность, а тут ребята играют в футбол, и мяч летит ему прямо в ноги, и он, конечно, должен ударить, но не может это сделать с прежним лицом, и тогда он с некоторой задержкой что-то там разглаживает, как бы снимает, заменяет лицо другим, легкомысленным, бьет — и затем надевает прежнее и уходит, чувствуя облегчение: детское взрослым не по годам. Но *это* ведь и не детское. Чье же?

Как-то однажды вот здесь, у забора, между их домом и поликлиникой (он как раз сейчас проходил это место), увидел он странную группу. Он учился тогда во вторую смену, часов в шесть возвращался домой, было уже совершенно темно, только свет из окон, свет из окон... Но из поликлиники — заслонял забор, а в доме горело два-три окна, скудным, экономным, коммунальным светом. И потому он увидел, почти наткнувшись, даже чуть обошел и потом обернулся: в стороне от тропинки, прямо в снегу, стояла женщина в черной шубе, распахнутой в стороны, вширь, как крылья летучей мыши, чуть светлели пальцы ее по краям, на самой границе с пустым пространством — и лицом к ней, вплотную, мужчина... Ни лица, ни рук его Славка не видел, да и фигуру его не очень, а видел голову наверху, чуть возвышавшуюся над женской, и черное пальто на снегу у ног... Он, конечно, не мог так сразу поверить, он сперва подумал: мало ли что... Но тут же понял, что именно *это*, просто некуда было ему деваться, не выстраивалось ничего похожего. Но главное, что его убедило и, пожалуй, больше всего потрясло — это то, что их было не двое, а трое: второй мужчина стоял у забора. Ждет! — сразу почувствовал Славка и увидел, здесь уже было светлее, что смотрит-то он на этих двоих, даже на Славку не обернулся, без улыбки смотрит, вполне *серьезно*, как-то, Славка бы сказал, озабоченно, будто там перевязывают, или лечат, или, в крайности, примеряют костюм... И уже на миг показалось Славке, что теперь он видит и лицо женщины: в профиль, отвернутое в сторону, как у орла на чьем-то гербе, тут же и крылья — чем не орел; и что видит он на этом лице ту же серьезность и озабоченность — но уж это точно ему показалось, вряд ли он мог разглядеть в полутьме. Да и не стоял он и не разглядывал, а застыл на миг и пошел дальше, даже еще торопясь уйти — а как бы хотелось ему остаться, встать где-нибудь вблизи за забором и спокойно в щелку, во всех подробностях...

Еще долго потом он не мог опомниться и все свои представления о жизни перетряхивал, перекраивал заново. И когда, наконец, расставил фигуры, то вышло как будто две категории, две различные группы людей, и одни никак не могли без *этого*, им было просто необходимо, и не в том дело, что удовольствие, а просто надо, и никаких; а другие вполне могли обходиться и даже были решительно против, и даже с презрением и осуждением... Но тут набегало столько вопросов, что он терялся и отступал, то есть старался переключиться, что удавалось ему далеко не всегда.

Например, он сам — к какой категории?

## 14

Ночью, очнувшись в поту и дрожи, он удивился, как мало думал о Наде, за целый день почти и не вспомнил. Он стал навестывать, вспоминать, но как-то на этот раз не пошло, было жарко, болели голова и горло, веки вроде бы и слипались, но тут же, лишь только он их закрывал, возникало странное тревожное чувство, и он напряженно впивался во тьму, утомляя глаза до рези и слез. Вчерашний день уплывал из рук, и уже ему не очень-то верилось, что *было*, а если бы-

ло — то *так*, а главное, не верилось, что есть, что осталось... Тоска сгущалась под потолком, вползала в окно с завываньями ветра, одушевленными и чужими. «Якутские песни», — подумал он вдруг — и подумал, что эти слова не его, и вспомнил чьи, и вспомнил дальше, не все стихотворение, две только строчки, но и это было уже немало:

Нерастраченный вечер маячит за стеклами окон,  
замечает следы и якутские песни поет...

Он еще покружился вокруг да около, пытаясь припомнить начало строфы, но быстро оставил это занятие, не найдя ни каких-то достойных рифм (кокон, локон, полет, поймет), ни тем более всего остального, двух таких протяженных, объемных строчек, ощутимо заполняющих пустоту. Трудно, голова болит... И уснул.

Но часа через два он выплыл опять, держа в зубах уже новые строчки — без рифм, разностопные, сухие и ломкие, очень странного содержания. Сперва там что-то неясно гудело, как-то все «не могу, не могу, не могу», а потом:

...Но вот что могу я сделать.  
Я могу постоять на углу между прачечной и магазином.  
Пусть подходят ко мне все хромые, слепые, горбатые,  
все уроды, себя сознающие вечно в обиде.  
Пусть подходят ко мне и как честь, отдают мне  
частицу своих привилегий...

Он спешил, спешил — но успел поразиться, какие длинные строчки запомнил...

...частицу своих привилегий.

И во всю эту боль я оденусь, как в новую кожу.  
И...

Все. Дальше — опять провал. Он и здесь не мог ручаться за точность, хотя — не сам же он это придумал, да и ритмически все получалось. И что интересно: что на этот раз его не волновало ни «до», ни «после», ему было достаточно этих строк, и мучился он не тем, что забыл, а скорее именно тем, что запомнил. Что такое, зачем? «Все хромые, слепые, горбатые...» Он тонул в холодной простудной испарине, и виски его вдавливались внутрь черепа. «Что такое, зачем?!...» И уснул он только под утро.

(Окончание следует)



---

---

Владимир Рецептер  
ОБРАЩЕНИЕ К КАЗАНОВЕ

Роман

Часть вторая

59

Все-то вам объясни!..

Рад бы, но ведь потребуется только одно толкование, вы захотите узнать, как все случилось на *самом деле*. А кроме нас двоих, меня и Гюзели Халилеевой, есть еще десяток московских и прочих свидетелей, от которых пошли слухи и сведения, всполошившие наш городок.

Мы-то знаем, что в пять утра, обманув неизвестных преследователей, Осип Узлов, живой и невредимый, явился к нам, поднявшись по водосточной трубе до седьмого этажа и напугав нас если и не до смерти, то до полусмерти. Мы-то говорили с ним, трогали его, обнимали и целовали, счастливые...

А те утверждают, что обряжали в Москве его тяжелое мертвое тело, готовили в путь, заказывали тряский грузовик, сосновый гроб...

Везли, не спали ночь, умаялись...

Впрочем, что мне до них, вы-то меня слушаете. Слушайте...

— Ну, какой ты у нас молодец! — сказал мне Осип. — Держись Сержанта, радость моя, держись за него, Гюзель. Ему было неловко двигаться по комнатухе не потому только, что места не было, а потому еще, что она приникла к нему обморочно и слова не могла сказать.

Между тем времени у него было в обрез.

В водосточной трубе, за окном, он сохранил важные документы: зеленую тетрадь со вкладками, обернутую тройным полиэтиленом и куском настольной кухонной клеенки, ту самую, о которой спрашивал меня таинственный Василий Васильевич, ту самую, что не нашарили обыском ни у меня, ни у него. И вместе с этой тетрадью он должен был немедленно уходить из города. Как?

— Не ваше дело, — оборвал наши вопросы Осип. — Много будете знать...

— Я с тобой, — сказала Гюзель.

— Нельзя, моя радость, — отвечал Узлов, — вдвоем накроют за просто, и жить тебя не оставят...

Не спрашивайте меня, что это значит, кто именно грозил его жизни и жизни ее, что за тексты были в зеленой тетрадке и почему времени было в обрез! Многого я до сих пор не знаю и в тайну зловещей интриги до конца не проник. А теперь это стало, может быть, даже исторически невосстановимо.

Впрочем, если доберетесь до меня, я продиктую вам то, что сумел сохранить в усталой голове, дам адреса, и пусть знатоки ведут свое следствие, если не лень. Все равно ведь порок не будет наказан, добродетель не восторжествует, молодость не вернется и мертвые не оживут...

— Отведи ее к папе с мамой, Сержант, — сказал Осип, — и пусть они с нее глаз не сводят.

А ей сказал:

— Поживи дома, малыш, так надо, нет пока другого выхода... Если что, держись Сержанта, я на него ставлю...

«А ей сказал, стыдясь измены, Вернись, Мария, в дом отца, Оставь, Мария, мои стены, И проводил меня с крыльца...» — помните?

— Дашь о себе знать? — спросил я Осипа.

— А как же!.. Ты же слышал меня?..

— Кажется, слышал....

— Верь себе, верь, — сказал Узлов. — Ты еще не такое можешь... Ну, все. Тоша меня заждался. Присядем на дорожку...

Мы присели, он с Гюзелью рядышком, на тахте, я на креслице...

— Я тебя знаю, тихарь, — говорил мне Узлов в ту ночь, дразня через дверь, — выходи, богомолец, не прячься, время пира! Будь хозяином в собственном доме! Я дарю миру лучшую из его женщин, праздновать будем втроем!..

В ту ночь я не мог спать и будто ждал этого вызова.

Чем она отговорила дома, как отпросилась из мусульманской семьи? Или ушла без спросу, вконец отбившись от рук?

Узлов продолжал звать:

— Сержант, ты — хозяин, свидетель и друг. «Руку, товарищ!» — как говаривал Гена Несчастливцев... Познакомься еще раз, Гюзель. Вот — наш лучший, единственный друг, вот Сергей Алексеич, в просторечье — Сережа, в обиходе — Сержант...

Она протянула мне руку без тени стыда, не зная, чего мне стоит моя улыбка и роль, на которую меня от имени судьбы назначил Узлов, не зная, какой я примерный отец, семьянин и прихожанин, какой надежный член коллектива и лектор общества «Знание», автор двух утвержденных мне тем «О системе Станиславского» и «Искусство современной игры»...

## 60

Тогда еще не были в моде эти дурацкие игры — «Мисс Урюпинск» или «Мисс Красноводск», но она стала гордостью города, это правда. Мать ее — настоящая русская красавица, а отец — из гордых казанских князей, и во всех семьях у нас знали, что в седьмую среднюю школу ходит на уроки необыкновенная девочка, и никто не спрашивал, в чем ее необыкновенность. Она, со своей стороны, понимала, что вызывает всеобщее восхищение, и нежность, и зависть, и ревность, и вождение, что всегда на виду и должна себя беречь для какого-то неясного, но необычного будущего.

Гюзель подросла и окончила школу, но еще в десятом классе к ней сватал влюбленного сынка первый секретарь обкома, гнусный пахан, кривоногий и низкорослый, уголовная рожа, взяточник и идейный разрушитель вековой старины, пьянь номенклатурная, прости меня, Господи, остановиться не могу!.. Все мы замерли тогда, а потом счастливо вздохнули, когда Господом было твердо откано. «Ай да князь!» — хвалили украдкой ее отца и ждали неизбежной мести.

Дважды Гюзель проваливалась на вступительных экзаменах, сначала в Москве, а потом и в нашем пединституте.

Из столицы приезжал кинорежиссер Парамамонтов и звал Гюзель с собой для всемирной неслыханной славы, но и ему отказали в семье Халилеевых, и Парамамонтов уехал ни с чем.

Тут она и начала работать секретаршей начальника стройуправления, в предбаннике у его важных дерматинowych дверей, освоив стенографию, электрическую пишмашинку и подручный телефонный узел.

Что ее сближало с Узловым? То, что она тоже нарушала тайный закон общего страха и подчинения? Да, конечно. Или еще то, что са-

мым естественным образом взорвала внешний стереотип, опровергла городской стандарт красоты, не вписалась в табун томных блондинок, чья сдобная плоть и податливая вальяжность считались в высшей цене до ее появления на областной свет? И это подошло бы. Но главное — судьба, судьба...

Как передать ее красоту? Скажу честно, мне не по силам.

Все, что смогу сказать, — не о высокой шее, не о тонких ключицах подростка, не о длинных поющих руках, — о ней единой, всецелой, Божьем созданье, удавшемся при участии растроганной природы. Все, что выведу прощальной рукой — провожанье глазами, непримененные усилья, ворожба дурака, собравшего всю колоду, с шестерками по плечам. Речь о ней — кратковременная прогулка запертого в тюрьме, жалкий выход из одиночки. Смысл моей отчаянной попытки только в том, что, выбирая слова, я обрекаю себя на внешний порядок и невнятную новую связанность с ней. И с ним. И с вами, кто мог бы прочесть, но на вас нет надежды. Только последняя степень детского «скучаю» толкает меня к перу, и я делаю вид, что это кому-нибудь нужно, кроме меня самого. А правда бесцельного поступка в том, чтобы добить оставшееся время и не задохнуться от тоски...

Почему же я твердо знал, что один ее поцелуй — вечная радость, если не целовал ее? Почему я чувствовал лепестковый вкус маленького рта? Почему очертания губ, узорное ухо, узкие лодыжки — только назови — приведут в движение весь ее чувственный образ, накрепко связанный со всей географией неба? «Здравствуй, Гюзель. Может быть, ты — из созвездья Стрельца?»

— Гюзель Халилеева из созвездия Рака, — снова услышав мои мысли, сказал тогда Узлов. — Гюзель Халилеева, Советский Союз...

А теперь он сказал:

— Ну, малыш, тебе вставать первой.

Если присели на прощанье, первым вставать тому, кто моложе всех. Она встала первой, моя татарская муза. Потом встали и мы.

Узлов вспрыгнул на окно, легко дотянулся до водосточной трубы и, упираясь в простенок, стал спускаться вниз.

Было еще темно, но когда, выключив свет и провожая взглядом любимую тень, мы перегнулись через подоконник, то увидели, как на дне колодца горят янтарные глаза верного пса.

## 61

Первые месяцы после этой ночи прошли для меня невнятно, и я не помню о них почти ничего, кроме собственной заторможенности. Узлов появился и исчез. Гюзель вернулась домой, а я утонул в какой-то глухой вате.

Не знаю, что это было и как об этом сказать. Время мое исчезло, что ли, выпало из общих картин. Я отсутствовал всюду, хотя по советским обычаям значился везде и соответствовал прописке. Я ходил в театр, переодевался, играл, снова переодевался, возвращался в пустой дом; мне могли позвонить из «Знания» и послать на лекцию к черту на кулички; по поводу эпидемии гриппа ко мне мог заглянуть участковый врач.

Через мои руки текли мелкие деньги, пустые газеты, бьющиеся тарелки. Меня видели, слышали, на меня по-прежнему полагались и брали меня в расчет, но я-то, я был неизвестно где, и мой лунатизм грозил обернуться внешней катастрофой...

Очнуться меня заставила внезапно обнаружившаяся грубая слежка на улице и изменение общего тона за кулисами.

На всех дорогах меня «повели» одинаковые молодые люди, шитые

из импортной плащевой ткани, и раз за разом я стал буквально натываться на их намеренно бритые улыбки.

А в театре после деликатной паузы все стали считать своим долгом вываливать на меня дополнительные подробности и новые версии гибели Узлова и даже его похорон в Вышнем Волочке.

Мать, мол, приехала из Вышнего Волочка и не дала Ольге везти Осипа к нам, а прямо из Москвы на тряском грузовике повезла на родину. Про Ольгу рассказывали, будто она вообще не хоронила в отместку за все его измены и обиды. А про дочь Катю и того более нелепое, вроде она в истерике кидалась на мать с кулаками и кричала: «Зачем не ты умерла, а папа»...

Подошел ко мне Дулегов и как бы вскользь, но не без намека сообщил, что вот, наконец, Турин решился на классику, и если бы у него был Узлов, то ничего лучше «Живого трупа» и искать не надо бы...

«Знают они, что ли, что Осип жив?» — подумал я, и тут на меня стали обрушиваться свои обстоятельства. Явилась неожиданно моя супруга, ставшая резко похожей на собственную мать, то есть тещу мою неизбежную, и потребовала скорейшего развода и размена жилья, по которому я тут же начал гореть в коммунальном аду. Сынок, сбитый ею с пути и с панталыку, стал меня избегать, а при встрече молчал, как партизан, и отворачивался. И не было рядом Узлова, который своим присутствием облегчил бы мне путь в тумане. Или, как бывало, настроил бы меня легкомысленно, напевая «Черную шаль». Давно он мне намекал на «неверную деву», которую «ласкал армянин», да я в те поры не понимал намека.

Тут позвал меня к себе в кабинет художественный руководитель и предложил ввиться на роли, которые играл Осип. Я сказал: «Нет». Он сказал: «Это производственная необходимость». Я сказал: «Может, так, а может, и иначе». Он сказал: «Именно так». Я сказал: «Ну, это без меня», — и вышел из кабинета.

Окончательно привела меня в себя Лена Глухова. Она заявила без предупреждения в наш вечный выходной — понедельник и на вопрос: «Кто там?» — ответила: «Водопроводчик». Войдя, она огляделась, сбросила мне на руки белый пиджак, закатала рукава блузки и, надев кухонный передник, стала мыть посуду и наводить порядок на кухне.

Я смотрел на нее, ожидая, чем это кончится. В комнатах она убираться не стала, но из сумки, из ее белой сумки появилась бутылка настоящего виски «Белая лошадь» — «От поклонника», — и, присоединив к ней на чистом столе два фужера, она небрежно бросила мне:

— Давай.

Мне ничего не оставалось, как только разлить. Спорить с Леной Глуховой было бесполезно, можно было только споловинить дозу, чтобы легче было отправлять домой. Военный муж опять отсутствовал. Всегда он у нее отсутствовал.

— Потому я с ним и живу, — сказала она.

Пили без закуски, потому что у меня вообще ничего не было.

А ничего не было, потому что я купил сыну мопед, пытаюсь этим дурацким поступком объяснить ему, как он мне дорог. А что ему мопед, когда армянин в это время, как открылось впоследствии, давал ему водить на безлюдных дорогах свой «ЗИМ», и брал на охоту, и давал убивать птиц из двустволки, так ему, армянину, понравилась моя неверная дева. И про все это мальчика обязали молчать и папе не говорить. А мопед украли на даче соседские мальчишки на третий день после покупки. Но всего этого я еще не знал, как не знал армянских планов на нашу квартиру и того, что они втроем уже отдыхали на берегу моря, втайне от меня. «Возвращайся ко мне, — говорил я своему сыну, — бери маму и возвращайся. А нет, так сам приходи, заживем вдвоем, будет у нас длинный мужской год», — как бывали длинные

мужские дни по нашим вечным выходным, по понедельникам. Но он молчал, как партизан, и отворачивался, и тогда я пошел покупать ему мопед. Поэтому мы с Леной Глуховой стали пить виски, не закусывая.

А когда допили, она вдруг схватила меня за руку и стала ее целовать.

— Сережа, Сереженька, отвези меня к Осипу, скажи ему, скажи, почему он меня не хочет, почему не любит, я умру, если он меня не возьмет, я с собой сделать ничего не могу, я работать не могу, Сережа, я, наверное, люблю его, я совсем с ума сошла, я все для тебя сделаю, только скажи, что он живой, Сержант, Сережа, Сереженька, заставь его вернуться, я на север с ним поеду, я в тюрьму пойду, я не человек, если он больше не появится, поедem к нему, поедem, миленький, ты же любишь меня, будем втроем жить, Сереженька!..

И замолчала. И вытерла пьяные слезы. И трезво спросила:

— Знаешь, где он?

— Где?

— Я тебя спрашиваю, ты один знаешь.

— Что ты несешь! — напрубил я.

— А мне Василий Василич сказал.

— Кто?

— Дед Пихто.

— Поехали, я тебя домой отвезу.

— Ну да, так я туда и поехала.

— Ленка, не дави на меня, мне и так хватает.

— Если ты мне не скажешь про Осипа, я тебя самого трахну.

— Ну уж!..

— А ну, снимай штаны, богомолец деланный!..

— Хочешь выпить еще? — сказал я твердо.

— Иди, — ответила она. Больше нечем было ее остановить.

— Поклонюсь соседям, — сказал я. — Сиди.

Было время, когда я смотрел на нее, и у меня во рту сохло. Было время, когда я не мог бы устоять под страхом всех казней египетских. Было время...

У соседей я задержался минут на пять, а когда поднялся к себе, дверь была открыта, а Глуховой не было. Баба с возу...

Я набрал номер Халилеевых, Гюзель сняла трубку, сказала: «У телефона», — и мы помолчали вдвоем. У нас был договор: контрольное время и условный сигнал, у нас была явка в эфире и скромная тайна, одна на двоих...

И в это молчанье опять вошла прошлогодняя ночь, когда Узлов в первый раз привел ее ко мне.

— Всплывай, Сержант, — говорил он, — поднимись на поверхность со своего дремучего дна, учись, пока я живой. Что толку в молчанье? Женщина любит слухом, помоги ей подняться, говори ей всю ночь про нее, пусть она знает, как хороша и какой ты от счастья поэт. Не бойся бреда, старых ролей, любимых стихов, все это — твое сочиненье, ты, ты присвоил Пушкина и Хайяма, Шекспира и «Песнь песней», это ты на всю жизнь для нее открыл Есенина и Пастернака. Знаешь, кто нам суфлирует ночью? Кроны, звезды и те, кого нет...

Он ходил по комнате, прихрамывая и ускорая движение, в старых джинсах, голый по пояс, и все поджигал «Беломор». Укутанная простыней, в углу дивана сидела Гюзель, а я, вызванный им среди ночи, торчал третьим-лишним у «тещиной комнаты» и чувствовал всем своим жалким составом лунную избранность ночи. Я был нужен ему как зритель, вот что!.. Узлов продолжал:

— Призывай себе в помощь все, что имеешь — колыбельные, Лорку, Коран, ласковую матершину! Пой военные песни любви, не стесняйся, не бойся провала, ты обречен на успех, потому что ты — молод.

Это — третье призвание, а хочешь — второе, но ты одарен, одарен, если только родился мужчиной!..

Он знал меня лучше, чем я: его взрывало вдохновенье; слова были ярче моих, богаче самих себя, как бывало на сцене. Длинные руки Узлова плавали в лунном свете, хрущевская квартирнка под влиянием прилива тронулась в космос. Кроме Гюзели, еще три обнаженные женщины следили за ним с любимых репродукций Модильяни, стены были раздвинуты портовым пейзажем Марке и «Ночным кафе» Ван Гога. Мир стал единым, в наше безвременье вошли лучшие времена, всеблагие призвали меня, как современника, на пир Узлова, на языческий праздник рожденья новой женщины.

— Чудо мое, не стыдись,— говорил он Гюзели,— ты — прекрасна! Бери у нас все, все, что хочешь,— вот — порт, вот — Париж, вот — улица Боровая...

## 62

На другое утро после того, как ко мне заявила Лена Глухова, позвонила секретарша главного Таня.

— Сережа, вы не собираетесь сегодня зайти в театр?

— Да нет, я вроде свободен сегодня.

— Тут у меня есть для вас кое-что.

— Что же?

— Роли, роли, Сереженька, поздравляю вас!

— Какие роли?

— А вы приходите, увидите.

— Посмотрите, Танечка, и скажите мне.

— Да? Самой посмотреть?.. Ну, хорошо, смотрю... Вот тут наверху роль... Бахаря... О!..

— Не буду я брать эти роли, Татьяна.

— То есть как это?

— Так, не буду я узловские роли играть, мне их не вывезти...

— Сергей... Сергей Алексеевич, вы это серьезно?

— Что я, самоубийца, что ли? И театру это не нужно. С такими, как Узлов, и репертуар уходит. Зачем нам того же киселя, да пожиже, хлебать, — ей я хоть как-то хотел объяснить то, что и для меня, и для Турина, принявшего нелепое решение, было очевидно. Только вот почему он принял его? Кого послушался?..

После большой паузы, в течение которой она передавала мои слова Туру, Таня произнесла подчеркнута сухо:

— Сергей Алексеевич, вам предлагается прийти в театр и взять роли. Приказ о назначении будет вывешен через десять минут.

— Хорошо, Таня, я принял к сведению. В театр я зайду, а репетировать и играть Бахаря не буду.

— Так и передать Виталию Авдеевичу?

— Так и передайте. Я ему об этом уже говорил.

Раньше я от ролей не отказывался. Никогда. Ни от каких ролей. Опять Осип, опять Узлов, опять его влияние...

— Что я такое? — спрашивал он. — Что могу и для чего родился? Вот мои вопросы. Могу быть артистом? Могу. Это я уже понял. Теперь, вследствие необходимости заработать на кусок хлеба, ради подлой мелочи и оскорбительного прокорма, я обязан то же самое доказывать в разных городах. Выхожу на сцену, и город тоже понимает: могу. Теперь у меня выбор: менять города и снова доказывать или дрыхнуть на глазах у тех, кто давно про меня все понял. Менять такие города так



же скучно, как и дряхлеть в одном. Жалкая доля. Как сказал один ветеран сцены: «Стыдно быть старым артистом». Ты скажешь, что можно поехать в Питер, в Москву. Можно. И там доказано, предположим. Но зачем? Ведь я-то давно понял и трачу жизнь на то, чтобы другим доказывать. А стареть и в Москве стыдно. Тогда объясни, какая разница, двадцать семь ролей я сыграл или тридцать четыре? Хватит и трех настоящих. А!.. Понимаю!.. Красноречивым своим молчанием ты утверждаешь, что нет предела искусству, а тем более совершенству. Тогда приглашаю тебя на сегодняшний рядовой спектраль, чтобы поставить тебя перед фактом: я докажу тебе, как другу, что искусство у меня в левом нагрудном кармане, а совершенство — в правом боковом... И ты опускаешь глаза долу, потому что я — всегда прав. А делать карьеру и получать звание заслуженного оставим господам лисицким и товарищам дулеговым. Поэтому я и буду сегодня пить водку, а репетировать не пойду. Репетировать с твоим говнюком Туриним, а тем более играть с Лисицким и Дулеговым и стыдно, и скучно.

Все это говорилось в то время, когда его обошли ролью Отелло. И я сказал:

— Вранье все это. Играть не может быть скучно.

— Вот!.. Вот, Серега!.. В том-то и дело, что ты прав!.. Умница!

Он подошел ко мне, полупьяный, горячий, и в манере провинциального трагика преувеличенно громко запечатлел поцелуй на моем холодном челе.

— В том-то и дело, в том и беда, что не я выбираю, а выбирают меня, исходя из гнусного произвола. Ждать? Спасибо, Ты видишь, какие расклады...

Тут был прав он, и я сказал:

— Но ты ведь еще и художник...

— Художник? А твое какое собачье дело? Что, я у Турина художником работаю? Не спеши... Это я не тебе, как понимаешь, это я ему говорю... Ну, допустим, допустим, художник... Но ведь и это я понял... А дальше?..

— А дальше у тебя бабы,— сказал я, почему-то рассердившись.

— Молодец, Сержант!.. Но... Опять спешишь... Сделаем поправку. Женщины, а не бабы, так ведь?.. Это — выход из положения, согласен. Это — богоугодное дело. Ты — мужчина и, кажется, уже понимаешь, как они нуждаются в этом. И здесь я могу больше другого... Это тоже — призвание, Сережа!.. Как похвально помочь нищему и калеке, так похвально помочь их сестре, обделенной радостью тупыми самцами!.. И меня увлекает мое третье призвание! И меня защищает такое занятие.. Так пойдем же на волю, Сережа, пойдем в твой благословенный город и поищем женщину, царицу наших вожделений!.. Руку, товарищ, как говаривал Гена Несчастливцев!..

Тут я подумал об Ольге, его жене, которая не умела радоваться и всегда сохраняла на длинном лице какое-то педагогическое выражение. Что же он ее-то не осычастливил? А впрочем, кто ее знает. Не суди...

В дверь опять позвонили, и я снова напрягся.

— Кто там?— спросил я, не открывая.

— Я,— ответил мне женский голос, тихий и неуверенный,— я, Клава Белова.

«Ну вот и Клава приехала,— подумал я,— что же это они, все ко мне по его душу будут приходиться?»

Вошла Клавушка, с фибровым чемоданчиком, хозяйственной сумкой и тремя гвоздиками вниз головой.

— Здравствуй, Клавушка, какими судьбами?

— Я... замуж выхожу... Я замуж выхожу, Сергей Алексеевич... Что мне делать, я замуж выхожу...

Так она это сказала, что невольная жалость схватила меня за гор-

ло. Я взял у нее из рук сумку и чемоданчик, а она стала озираться, куда бы пристроить гвоздики.

— Я тебя поздравляю,— неуверенно сказал я.— Что тут делать?

— Я не знаю.

— Ну, садись, садись, пожалуйста,— я пристроил ее багаж и, успокаивая разумным фальшивым тоном, повторил: — Ты выходишь замуж...

— Мне Осип Святославович велел... выходить...

— Ну, что ж, раз Осип Святославович велел...

— Сергей Алексеевич,— говорила она, тщательно выговаривая окончания отчеств,— вы после Осипа Святославовича... Мне посоветоваться не с кем... Пока я с ним хоть иногда виделась... Пока Андрюша в армии служил... А теперь я не знаю...

— Это за Андрюшу ты замуж идешь?

— Да... Мы с ним одноклассники... У него отсрочка была, армия...

— Я тебя чаем могу угостить.

— У нас про Осипа Святославовича такое говорят, что... Я не знаю...

— Что у вас говорят?

— Одни говорят, что умер так... Не по-хорошему... А другие, что выехал...

— Куда?

— По израильской визе выехал... Женился на ком-то для этого и выехал... В Аргентину...

— Почему же в Аргентину?

— Не знаю.

— Это кто же тебе такое сказал?

— Это сам Забродов сказал... мне... И завкадрами...

— Молодцы у вас ребята, богатое воображение...

— Это неправда? — спросила она.

— Он и развестись не успел.

— Сергей Алексеевич, я из самого ЗАГСа убегу, если его на пороге увижу... Скажите ему, если можете... Передайте ему... Напишите... Мне ничего не нужно, я теперь играть могу... Если роли давать будут... Если Забродов не рассердится...

— А что Забродов?.. Пристает, что ли?..

— Не знаю, как сказать... Он теперь один живет... Говорит, чтобы я к нему приходила... Мне стыдно...

— Ну, подонок старый, — не удержался я. — А что Осип говорил?

— Он спросил Андрюшину карточку, посмотрел и сказал: «Вот за него выходи, счастлива будешь!»

Теперь позвонила заведующая труппой, прервав трудный для меня разговор с Клавушкой.

— Сережа, что с тобой, ты ведь так легко вводишься?

— Серафима Александровна, я не буду играть Бахаря, ни одной его роли я играть не буду.

— Сергей Алексеевич, вы меня удивляете, вы такой безотказный, такой дисциплинированный артист...

— Значит, понимаете, что это не каприз, — я замолчал. Она прикрыла трубку рукой и совещалась с начальством. Клавушка смотрела на меня большими синими глазами.— Хорошо, Сергей Алексеевич, сегодня в три часа худсовет, будьте добры, приходите. У меня все.

— До встречи, Серафима Александровна, — сказал я...

Клавушка осталась у меня ночевать и до поздней ночи все рассказывала мне подробности сближения с Осипом Узловым, словно прощаясь с главной историей своей жизни. Их-то я и пытался передать вам выше и ранее.

«Время не ждет», «пора, брат, пора», «итак, приступим» — говорю я себе намеренные банальности, как будто пришпориваю старого мерина перед спасительным прыжком. Я вижу, вижу их, одну за другой, эти спящие картины, и все топчусь на месте, чтобы умерился свет и хоть немного потускнели краски. Тяжело и неуклюже ворочается впереди беспощадный зверь финала, протягивает ко мне длинные когтистые лапы и мешает руке твердо и уверенно записать будто бы проходные, но кажущиеся обязательными сцены.

Я делаю нервный рывок, второпях опускаю важные объяснения и ремарки, бросаю без призора эпизодические лица. Не в пример началу и вопреки общей соразмерности повествования стыдливо обнажаются быстрые диалоги, как будто вы вместе со мной уже видите говорящих, требующих, помогающих. Но на вас нет надежды. Я уже проморгал, промахнул, прозевал многое из того, что было бы наверняка вам интересно, но выбираю лишь то, что относится к Осипу Святославовичу, к Иосифу Узлову.

Кстати, сынок, ты знаешь, что значит «Иосиф»? «Преумноженный», вот что. А «Осия» — это «спасение», «помощь»...

Я делаю попытку подслушать ваши немые вопросы. Появляется рядом и мой литературный наставник — не слишком ли поздно? — которого я забыл на время, и то укоризненно, то снисходительно смотрит через мое плечо на беззащитный текст...

Ах, господа, господа, бывшие товарищи, коллеги по бесстыдному ремеслу, калеки бессудного времени, нищие хвастуны, неблагодарные мои оценщики! Простите же, ради Бога, несовершенство пера, пропустите запоздалые отступления, сделайте скидку самодеятельному автору. В отличие от меня вы давно знаете, как создавать роль, как описывать случаи, как уходить от ответа. Я такой же, как вы, плоть от плоти вашей, знаток и советчик, и унижение мое паче гордости...

Вспомнил, вспомнил нужную подробность, вспомнил, что вы еще не знаете, почему наш главный режиссер Виталий Авдеевич Турин не дал Осипу роли Отелло. Дело было не в том, что возникла параллель и Узлов понадобился для другой пьесы. И не в том, что случилась производственная необходимость такого нелепого вольта. И, к несчастью, не из высоких творческих соображений. Дело было в жене «пахана»...

Иногда наш «пахан», или первый секретарь обкома, делал культурные вылазки в театр. Рядом с ним сидела его драгоценная супруга. И этой-то кобыле не понравился, видите ли, наш «Преумноженный». Вернее, понравился, но слишком. Больше, чем можно было ей позволить. А ему, пахану, не понравилось, что женщины вверенной ему области, в том числе и собственная половина, испытывают беспартийные чувства вовсе не к нему. Он бы желал, чтобы и эти чувства целеустремленно и единодушно были направлены к его высокому кабинету, где он себя под Лениным чистил и брал законные взятки, в том числе и женской натурой.

То есть сначала все было ладно, и Турина даже хвалили свыше за то, что он пригласил в театр такого интересного скомороха. Но потом, уже после «банек», после временного приближения, когда городу стало известно, сколько чудесных «преумножений» совершил среди женского населения наш Осип, скольких тоскующих «спас» и какую прекрасную «помощь» оказывал ихним товаркам; когда дошло до начальства, что Гюзель, отказавшая наследному принцу, досталась «этому проходимцу», а сама первая матрона поливает ковры кипяточком, сидя в нашей правительственной ложе, — тогда довели до главного режиссера, что Узлов — «персона нон грата», театр должен быть нравственным учреждением культуры и что «егерь-многостаночник» не имеет морального

права играть положительные роли, в том числе негритянского полковника, а тем более дружественного мавра Отелло.

Опять пошли в ход рассуждения в идеологическом отделе, что имя Узлова «Иосиф» наводит на мрачные предположения, а не пошло ли оно от родственников-евреев...

От последнего подозрения Турин отмылся, он сумел доказать чистокровную русскость Узлова, но дразнить пахана собственным непослушанием больше не брался. С этого времени и возникла двойственность в отношении к первому артисту.

Этим и объяснялось, как я теперь понимаю, горячее желание Тура доказать начальству, что у нас на сцене так же, как в партии коммунистов, нет незаменимых. Этим и объяснялось решение показать независимость театра от артиста Узлова. Этим и объяснялось мое выдвижение на его недоступные роли. Что с того, что спектакли не будут иметь такого успеха? Мы их постепенно и вовремя снимем. Но уже успев доказать свою политическую зрелость и художественную лояльность. Кроме того, была мыслишка: вдруг наш любимый зритель, подогретый слухами об Узлове, захочет по второму разу посмотреть прославленные представления и сравнить несравнимых героев. Чем черт не шутит...

Но к тому времени, когда кривая начальственного благоволения к Узлову повернула вниз, он уже знал про «наших» нечто такое, что делало его для них опасным. Если вначале они пригревали и приближали бывшего сидельца в расчете на частные развлечения и некоторые вероятные свойства, если их ошибочные догадки о московских знакомствах и возможностях Осипа заставили их «раскрыться» — ситуация типичная, российская, «ревизорская», — то теперь, не обнаружив его верхних связей и поручительства, а, наоборот, поняв внятную тревогу и отдаленные ворчания Москвы на его же счет, они обязаны были Узлова нейтрализовать. Любимый театр принял сигнал.

Точно, точно. Чертя свои схемы на кухне, Узлов приговаривал:

— Знаю я их, знаю я эту породу. Прежде всего номенклатурный упырь должен создать вид своей перегруженности великим делом строительства низма за одним отдельно взятым столом... Оттого он и ласкает его, лижет свои блокнотики, перекладывает папочки, обжимает резиночки, скрепочки, календарики, слушает тебя благожелательно, снисходительно, ручками двигает плавно, трубочку телефона берет неспешно, просит у тебя прощения за то, что вот великие дела заставляют отвлекаться на время от твоих дешевых забот...

Осип сидел за кухонным нашим столиком, по обыкновению обнаженный до пояса; перед ним, посреди кухонного натюрморта — сковорода на подставке, чашки и рюмки, приконченная бутылка «коленвала», тарелки с остатками «Болгарской трапезы», солонка и перечница, — лежала ученическая тетрадка с цветными карандашами пообок, но он уже играл свой чиновничий этюд, и я угадывал то Вальку Кочара, то Попова, то Буркина, каждого на своем рабочем месте.

— А главная задача — не пропустить дня бис свайё выгады; усе усилиё на то, штоба подтолкнуть себе и тармазнуть саперничку; штоба памочь нипасредствиннаму бугру, а лучче — и болие верхнему. Любая дела снизу выгодна, эсли им казырнуть навирху. Можит пависти и прасителю, лишь бы савпал интерес... А ни плохо и так пасидеть, ни брать в галовку, забыцца мичтой о случае. Выхать «на абъект», в сауну, прapустить рабочий динек для удавольствия. И секретарша должна быть хорошо воспитанная и знать разные способы. Атшила от тебя вшивых прасителей и вашла в кабанет, чай с лимонам, накрытый салфетачкай, на падносике занесла, а праверишь на осчуп — трусики у нее уже снятые... Харашо живем! Харашо праводим трудовой процесс и его законную паузу. Салдат партии ни спит, а служба идет, слава тебе, создатилю Канституции...

Кем я был до встречи с ним? Соглашателем, послушником, даже просителем. Разве я не ходил клянчить телефон без очереди, богомолец и прихожанин? Разве не признавал раздающих блага имеющими право? Разве не мучил душу двойными законами проживания в передовой области? Было. И грехом не считал, и не спрашивал, кого именно я локтем оттолкнул своей просьбицей. Вижу, как улыбается мне, верующему христианину, атеист и идеолог, белоглазая гнида Попов, снимая бледной кистью красную трубочку; помню свое «большое спасибо» и низкий поклон товарищу масулину или самулину, начертившему после поповского звонка красивым писарским почерком дарящие слова: «Прашу ришить палажительно».

Вот так и получалась у Осипа каждая роль, что ты не только видел его незабываемого героя, но и сам втягивался в общение с ним и о себе, убогом, невольно задумывался...

И позвонил-таки выпрошенный мой телефон, и заговорил голосом Пети Алейникова.

— Сиреш, дружочк, приветствую тибя, узнаешь парнова кориша, ху-ху-ху, здароф, милай, апать тибе запрос, щитай па мелачи, ни падскочишь ка мне в управления... Пряма щас... А-а-а, хутсавет... Уважительная... Апосля хутсавета?.. Спиктакаль?.. Уважительная... Апосля спиктакаля?.. Свидания?.. Ну, ты даешь, Сиржант, сматри, какой дилавой, весь расписаный... Женщина стоищая?.. Ну, молодец, идешь па слидам друга Йосипа... Уважительная... Тока ты сматри, придахраняйся, сынок, а то у нас па данным санипидемстанции бальной сплеск африканскава трипера, падарак ат друзей из развивающихся стран... Ху-ху-ху-ху-ху... Ну зафтра давай, я тибя в девять чисов рад буду павидать... Лады, заметана... Да встречи, драгой, да зафтрева...

О худсовете потом, а пока о Клавушке. Она все смотрела в оба глаза, входя в мой переплет, потом мы выпили с ней чаю сладкого, и опять приоткрылся мне отрезок жизни Осипа среди персонажей соседней области. Может быть, это и лишнее по законам строгого сложения сюжета, но ведь почему-то я слушал и собирал всякие мелкие частности, надеясь извлечь что-то необходимое.

## 64

Моя беда, но когда я читаю историю, изложенную непрерывно и последовательно, словно без участия автора, я перестаю в нее верить. А он-то откуда знает? Подслушивал, подсматривал, не участвовал? Сочинял? Или с чьих-то слов пересказывает? Да и сам он кто таков? За кого из названных прячется? Оспорить меня ничего не стоит классическими примерами, но, во-первых, я не о классике говорю, а о местных соребнователях, к коим причисляю и себя, а во-вторых, по-прежнему льющую надеждой оправдать свою неуклюжесть и безалаберность.

О каждом новом для себя человеке обычно узнаешь отрывочно, не последовательно, не вовремя. Налетит какой-то слух о нем, потом столкнешься лично, поручкаешься, увидишь, насколько он слуху соответствует. Или, наоборот, сперва встретишься, а после слышишь то одно, то другое, кажется, постороннее сути, почти всегда случайное.

Вот он, к примеру, кур в еду не употребляет, брезгует и называет бедных клевательниц почему-то «собаками».

Не заметишь сам, но главным становится то, как этот человек к тебе относится; закрыт, высокомерен, пренебрежителен — и ты настраиваешься враждебно, отворачиваешься. Но вдруг он заулыбался, заговорил, смотри, душа нараспашку, вот он какой, оказывается, и ты уже его от других готов защищать.

Об Узлове, об Узлове, о ком же еще...

А тут судьба сплетет ваши несходные истории, и то ли он наследует твои незавершенные дела, то ли ты становишься его душеприказчиком по всей доступной местности.

Но все сведения о новичке накапливаются отрывками, эпизодами, противоречиями, знание как бы растянуто в твоём ограниченном времени; так иногда до конца и не проникнешь в пунктирную тайну единственного из толпы. Это и составляет великий сюжет узнавания, может быть, самый интересный и значительный, потому что он — личный и собственный, а его таинственные скрещения с другим, о котором берешься рассказывать, и есть невыясненное течение твоей персональной действительности...

## 65

Там, в К-ве, после нашумевшей дуэли, Узлова взяли под стражу прямо в зале суда по оглашению приговора. Он так и предполагал и предусмотрительно велел жене захватить с собою на заседание гитару в чехле да белье в узелке. Ольга смотрелась в зале выразительно: на коленях — гитара, а сверху — сидорок каторжный.

Клавушка пряталась в последних рядах. Она боялась Ольги панически. А та не подавала вида, хотя хорошо знала, что Осип с Клавушкой «встречаются». «Встречались».

Какое глубокое, чистое слово, если вынуть его из доноса, освободить от сплетни, дать в житийном, человеческом, солнечном значении!..

Был в зале и пострадавший Левченко в черном романтическом свитере, и заслуженные коллеги в качестве свидетелей, и зрители их театра в ролях зрителей. Только начальства не было, начальства и старика Забродова, для которого Узлов кончился накануне. Вчера еще был нужен, потому он и просил до суда оставить Осипа на воле. А теперь — все, отработанный пар, вычеркнуть, бесполезняк...

При чем тут театр? А разве у вас в конторе не те же спектакли? И у вас в институте, и у вас?.. Сколько людей мы повычеркивали из памяти, едва они перестали проходить по нашей платежной ведомости. Выпал из нашего мирка, и — с концами, бесполезняк, вычеркнуть... А-а!.. Да, кажется, был такой... такая... Маленький такой... Высокий?.. Нет, не помню... Ах, на дуэли дрался, ну, этого помню, конечно...

Этого запомнили.

— А председательствующий старается, — рассказывала Клавушка, — «Зачем вы, Узлов, нанесли оскорбление товарищу Левченко, зачем вы спровоцировали его на этот кровавый анахронизм, может, вы глубоко раскаиваетесь в своем поступке, какое ваше последнее слово, подсудимый?» Это уж после того, как адвокат сказал о смягчающих обстоятельствах, что раненому была оказана первая помощь и что сам Осип Святославович вынес его из глухого участка... Они хотели его согнать, понимаете, Осипа Святославовича согнать, чтобы у всех на глазах он просил к себе снисхождения и перед самим Левченко унился. А он над ними посмеялся, то есть сам не смеялся, говорил серьезно, но так, что в зале все-таки смеялись, как на спектакле, когда Узлов смешную роль играл. «Товарищ Левченко, говорит, пострадал за нетоварищеское отношение к женщине. Меня, в свою очередь, говорит, глубоко оскорбило нарушение товарищем Левченко морального кодекса строителя коммунизма в то время, как он должен был нам всем подавать пример. Пример он подавал неудачный, но большего, говорит, я сказать не могу, потому что здесь, в зале, переживает стрессовое состояние супруга Левченко, вынужденная в дальнейшем жить с этим раненым. Но если бы вы, говорит, уважаемый суд, вели дело по совести и независимо, если бы сами не боялись наказания из того дома,

где служит наказанный Левченко... Да, да, так он и сказал: «наказанный»... Мы бы, говорит, сидели с ним рядом на этой самой скамеечке... А вообще, говорит, я глубоко раскаиваюсь и признаю себя виноватым, потому что таким,— вы меня извините, слово я запомнила,— таким мудозвонам, как Левченко, надо однозначно морду бить, и никаких дуэлей с ними не устраивать, велика честь, говорит... для такого парашника...» Извините за слова, это он так говорил, Осип Святославович. Что тут поднялось!.. Председательствующий кричит: «Это оскорбление суда!», в зале смеются, а некоторые женщины аплодируют, суд удаляется на совещание, а потом все встают, оглашается приговор и берут Осипа Святославовича под стражу, а он... Ольга Матвеевна, его жена, в зале, а он громко так говорит Левченко: «Береги себя, Халдей! И передай Игорьку Забродову, что если он будет Белову обижать, ну, то есть меня, я ему протез обломаю!..» А Ольге Матвеевне говорит: «Прости, Ольга...»

Клавушка сделала паузу, и хотя ничего не сказала о том, как простился Осип с ней, мне этого и говорить не надо было, я сам увидел его подходящим к маленькой дверце с двумя молодыми милиционерами по бокам, и этот резкий поворот назад, и то, как встретившись взглядом с Клавушкой, Узлов весело подмигивает ей огромным глазом и еле заметно кивает...

Насчет «Игорька Забродова» и его «протеза» придется уточнить. Речь шла не о ноге, руке или зубах маститого руководителя, а о том секретном приспособлении, которое ему за скромное вознаграждение сделали ленинградские сексологи. По ходатайству областного здравоуправления и «исходя из больших заслуг перед советским театром». Все делалось тихо и втайне — запросы, ходатайство и само приспособление, — но секрет Полишинеля вышел наружу: одна артистка поделилась с подругой, а там пошло и пошло, и скоро в разговорах зрителей и профессиональных обсуждениях Забродова стали так и называть: «Протез», мол, собирается «Ли́ра» ставить», или «Опять от «Протеза» баба ушла...»

У старика Забродова глаз был блеко-голубой, туманный и холодный. В молодости он был почти красив, да и в старости импозантен: высокий, тяжелый, седой. В режиссуру он попал из артистов, а в артисты — из самодеятельности технического вуза. Ему нравилось нравиться, и он до старости не мог избавиться от этой привычки, все выходил на публику даже после тех премьер, к которым не имел прямого отношения, все выступал, объявляя о намерениях, пошучивал. Выглядел жалко, провинциально, но это не мешало ему быть жестоким, расчетливым и циничным. Он держался за место, в сущности, не имея на то прав, но считал, что прошлые заслуги обеспечивают пожизненную ренту.

Что за заслуги? Да так, мизер. Он одним из первых в провинции набил спектакль песнями и танцами, дав тем самым критике возможность говорить сначала о «музыкальном лице театра», а позже — о «русском мюзикле». Но все это было типичное иждивенчество.

«Лицом театра» был не он, а его последняя жена, артистка Божьей милостью Марина Фомина. «Протез» увидел и вычислил ее в маленьком районном театре, в котором она выступала под своим настоящим именем — Марианна Фогель. Ради нее Забродов развелся, так как Марианна не соглашалась на привычное для него сожителство, и не ошибся, сделал эту ставку. С приходом к нему в театр Фоминой-Фогель и началась провинциальная слава, так как вся его режиссура теперь состояла лишь в том, чтобы создать для нее приличную «рамку». Живая, разнообразная, тонкая актриса стала любимицей города, и каждую ее новую роль приезжали смотреть московские критики. От их похвал перепадало и Забродову.

Это продолжалось до тех пор, пока в зените своей звездной славы Марина не влюбилась в молоденького выпускника театральной студии и вместе с ним уехала в Москву. Узлов застал ее перед самым отъездом, видел в спектаклях и отзывался всерьез.

— Видал я худруков, — говорил он, — но «Протез» — это что-то особенное... Как она уехала, всем открылась его нищета. И он стал пускаться во все тяжкие... Всех в театре употреблял, а как это ему удавалось — одно загаденье. Ну, во-первых, представь: каждому новенькому предлагалось взять другое имя: мол, все, что ты сделал до прихода к Забродову, — не считается... И мне предложил брать псевдоним, представляешь, и Марину, оказывается, заставил. Ну, со мной номер не прошел, а ее, говорят, уломал быстро: на что ему в «русском мюзикле» немка Поволжья?.. К каждому два вопроса: какова твоя личная преданность и что с тебя можно взять. Зовет, скажем, нового директора, осчастлививает повышением до своей «академии», — а «академию» он под Марину выбил, — и держит молодчика в общаге до тех пор, пока тот весь в дерьме не изваляется, не станет ему прислуживать до рабства и заискивания, пока не начнет ему подарочки носить и ежедневно нахваливать. Я, говорит, могу творить только в атмосфере любви. И эту атмосферу должны, понимаешь, создавать все без исключения директоришки, администраторы, ведущие... А особенно — молодые артисточки. Так что Марианна у него в женах тоже натерпелась... Другой пример. Взял в театр художника молодого, ну, конечно, на самую низкую ставку; парень и эскизы выдает, и макеты клеит, и сам декорацию расписывает — экономия, исполнителя не надо. Сидит он с женой и ребенком в общежитской щели, боится пикнуть. Появляется мастер, то есть Забродов, то есть «Протез». Тут оказывается, что он еще и художник. У него есть, так сказать, образное решение, и он объясняет его молодому и подневольному на словах и на пальцах: сверху — галерея, с галерей — лестница, а внизу — диванчик. Все. Парень делает эскиз, пытаюсь, так сказать, развить идеи мастера, строит декорацию, а в афише читаем: «Художник — Забродов», — и, главное, то же имечко — в платежной ведомости. Себе старичок денежек не жалует, а директоришка потеет от усердия, выписывает...

Тут я его прервал и сказал, что вся его речь — еще одно свидетельство вечного антагонизма сильного артиста со своим главрежем и что не стоит ему, Узлову, мельчить себя осуждением действий жалкого грешника Забродова. Но Осип еле стерпел мою «перебивку» и продолжал создавать несмыслимый образ...

— То же самое у него и с авторами, то бишь с драматургами... «Я тебя поставлю, ты мне привезешь весь твой драматургический гонорар, а тебе будут капать авторские, идет?..» Что им остается? «Идет», — говорят... То же и с режиссерами: даст потрудиться какому-нибудь молодому и смотрит в щелочку: получается — отнимет и подпишет: «Забродов, Забродов». Не получается — вались, как хочешь, вот, товарищи, видите, что выходит без моего протезного участия... А сквалыга! Как он с Марианной разводился! Язык не поворачивается... Но вот сценка. Уехал раз в обкомовский санаторий за семьдесят километров, лежит, кайфует. К нему — театральная делегация на маршрутных автобусах, с пересадками, после репетиции, усталые, голодные, но гостинцы тащат. Он их принимает, передачи сует в холодильник, требует новостей, домашних сплетен, подробностей — кто что сказал, в каком тоне; потом начинает разливаться о своих творческих замыслах, с деталями, отступлениями, воспоминаниями. А они жрать хотят. Подходит время ужина по санаторным часам. Они говорят, ну, мол, мы поехали, выздоравливайте, поправляйтесь, так далее. Нет, говорит, мне скучно, я вот пойду поужинаю, а вы — ждите, я хочу еще с вами пообщаться. Уходит, жрет, приносит в палату остатки обкомовских блюд, опять у



них на глазах прячет в холодильник, и опять толкует о возвышенном, опять у всех на глазах приглашает девочку... Что ты смотришь синими брызгами?.. Да, он и к Клавушке стал подбираться со своим протезом, и не только к ней...

— Ты мне нравишься.— сказал я,— легко справляешься с ролью моралиста.

— Неужели нет разницы?— спросил Осип.— Они же от меня не зависят, а от него — полностью. Я же им роли не раздаю, зарплаты не повышаю, не торгую, не покупаю за чужой счет!.. Неужели нет разницы? Не говоря уже о протезе...

— А тебе-то что? К тебе-то он не приставал, тебе давал роли...

— Эй, Сержант!.. Ты меня не подначивай. Если я со всем этим дерьмом соглашусь, мне играть будет нечем.

— Понимаю,— сказал я,— значит, ты не из-за Клавушки заводился, а ради всеобщей справедливости.

— За что я тебя люблю, Сержант, так это за понятливость.

— А если бы не дуэль,— спросил я,— остался бы у Забродова?

— Ушел бы, ясное дело. Только не в тюрьму, а на волю...

## 66

С того момента, как засуетились в театре, а ко мне, одна за одной, стали являться девушки Узлова, время мое уплотнилось. Что значит «уплотнилось»? Ну, попробую сказать по-другому: ожидание новых событий, неизбежно приближавшихся, стало для меня тяжелей, а одиночество почувствовалось резче.

Попробуйте заснуть, когда за тонкой дверью вздыхает чуткая Княжна (я говорил вам, что мы с Осипом называли Клавушку «Княжной»), о чистых прелестях которой я вынужденно помнил, потому что слушал и заслушивался рассказами об их встречах.

Самое невыносимое для нашего брата — это одиночество. Мы в ужасе бежим от него куда глаза глядят и попадаем Бог знает в чьи руки. Западный человек или, скажем, американец более русского закален равнодушным миром и в самом себе носит защиту от одиночества. Оно для иностранца не то чтобы привычка, но составная часть характера. Оттого для них более нашего событиен брак или развод. Мы беззащитней, легкомысленнее и так подвержены панике, что сами рады обманываться, разменивать душу на видимость и терпеть неизбежные разочарования. Я говорю о нас, какими мы стали в результате коллективистских лозунгов и направляющих усилий.

Дружба с Узловым и безвременная потеря его отрезвили меня, сделали несколько взрослей, но от этого мне не стало легче, скорее наоборот, и только спасительная молитва удерживала на плаву.

Я смотрел на Клавушку, слушал ее певучую речь и, покорясь светлой красоте — вот вам без грима Василиса Прекрасная! — думал о том, какая ровная ясная жизнь могла бы сложиться у Осипа, женись он на ней, сколько в ней терпения и преданности, вот по самой своей таинственной сути — жена. «О, Русь моя, жена моя, до боли...»

В нашем мире жены — редкость, все больше сожительницы, кровопийцы, вампирши. Я бы и сам женился на Клавушке, отодвинув пустые мечты о Гюзели, я бы и сам погрузился в ее теплый безмятежный мир, припав к стройным ногам, целуя нежные ладони. Вот какое сокровище достанется теперь однокласснику Андрюше.

— Ну, не век же мучить ее,— сказал мне Осип,— ей надо замуж, ей нужно детей, пора выдавать. Какой я семьянин...

Мы спали в разных комнатах: я — у себя, она — на любимом диване, и впервые за много дней я чувствовал, как отдыхает мое тревожное тело и несмирная душа. В целительном сне успокоенная, довольная

жизнью Клавушка ласково смотрела на меня, держа в руке параллельную белую, как в зарубежном фильме из жизни богачей и аристократов, телефонную трубку, другая, черная, под старину, была у меня, и мы, слушая тишину, нежно смотрели друг другу в глаза. Потом Клавушка сказала: «Приезжай», я ответил: «Еду», мы выдали свою близость третьей стороне, и та, что звонила по нашему номеру, моя жена Эльвира, двести лет назад ушедшая к богатому армянину, поправляя алую розу в петлице его белого смокинга, сказала мне необыкновенно мирным голосом, что любит меня, хочет вернуться и ждет, что я назначу время. Я решил согласиться, но ничего не обещал в ответ, и мы втроем, как сговорившись, положили красивые трубки на изысканные аппараты. Я отметил во сне приятную новизну чувств и отношений, когда почти семейная близость с Клавушкой ничего в моей жизни не отменяла и сын все мои отношения одобрял, а видимое отсутствие Гюзели, ее странная подмена Княжной тоже была вполне в порядке вещей...

Утренний чай вслед за совместным пробуждением вовсе не разрушил обаяния сонных видений, и в условленный час, спокойный и почти уверенный в себе, я был у Алейникова. Как я ни отказывался брать роли Узлова в театре, в жизни приходилось играть его представителя, к кому же им всем было обращаться в его отсутствие, как не ко мне?

Алейников был свеж и подтянут, как будто бы вчера вовсе не пил. Против него сидели близнецы, как по заказу, в лыжных шапочках, и Петя с ходу стал брать быка за рога.

— У нас, Сиреш, здравствуй, такая дела, вниачиридная, панимаишь, партия хороших вазочков пришла, жигулят, то ись, премия нашему гораду, пабидителю саривнавания. Ну, па спискам, па спискам, канешна, васнавном, людям заслужинным. Ты у нас пака ни заслужинный, но извесный, так што будит тебе, канешно, пагон с прасветом, будит звания, пастараймся, а пака, еси мы на твое имя-фамилие машинку выпишим, тибя в списак внидрим, таксказать, Буркин тибе распридилит, как художественной интиллигенции, причем, «питерочку», да? А ты вот брательникам даш даверинность, любому, да хоть Толи, хоть Гени, пускай рибяты ездют, сагласин? Ну?.. Чиво малчишь?.. А то, еси капуста есть, сам ездии... Откуда?.. Ну, мала ли, ва дваре нашел, бываит, Толя вон нашел ва дваре, с Генай падиллился... У друга можна занять тожа... Ни хочеш сибе... Вот я и гаварю, на тибя выпишут, а ты — даверинность, а они пускай ездют... Ты ни думай, они тибе будут благодарные, павизут куда на дачу или куда, так я гварю, рибята? Или прадукты какие подбросют... Ты, Сиреш, ни вазражай сходу, ступай пасиди с рибятами, пасаветуйся, вазьми рюмачку, там видна будит, я тибе плахова ни скажу, ты миня знаишь... Ну, спасибо за внимания, да встречи, дружочек, я тибя приветствую... Эх, сутьба, Иосифа нашива ни видать вблизи, скука без ниво, ты, видать, пирживаешь, панятна, а у тибя часом нет ат ниво вестачки?.. Так, так, царства небесная... Он и с того света можит вестачку прислать, он такой у нас, выдающий сибя, асобинный... Ну, лады!.. Можит, в баньки памоимси на дасуги?.. Звани, ни забывай, милинькай!..

Вышел я вместе с близнецами, которые вели меня, как конвой, молча и сосредоточенно. Тот, что шел слева, показал с крыльца на старый «москвич»; правый услужливо открыл передо мной дверцу. Левый сел за руль, правый задыхал сзади. Времени до начала худсовета было много, и я уговорил себя быть сдержанным. Не все ли равно, кому достанется блатной «жигуль», если таким, как я, во весь свой век не поднять такую покупку?

Они отвезли меня в одну из своих столовок в Подгорном районе на улицу Шмакова, десять; черт его душу знает, кто он такой был, покойник Шмаков, удостоенный уличной чести, одно было ясно, как

день, что он — покойник; какой из живых Шмаковых согласится на такую улицу без единого дерева, с толпой голодных кошек под колесами красного «москвича». Конвой,— левый шел впереди, а правый — сзади,— направил меня на второй этаж, в отдельный кабинет, с базарной росписью по стенам: синяя вода, зеленые русалки, золотой витязь, белые лебеди, круглые облака, ах, душа поднимается чуду навстречу, тот не художник, кого раз в году не обрадует ласковый китч; там было накрыто два столика на одну компанию, нас ждала сама Тамара Карданникова с черномастной подругой, вот тебе на выбор дама пик и дама бубен. Утренний сбор был как бы случаен, но не случаен был светло-золотой коньяк «Белый аист», того же цвета бессмертный «Херес» треста «Молдавияимпорт», не случайна была икра паюсная и икра кетовая, как и сама горбуша розовая, зеленый огурец, изящный, нежинский, картинные помидоры, зелень из Грузии и Узбекистана, не случаен был и нежный шашлык под красным соусом. Легко купить голодного артиста!..

Я играл веселого фрайера, пил, ел, подписывал доверенности, в боковой карман мне запанибрата совали толстый конверт. Откуда ни возьмись появилась бутылка «Камю», какой дурак откажется от такого случая, пили за Петю Алейникова и всех прекрасных парней нашего города; Тамарочка описывала свою беззаветную любовь к Иосифу Узлову, смахнула непрошеную слезу, нажала на мое предплечье роскошной грудью: «Где вы, где вы, где вы, очи карие», — спела ее подруга. «Где Осип, — дружески и грубовато спросил левый (или правый?) близнец, а правый (или левый?) прогудел втору: — Скажи, кореш, где?»

Я ответил грубо, в рифму, я ответил, как подлец, и общий смех случайной компании, слышный на всей улице Шмакова, вознаграждал меня за смелость...

## 67

Утреннее приключение мое было ужасно кстати, потому что ничего не может быть подлей провинциального худсовета на трезвую голову.

— Позвольте мне предварить,— галантно сказал я насупленным коллегам,— у меня есть чистая идея. Все роли Узлова я предлагаю передать господину Явно. Прошу прощения, я имею в виду артиста Лисицкого. Во-первых, он красив, как Бельведер Арзамасский, не мне, чувырле, чета, а во-вторых, глубок как художник и подлинно гражданственен. А гражданственность здесь — первое дело. Вынося на сцену в узловских ролях свою безусловную красоту и советскую гражданственность, Лисицкий выручит всех. Я думал всю ночь, думал не о себе, а о театре как целом, с чего начинается и так далее. Поэтому не будем терять золотое время дня и разойдемся учить любимые роли. Я кончил.

— Ты что, врезал?— спросил меня Ваня Куртанов.

— Прекратите балаган,— сказал директор Хамеев.— Люди вас ждут... двадцать одну минуту...

— Разве я один на повестке?— спросил я.

— На повестке производственные задачи и поведение ведущего артиста Сергея Алексеевича...— Я не дал договорить Турину, меня еще несло.

— Не ведущий я, не ведущий, не надо, Виталий Авдеевич, выдавать мою слабость и тайное желание за действительность. Я — ведомый, никому не ведомый, покорнейше рядовой...

— Балаган прекратите! — часто задышав, сказал Хамеев.— Товарищи, еще раз. Художественный наш руководитель, Виталий Авдеевич,

принял острое нетрадиционное решение о возобновлении двух принципиальных для театра спектаклей, о новых, так сказать, редакциях, которые — я уже договорился в Минкульте и в Управлении культуры — нам зачтут в план. Имя исполнителя главных ролей уже объявлено в этих инстанциях, уже одобрено... У нас появилась возможность получить солидные дотации...

Тьфу ты!.. Что, я их цитировать буду, что ли, разве в этом дело.

Как они на меня кинулись!.. Все... Почти все. Ну, кроме Вани. Впрочем, он никогда и никого не ругал на официальных собраниях. Но хватало и без Вани. Всё мне припомнили. И то, что я в церковь хожу, «как дурак», и что жена от меня ушла «по неясным мотивам», и что в доме моем идут «ночные оргии», и что адрес в муках добытой театром квартиры стал печально знаменит в городе, твердые моральные принципы которого известны всей стране.

Вспомнили и то, что я сам назвал дураком дурака Хамеева, и то, что Кошукову не ту реплику дал, а Лисицкому на ногу наступил и плащ на сцене подавать отказался; и что вообще, вообще, вааще говорил сегодня с худсоветом в неуважительном тоне... А вааще говоря, надо было давно ко мне присмотреться, да, да, да...

Я должен быть счастлив и благодарен, благодарен и счастлив, благодарен и счастьедачен я, потому что для меня, такого, открывается дорога, такая перспектива открывается в нашем таком, которым мы гордимся, таком великом русском старейшем, одно имя которого перспектива, без трепета никак, таком богатом традициями, такими, таком, такаком, где профессия благородного труда артиста, долг выполнять профессиональный такой, слушать режиссера, слушать и делать, и делать и слушать, профессия слуша-делать, а главное — делать и делать, тем более главный такой режиссер, как Турин, Турин Авдеевич Авдеевич, Виталий Виталий, гений гений, Виталий Гениталий, глубокий-глубокий копатель накопитель продолжатель развиватель разбиватель создаватель таких, когда честь, доверие, тогда доверие, честность, доверчесть партнером, кому-кому-а-мне, кому-кому Лисицкому издеваться над артистом, быть партнером Явно-Явно, таких Кошукову-Кошукову, самому быть Дулегову товарищу, товарищество нехорошо хорошо рошо беспардонное делать и делать свинство винство пьянство койкой-кой... ЗНАЕТ ГДЕ УЗЛОВ...

Тут я отрезвел и стал вслушиваться.

— Такое поведение незнаюкаквыразитьсловами, знаетнетолько творческиеноиличнееегосекреты, никомунехочетпомочьподсказать, знаетзнаетнехочетнехочет, опокорникахлибоничеголибо, слушаделать Дулегов-Лудегов, работягачестнягаобщегоблага блатягатагабумагадуляга все-таки сѣтакы, нашнашнаш, поможетположитскажетподскажет, все-смотрятускорение, говоритМосква, окажемся впередиМосквыпсевдоисканийтакихненашихнерусских Мосисканий... ЗНАЕТГДЕУЗЛОВ-БРАЛКУДАЛОЖИЛ...

ЗНАЕТ ГДЕ БРАЛ УЗЛОВ секреты запасности, такойсекретностиподелитьсясяхлопотом, опытомхлопотатьлицом, онародеделателезоите-ле товарищейсоветскойкультуры, русскийнациональный толькообыватель никтожество природы, шкурночаэтнические интересы собственнические никомучества замашки машки машкизм гоизм эгоизм эготизм герметичность...

— Ребята, — сказал я, — при чем тут герметичность. Да не потяну я, и все, что вы тут, с ума посходили, что ли...

— Выговор, порицание. Исключить из партии, — наступая на мою реплику, закричал сгоряча Кошуков, и все притихли.

— Он беспартийный, — сказал басом Ваня Куртанов, — и ты беспартийный, чего ты лепишь?.. И вообще, что это у нас — партсобрание? Суд? Или художественный совет? Что-то я не понимаю.

— Знает об Узлове, почему скрывает?— весь красный, определился Хамеев.

Турин сбылчился и опустил пухлую голову.

— Не знаю я ничего,— сказал я в большой паузе.— Что вы от меня хотите?

— Ладно. Все свободны,— сказал Турин и, заметив, что Таня усердно строчит, добавил:— Не надо протокола...

Я пошел на выход и, обернувшись в дверях, попрощался:

— С праздником вас!..

68

Клавушка уезжала в этот же день, и мы успели увидеться еще раз после худсовета. На прощанье я подарил ей два карандашных эскиза Узлова; на одном Клавушка была в русском сарафане с кокошником, на другом — без одежды.

Она опять заплакала, но скоро отвлеклась поисками картонки или папки, куда можно было бы заложить тонкие листы, чтобы не измялись в дороге. Клавушка аккуратно заворачивала старый скоросшиватель в газеты, и я, странно отдалившись, видел ее уже другой, чужой, хозяйственной и бережливой женщиной, у которой своя жизнь — муж, дети, дом — и свое прошлое в отдельном, недоступном для семьи ящике или укладке.

— До свидания, Сергей Алексеевич,— произнесла она извиняющимся тоном, по своему обыкновению тщательно и до конца выговаривая отчество.

— Прощай, Клавушка. Тебя проводить?

— Нет, что вы, я сама, ничего ведь нет тяжелого...

— На свадьбу позовешь?

— А разве приедете?

— Сперва позови...

— Ладно...

— Да нет, не приеду, если честно сказать. Не бери в голову. Как ты Андрюше объяснишь, кто тебе этот дядя!..

— Как-нибудь объясню...

— Я тебе телеграмму пришло. На красивом бланке...

Когда я открыл дверь, она, словно возвращая утрату, сильно и нежно обняла меня, поцеловала в угол рта и, не прерывая объятия, прошептала на ухо:

— Я из ЗАГСа убегу, я из церкви убегу, я из дома убегу, если он появится.

— Счастлива будь,— я перекрестил ее, заперся и лег на диван.

Проснулся я часа через полтора с тяжелой головой, проснулся от того, что кто-то пристально на меня смотрел. Это был Василий Васильевич Васильев, собственной персоной, неизвестно каким путем попавший в мои хрущевские апартаменты.

— Сергей Алексеевич, я вас заждался, здравствуйте,— сказал он, нависая надо мной и стараясь уловить мою первую реакцию.

— Здравствуйте, если не шутите,— ответил я поневоле хрипловато и по какому-то наитию принялся играть человека, приятно поддавшего. Основания мне давал утренний разбег в столовке на улице Шмакова и пьянящий восторг, испытанный на художественном совете.

— Я по вас соскучился, надо сказать, проявил заметное самоуправство, очень уж хотелось поговорить...

— А водку принес?— спросил я.

— Принес коньяк,— быстро ответил он.

Я грубовато хохотнул, так, будто в трезвом виде стараюсь выгля-

деть интеллигентом, а стоит выпить, и поневоле возвращаюсь к собственной скобарской натуре.

— Тада хозяйствуйтя, готовьтя, наливайтя...

Он так и поступил.

Я осмотрелся «чужими глазами» и вместе с незванным гостем обратил внимание на чистоту и порядок, царившие в квартире после отъезда Клавушки. Никаких следов холостой жизни, наоборот: чистые полы, салфетка под графином с тремя ее гвоздиками, четкий строй избитой обуви под стенкой в прихожей, тщательно вымытые и перевернутые на сушилке чайные чашки — все говорило о женском присутствии в доме. Только самой женщины не было, и оба мы знали об этом.

— Не забывают вас девушки, — сказал Васвас, легко ориентируясь на кухне и накрывая столик. Коньяк был армянский, три звездочки, на редкость ароматный, ереванского розлива; хорош был и тонкокожий упитанный лимон, который пришелец вместе с коньяком достал из портфеля и нарезал на блюдце тонкими кружками; больше ничего перед нами не было, да больше ничего и не требовалось.

— Хорошо идет, — сказал я, когда мы выпили по большой граненой рюмке, теперь играть поддатого скобаря было еще легче, — везет мне на даровщину...

Он только выразительно посмотрел мне в глаза. Паузу заполнила электричка.

— Знаете что-нибудь про Узлова? — спросил он.

— Счас вы расскажете, — сказал я.

— Расскажите вы, — поправил меня Коверкотовый Гость. На этот раз на нем был костюмчик серый, тонкий, шерстяной или даже шевиотовый, но коричневый коверкот, в котором он представился мне, больше ему шел, и поэтому я дал ему еще один титул.

— Рассказывать мне нечего. Я разолью ваш коньяк.

— Да, разумеется.

— Вот с коньяком лучше разумеется, а от «коленвала» мозги болят, разумеется хуже, — философски отметил я.

— Вы многое теряете, уходя от темы, — сказал он, у него было безграничное терпение. — Пейте.

— Только в компании.

Мы снова выпили. Мое напряжение спадало, его — повышалось. Я не спрашивал гостя, как он попал в запертую квартиру и что делал в ней, пока я спал; он не находил нужным объясняться.

— Алексеич, — сказал он, — деньги нужны?

— А скока? — живо спросил я.

— Сколько нужно?

— А скока не жалко?

Он вынул толстый бумажник.

— Лишние? — спросил я.

— Ну да, — подтвердил он.

— Тада оставь нам на бутылку, остальные неси на ремонт храма. Он убрал свой кошель и задумался, поглядывая на меня.

— За границей вы были когда-нибудь? — такой последовал вопрос.

— Был.

— Где, если не секрет?

— В Волосовском районе Ленинградской области был. Там у меня одна подруга жила из Бурятии. В Финляндии был по адресу: Комарово, Дом творчества ВТО имени Корчагиной-Александровской, двадцать четыре дня. В Биробиджане был, это от Хабаровска за угол направо. Также в Чимкенте побывал. Хурматли уртоклар! Чой ичамизми? Ичамиз. Хаммаси весь сахар бензин йок. В переводе на русский язык значит, что там весь автопарк чаем управляется...

— Понимаю, — сказал Васвас, — а в Австрию хотите съездить?

— В Париж хочу, — капризно сообщил я.

— Можно в Париж, — согласился он.

— С вами?

— Можно со мной.

— С вами — на край света, — преданно пообещал я. — А вы в Молёбку хотите?

— Где это? — поинтересовался он.

— А тут, километров двести...

— А там что?

— А там — посевная...

Он опять помолчал. Железные нервы были у парня.

— Я тут недавно говорил с Царевым, Михаилом Ивановичем, — снова начал он, — в Москве работать хотите?

— В Малом? — переспросил я.

— Ну, не в Большом же...

— Почему не в Большом?

— Так ведь там петь надо.

Я зашел:

— Я помню тот Ванинский порт и вид парохода угрюмый, когда мы всходили на борт, в холодные мрачные трюмы.

Он слушал серьезно, чуть наклонив голову, и тогда я, встав из-за стола и заложив руку за воображаемый борт воображаемого фрака, взял тоном выше и абсолютно дурным, но исполненным гражданственной любви к отечеству голосом исполнил:

— За столом никто у нас не Лившиц, Хайматланд дер верде дер гир шафт. Молодым везде у нас конвойный, старикам везде у нас начет...

— От Узлова песенка? — перебил он все-таки меня.

— Фольклор родимой подворотни, — отвечал я, не тушуясь, — спить слова?..

— Я ваш талант оценил, — сказал он. — Может, хватит?.. Дело ведь. Речь идет о благополучии многих людей.

Я присмирел и вернулся за стол слушать. Коверкотовый Гость сказал:

— Будем откровенны. Узлов — явление. Природно неоднозначное. Вы, может быть, первый это почувствовали. Его несоотнесенность, так сказать... Не говоря уже о социальных смыслах. О нравственных аспектах... Мы имеем дело с чем-то... неподведомственным... Мы — это Институт Теории Запаса при... Академии наук... Мы обнаружили особые связи... Имеются в виду не знакомства, а... Подключения к тривиальным объектам за гранью самой тривиальности. Кое о чем мы догадываемся. Кроме того — врубитесь, наконец! — он обнаружил некое свойство, которым заинтересовался смежный институт, обладающий еще более широкими возможностями, чем наш...

В дверь позвонили, Васвас пошел открывать, как будто я был у него гостем, а он — хозяином. В квартиру вошли Буркин и Попов.

— Ну что, не колется? — сверкнув золотым зубом, спросил Буркин.

— Рановато вы, ребята, — ворчливо заметил Васвас.

— Что время терять, — примирительно сказал Попов.

За их спинами прятался Дулегов, а вперед выдвигался здоровенный малый в грубых ботинках, стриженный ежиком, с черным дипломатом в непомерной руке.

— Неси его на диван, — сказал Буркин. Малый посмотрел на Васваса, тот развел руками: что, мол, теперь делать...

Не выпуская дипломата, малый взял меня в клещи железных рук, вынес из кухни, несмотря на бешеное сопротивление, уложил на диван лицом вниз и прижал коленом. Унижение было невыносимое, но я почему-то не кричал.

Попов держал мои руки и заглядывал в глаза. Буркин задирает рубаху. Малый удобно уселся на моей пояснице. Достав шприц и позванивающие ампулы из черного дипломата, Коверкотовый Гость сделал два укола под обе мои лопатки.

Подержав лицом в диван еще минуту, они разом отпустили меня, но встать я уже не мог, сил хватило только на то, чтобы перевернуться на спину. Так я перевернулся и стал, как майский жук, слабо помахивать ручками и ножками...

Наклонившиеся надо мной лица стали расплываться, отчаянье быстро отступало; откуда-то взялась сладкая музыка из английского кинофильма «Мост Ватерлоо», и я утратил контроль над событиями и речью.

## 69

Ни за что не отвечаю. Все, что длилось, мерещилось, проникало в меня с этого мгновенья, можно считать бредом и болезнью, потому что потом я никак не мог связать в единую картину невозможные места действия, знакомые важные рожи и их беспардонные реплики. Это был какой-то фирменный провал, края которого обозначала тупая, но докузаемая реальность.

Восстановить же порядок событий по тем несообразностям, которые стали бросаться в глаза сразу после того, как я пришел в себя, тоже никогда впоследствии не удавалось.

Скажу, однако, сосредоточив себя на попытке возвращения, что после уколов грезился мне самолет, нежное щебетанье множества красивых «Наташ», то есть стюардесс международных авиалиний; несчетные удары по лицу, слезы рабского счастья и сладостного унижения, новые пощечины и новые утешения. Туман прорезали убедительная логическая интонация фразы: «Сами же будем его кончать», имя «Игорь», «Игорёк» и его необычная модификация — «Игрек», относившееся как будто к московскому подполковнику Хлебанову, который время от времени появлялся передо мной и все одергивал ношенный смокинг на полном животе...

Хорошо помню страницу убористого текста на немецком языке с характерными именами — Гретхен, Йохан и Хомякер. Впрочем, не могу исключить, что эти имена я примешал гораздо позже, но то, что сквозь невнятицу провала пробивался острый диалог с хорошо артикулированными «ферфлюхтер», «вас ист дас» и «фатерланд», — это точно. Мне совали под нос синие и бордовые бумажки с портретами каких-то типов с бородой и в беретах, может быть, это были незнакомые деньги...

Между тем вальс «Горящие свечи» из фильма «Мост Ватерлоо», в скрипичной сладостной аранжировке, повторялся каждый раз после мордобоя. Били только меня. Били не сильно, не больно, но очень оскорбительно, одними пощечинами, и мне показалось, что я привык к ним и стал получать гнусное удовольствие от этих музыкальных гармонических оскорблений. Видимо, во мне воспитывался условный рефлекс по Павлову...

Потом возникло впечатление прыжка с парашютом — как будто вытолкнули за борт самолета, — до этого я с парашютом не прыгал и такого впечатления помнить не мог.

«Глаза развяжите», — скомандовал некто внизу, и кто-то капризно и протязно выкрикнул: «Не он, не он, что вы мне яйца морочите!..»

Время от времени, всплывая из кошмарного провала, я чувствовал, что меня снова переворачивают на живот и снова вкалывают что-то горячее под лопатки, в бедра и ягодицы. Но тут уж я не мог поручиться, что лежу на своем диване.

Не могу не упомянуть один фрагмент: я одновременно нахожусь и



в Кремле, и в тюрьме. Причем будто бы не тюрьма расположена на территории Кремля, а, наоборот, весь Кремль как-то игрушечно перенесен в большой краснокирпичный тюремный отсек. А Буркин, Кочар и близнецы в лыжных шапочках под команду Попова подбрасывают меня вверх и разбегаются, давая мне упасть и расшибиться об асфальт.

— Верующий, сука,— говорит Попов,— давай его повыше к Богу подбросим.

— Рас, двас, трис!..— и они снова подбрасывают меня и снова разбегаются...

Потом, ясно помню, синие жакеты стюардесс сменились белыми халатами, а белые халаты превратились в зеленую пятнистую полевую форму, и все жабы и лягушки вокруг восхищенно зашептали: «Дубанов, Дубанов, сам Дубанов!» И с этого момента кто-то маленький и хриплый всю дорогу спрашивал и спрашивал:

— Где Узлов, гавари, падла!.. Где Узлов? Атвичай, драчила!

«Дубанов, Дубанов, сам Дубанов!» «Скальп с его снять, а ни атпичатки пальцау!..» «Так, так, скальпировать, а ни дактилоскапировать!»— И появлялись черные коробочки для печатей, в которые совали мои вялые руки...

Я знал, что болен, что меня нарочно делают больным, чтобы узнать нечто важное для них, и я бы, конечно, не выдержал и сказал им все, что им хотелось, если бы только знал. Если бы знал!..

Но я не знал ни про Узлова, ни про то, чего им было нужно от него и меня, и только изо всех сил старался понять и запомнить подлые вопросы, изо всех сил пробовал столкнуть с себя горы душевой ваты, в которые меня погружали мускулистые болотные ублюдки.

Наконец надо мной склонились и эти, в темно-серых костюмчиках, с галстуками бордовых оттенков и вставными челюстями.

— Таварисч Бабанау — ета иво друх-шистерка, такая весч,— показал на меня один.

— Давай-завади чаварисча,— чавкнул ему в ответ Бабанов. Очевидно, это было у Бабанова.

От выпадающих и вставляемых на место челюстей, брызгающей слюны и старческой отвратной артикуляции собравшихся меня тошнило, но их реплики запомнились лучше...

— А подкурываня прыминал?

— Акакжи...

— А спрынцываня?

— Акакжи...

— А пессары, банки, прымочки?

— Акакжи...

— Пыссарии!.. Падла он, падла!.. Он руки там лазаил!..

— Акакжи...

— Рукамы и мы можим!..

Долго смеялись. Очень долго. Визгливо, с задыханием, кашлем и всхлипами. Ловили выпрыгивающие челюсти, брызгались, заправляли обратно и снова смеялись, меняя цвета костюмчиков: то синие, то серые, то коричневые; то коверкот, то шевиотик...

— Ручныи исследования — ето Боделок.

— Акакжи...

— Сам ты Боделок!

— Каренья, трауки и сё асталноя — по Боеру...

— Бейеру...

— Нет, Боеру...

— Ну их, етих немцау, таварищи...

— Конешна ну их!.. Но смешчения, выпадения и накланения все-

таки портят картину... Статистику... А Узлоу мох... можит... ета усе справлять...

— А я считаю, крест на Узлова, ну его!.. Ампутация по Лисфранку— и виздец!..

— Дурак. А бис шейки она мне не надо. На что мне тада сациализм, еси она бис шейки...

— Ну, таварисч Бабану, таварисч Бабану, вот сказал, так сказал...

Смех...

Конечно, я был не в себе, но вынес из этого подлого мусора достоверно звучащие иностранные имена: Боделок, Боер, Лисфранк. Что это такое?..

Опасный потайной смысл мерещился мне и за другими репликами, которые врезались в память, как текст абсурдистской пьески.

— Каму доверилис, фиксатому Буркину!.. Он с банкай ни справилси, с тарай налажил, навар прячит, у ниво на мокрых иканомия, так дила ни делаюца...

— Рышите далажить, рышите далажить!.. Качар, сука, весь рыгион лажаит: схему в сейфу ни диржал... Иво бис парашута нада прыгнуть... И па Лисфранку весь аппарат иму ампутировать... И Папова тожи на хутор кибитки ламать... Акакжи!..

— Считаю закрытым.

— Сё-таки прашу заслушать таварища Забродава-Фогиль. У них, у саседни области бальшии дастижения в области паховова протызиравания. Опыт прыминения зубаврачебных кресил в гиникалагических целях... И наабарот...

— Какой ето Забродав-Фогиль? «Пратез», что ли?

— Акакжи! Он самый!..

— На хутор! На хутор!

— Таварисчи, бедным нада памагать...

— Ум, честь и совисть нашей ипохи!..

— Дарагой таварисч Бабану, ждунедаждуся счасливава часа, када мы с вамя будэмо купаца у нашему у Индийскому акияну...

— Сверху, сверху спущенный... Апасный!.. Узлоу апасный!.. Все диржать пад грифом сикретная столовая номер три... Пад грифом!.. Пад грифонам... Пад графинам... Финам... Нам... Ам... Мм...

— Пива прыкажите, таварисч Бабану! Что за биатлон биспива?.. Сделайти такая адалжения, Бабан Бабанович!.. Пива хочица...

— Хатеть ни вредна!..

Смех. Аплодисменты... Все встают...

— Ну, Бабан Бабанович, скажит, так скажит...

— Голас Альт называеца, гиникафонический голас... И голас фальцет паёт бис яиц... Бис! Брава!.. Запомни ис области искуства: ис саседней области па линии «Пратеза»...

— Ты пиши, сиклетарь, фиксировай!..

— Биру слова!.. Друзя... Эх, выйдим бранитехникай к биригам! Индийскава акияна и вадрузим!.. А что?.. Хто против?..

— А то шо нада была посля Бирлина Париш брать. И Лондон!.. Забздел усатый!.. А нам апять разбех делать.

— Верна!.. А таварисчу Забродаву-Лисфранку дать звания народнава пратеза рипублика Поволжья!.. А то он в бальнице лижит, самим сабой унавожинный, ниhto ева ни подмоет... И таварисчу Дулегаву. Он зря стучит, что ли? Стараеца на нас...

— Акакжи!.. Паймаим, паймаим вашива уникума!.. Он, Бабан Бабанович, интиресный чем? У его член заместа зеркала: введет — и видит. Что, как...

— Каллигиальна рышим, каллигиальна падпишим и усем каллегам па порции кала!.. В равной степини!..

Все. Конец цитаты. Не могу больше. Самое страшное, что теперь, через двести лет после события, воспроизводя эту бредятину, я будто снова сдвигаюсь по фазе; одна реплика тянет за собой другую, и я, как в реальной хляби, тону в их слюнявом маразме...

Мой дорогой и незнакомый читатель, помни, помни и не забывай, что я напрочь не вижу себя самого в тех возмутительных обстоятельствах, не слышу, что говорил им я, и не знаю, что они из меня вытащили... Если вытащили...

Что я мог им сказать? И кто они были, чего добивались в действительности? Где происходило то реальное, что под действием насильственных уколов и неизвестных лекарств превратилось в моем затуманенном сознании в эту гнусную фантазмагорию?.. Их вайс нихт...

## 70

Полно оттягивать! Полно! Я ведь еще не сказал вам, счастливицы и прожигатели зрения, что после красно-кирпичного тюремного Кремля возник у меня перед глазами игрушечный Берлин с длинной бетонной стеной, колючей проволокой и режиссером Тузлуком в красивой эзсовской форме. Я обязан был все-таки сознаться, что белые халаты уложили меня, голого, в огромную кровать рядом с Гретхен Шульц, лишь от плеч до пояса одетой в пионерскую форму артековской разновидности, и заставили... Да, да, заставили, случили с ней, как пса, а я, гомо сапиенс и советский человек, как пес, охотно им подчинился и обнял ее за бока передними лапами, надрывно дыша, повизгивая и поглядывая за неотрывным делом по сторонам, не подбежит ли ко мне другой пес и не отнимет ли с грозным рыком песью мою ленивую добычу...

И когда я очнулся один, как пес, на своем шелудивом диване, когда преодолел тяжесть в руках и ногах, когда дополз до кухни и напилсь, лакая из-под крана беловатой хлорной воды, — тогда я и понял, что ныне же умру от стыда и грязи, если не доберусь до отца Леонида, не подставлюсь под прощающее благословение его большой белой руки, не выскажу всего, что накопилось за мое последнее горькое времечко...

Я не старался никому подражать, но не потому, что не учен ремеслу или философии. Книжки — вон они, читаны и не проданы. Я не хотел следовать выигрышным примерам, потому что главное во мне — не смеяться, не смеяться! — тупое непонимание рабочего механизма жизни, комсомольское устройство пленного мозга — это шоком не выльчишь! — нетвердая поздняя вера в Господа и неумение проникнуть туда, туда, в темную глубину колышущейся зелени, где остывает никем не найденный труп убитой перепелки. Я только чую, как к ней подбираются лесные муравьи с железными челюстями, как спускаются на тонких цирковых тросиках хищные пауки, а птица, летая душой сквозь верхние ветки, все еще смотрит, и не может оторваться, на свое умолкшее, отяжелевшее, маленькое тельце...

О!..

Мне бы только сжать события, спрессовать их теснее друг с другом, чтобы успеть и запомнить, но главное — успеть, успеть, и вот впервые, за железом коричневой дверцы, возникает неспелая надежда: кажется, я успеваю...

## 71

— Время, время, — сказал мне отец Леонид, покачав головой. — Отдышись под образами, приму, которым обещано, и стану твоей... Я сел на скамейку поодаль от храма, рядом с нищим инвалидом и

опрятной старухой, тоже нищенкой. Подать мне им было нечего, но они отнеслись ко мне благосклонно. Главное, чтобы сам не просил.

Не бойтесь. Не буду.

Сердце было занято, и молитва не шла.

Под ногами лежали мертвые; их могилы, окружавшие Всесвятскую церковь, давно сравнял с землей и закатал асфальтом строитель Мнацаканов по приказу городских начальников, и надо было еще их всех благодарить за то, что храм остался нетронутым. Слава тебе, Господи!..

Прежде здесь была окраина, позже надвинулся город, и мы равнодушно ждали автобуса на пропавшем бензином кольце, не помня об оскверненных костях богомольных предков...

Вот уже несколько лет, как на отца Леонида стали возлагать некоторые небольшие обязанности в епархии, приняв во внимание неизбежный хозяйственный опыт бывшего заведующего детской больницей. Затем его узнал и отличил, и стал приближать к себе, слабеющий физически митрополит Никодим. А в прошлом году отцу Леониду было велено оставить приход и стать полномочным секретарем уже тяжело больного главы епархии.

Я гордился им. Глупо, тщеславно гордился тем, что мой духовник делает церковную карьеру. Точно так же я гордился и одноклассником, который пошел в военное училище и стал генералом артиллерии. Почему же я не гордился капитаном пехоты Войницким из нашего класса?.. Нехорошо. Недостойно... А, может быть, я слишком строг к себе? Ведь отец Леонид был хорош и сам по себе, независимо от сана архимандрита и должности секретаря.

Вот они, вот они, неразрешимые вопросы больной совести!.. Вот плоды подлого воспитания!..

К делу! К делу...

С тех пор, как отец Леонид перешел в епархию, увидеться с ним стало гораздо сложнее: на нового секретаря свалилась груда дел и бумаг, что таить, там своя кухня, своя бюрократия, неизвестные нам тяжбы и долги.

На отца Леонида стали оказывать сильное давление партийные и прочие областные органы, так как возведение в сан и утверждение в должности было проведено с нарушением тайно установленных порядков. Он-то никогда об этом и словом не обмолвился, но слух, как ни странно, дошел до меня от наших театральных всезнающих атеистов.

Дулегов, например, сколько раз заводил со мной разговоры об отце Леониде, пытаясь разнюхать хоть что-нибудь о его характере, склонностях и не поверхностных привычках, делая при этом подлые намеки, умело провоцируя меня на срыв и скандал....

Прежде, чем я оказался на этой скамье, мне пришлось добрести до епархии и узнать, что именно сегодня отец Леонид навещает свой оставленный приход в церкви Всех Святых. Пришлось тащиться обратно, истязая себя непосильной сегодня ходьбой и в то же время радуясь наказанию плоти. В голове шумело, ноги не шли...

К отцу Леониду собиралась местная паства — грешники и грешницы Куйбышевского района, а сегодня подгребали и чужие просители в надежде на то, что здесь, в менее официальной обстановке, они добьются большего. Одна за другой шли женщины средних лет в тертых плисовках из пригорода, ухоженные старики, отчаянные инвалиды, собиратели бутылок со следами недавних побоев на заросших лицах, деревенские нарушители правил, прописанные в общежитии строителей, молодая вдова в темном сатиновом платье, скрывающая лицо красавица, художник-бородач, стремящийся создать портретную галерею всех первых лиц нашей епархии, тайный богатей Мыльников, с дорогими подношениями и явным желанием занять блат в самих небесных сфе-

рах, и я, квелый, запутавшийся мужик, привязанный к постыдному, бабьему актерскому ремеслу...

— А сам он каков из себя? — спросил отец Леонид, выслушав мои неясные сбивчивые рассказы, и я задумался. Всплыло мгновение, когда на сцене, перебив привычный диалог, Узлов резко приблизил ко мне свое отчаянное большеглазое лицо и с мукой выдохнул: «Я — пустой, пустой!» — Внешности какой? — напомнил свой вопрос исповедник.

— Если позволите, я вам его представлю...

— Представишь, хорошо, а пока скажи...

— Ну... худой... Ну... высокий... Метр семьдесят четыре... Волосы... Были короткие, потом отросли... Светлые... Он ими встряхивает... Глаза очень большие... Переменного цвета: то синие, то в зелень, то чуть ли не темно-серые... Женщинам нравится почти всем... Хромает.

— Хромает?

— Да, после операции...

— Какой операции?

— Там, кажется, сосуды... Травма и сосудистое такое заболевание...

Не помню точно названия...

— Облитерирующий эндертериит?..

— Кажется, да...

— Курить запрещали?

— Да. Запрещали. И пить тоже.

— А он курил?

— Да. И пил. Курил «Беломор»...

— А пил водку... Так... Ну, говори, говори...

— Что еще?.. Руки сильные. Ноги длинные... Не атлет, но сила чувствуется... Впрочем... Иногда бывает вял, его тянет присесть, прилечь... Но если войдет женщина, он как будто взлетает, вдохновляется... Вот... На щеках такие длинные бороздки. И ямочки под скулами... Нос прямой...

— По описанию — славянин, — сказал отец Леонид.

— Он на Жана Марэ похож немного...

— Это кто такой? — живо заинтересовался духовник. Я удивился, что он не знает.

— Это артист французский, в кино снимается, не видели?

— Положим, — неопределенно ответил он и спросил: — Добр?

— Да, да, добр, несомненно!

— Вот видишь!.. Душа чековека по природе христианка, даже если он в храм нейдет... Все же ты мне объясни, прежде чем я тебе общие места повторю, чем он на женщин влияет?.. Не стесняй себя, я ведь все-таки доктор...

— Ах, отец Леонид, тем и влияет... Он говорит: «Если у нее загиб...» — я опять споткнулся. Так же трудно было бы рассказать Осипу об отце Леониде.

— Какой загиб? — спросил он. — Ругается, пьет, говорит неправду?

— Нет... Ну, если у женщины, скажем... такой диагноз... «загиб матки»... то он этот загиб исправляет...

— А-а-а! — протянул священник и нахмурился.

— И как будто от его вмешательства исправляются загибы в судьбе. То есть он положительно влияет... И на то, и на то... За редким исключением... И передает женщине энергию... Веру в себя...

— Идейный?..

— Да, понимает, что может... После встречи им, будто, везти начинает. Одной — больше, другой — меньше, но обязательно везет. Я сам убеждался...

— Он тебе на испытание, — почему-то волнуясь, сказал отец Леонид, и я вспомнил, что эта мысль и мне приходила в голову.

Но дело было не только во мне. Священник встал с места и стал

ходить кругами, поощряя меня продолжать и в то же время думая о своем. Он снял с головы свою непрременную митру, и черные густые волосы без седины вырвались на свободу...

Освободился и я и стал передавать содержание одного моего разговора с Осипом, слегка показывая его, подражая голосу, повадкам, хромоте... Осип говоорил:

— Ладно, богомолец, попробую на твоём языке. Значит, так... Бог есть любовь, да? Любить мир, любить ближнего, всякого ближнего, завещано всем, но дано немногим, так ведь? Может быть, единицам. Или только святым... Но любовь как чувство, ну, как возможность или потребность потому и божественна, что многолика и всеохватна... Теперь другое... Мир низок, и человек распадается. Все и вся — на краю, дьявол почти победил, Армагеддон надвинулся, сам понимаешь... Чтобы спастись, чтобы отстоять человека, предстоит начинать почти заново и заново учиться любви. Всякой. К Богу. К природе. К ближнему. И к женщине... Адам был грешник? Да, скажешь ты, он был грешник, и он был изгнан из Рая. Но взгляни на него сегодняшними глазами, и ты поймешь, что Адам — почти праведник, во всю свою жизнь знавший одну женщину и любивший своих детей... Ну, не спору, грешник, но еще и труженик, и кормилец, будем справедливы, и не изменник, не развратник в нынешнем смысле слова; он и Бога боится, и любит его, как положено человеку... А как живут люди теперь?.. Видишь?.. Понимаешь?.. Следи дальше... В любви к женщине, грешной, плотской любви, есть, по-моему, два уровня: человеческий, то есть тот, который нам еще прощается священником, а через него и Богом... И дьявольский, преступный, непростительный. На этом уровне, собственно, любви уже нет, здесь что-то другое... Здесь тебе стоит присмотреться, скажем, к Лисицкому, Турину, ну, Забродову, ну, господам из баньки... Из банек... Теперь обо мне... Я, Осип Узлов, пришел с одним: с любовью к женщине... Предположи, что все мои прочие способности — просто расцветка, петушиные перья... Так тебе будет легче рассуждать... Я плохой муж, плохой отец, плохой товарищ... Не возражай, ты от меня такого больше не услышишь... Но для того я и послан, для того и нужен, чтобы здесь, внизу, в миру, уже почти безбожном, почти дьявольском, удерживать любовь к женщине на прощительном уровне, чтобы в этой любви не погасла искра Божия. Да, Божья искра!.. Красоты, добра, спасения!.. И счастья... Я тебе напомню: мужчина и женщина призваны быть отцом и матерью всего живущего, стало быть, они воплощают изначальную волю Божию о творении, так?.. Без любви нет творения... Я его и готовлю, я женщине помогаю творить... Я без страха спускаюсь вниз за каждой грешницей и поднимаю, поднимаю ее. По возможности... Ты будешь смеяться, Сержант, а я тебе скажу, что если бы князь Мышкин, которого ты так любишь, был настоящим мужиком и мог бы хоть по разу осчастливить Настасью и Аглаю, то обе они успокоились и прекрасно жили бы, одна — с Парфеном Рогожиным, а другая — с Ганькой Иволгиным... Да, осчастливил бы по разу и ушел с миром...

— Он тогда бы не был Мышкиным, — возразил я.

— Согласен, — сказал Осип, — но ты о женщинах подумай... Им-то, бабам-то, он был нужен как мужчина, а не как Христос. Христос у них был на иконах. Тут, брат, какое-то излишество у Федора Михайловича, а может быть, и кощунство, говоря на твоём языке... Иисус Христос и его отношения с Магдалиной описаны в другой книге...

— А ты, — спросил я, — ты — случай неописанный?

— Больше того, — сказал он, — я, Сержант, неописуемый... И не пробуй!..

— От скромности ты не умрешь, — заметил я.

— Да, умру не от скромности, — согласился Осип...

— Господи, Господи! — воскликнул отец Леонид, досмотрев мой

эюд. Он уже не удерживал себя в рамках исповедника. На мгновение показалось, что мы с ним — однокурсники, которых уравнил самый тяжелый экзамен. — Я и забыл о многом!.. Какая слепота!.. Какая грязь в области семьи, какая помойка!.. Неужто необоримо искушение?..

Он был почти яростен, таким я его еще не видел. Дело не в словах, его богословская логика не отличалась от канонической. Впервые на моих глазах он не скрывал боли.

— Отношения между мужчиной и женщиной должны быть согласны с волей Божией и вдохновлены Духом Святым!.. Да, банально!.. Однако, однако!.. Вместо того чтобы стать выражением Божьей любви, они стали проявлением одного себялюбия... Господи, сколько трупов живых!.. Не для блуда тело, но для Господа!.. И Господь для тела!.. — Он посмотрел мне в глаза и спросил. — Или дух спит?.. Дух спит, но он есть?..

Я молчал. Я старался не упустить ни слов, ни того, что крылось за словами, и поразился тому, что ни фразой, ни намеком он не стал осуждать Узлова, не оспорил впрямую моего исчезнувшего товарища. Отец Леонид говорил широко, мне казалось, гораздо шире моего несвязного рассказа, и боролся с невидимым врагом, утрачивая обычное равновесие. И тем становился еще ближе мне. Постепенно он возвращался к своему мирному тону.

— Неженатый заботится о Господнем, как угодить Богу. А женатый заботится о том, как угодить жене... Апостол Павел ясно сказал, что все этого рода извращения происходят от восстания человека против Господа...

И вдруг внезапной доступностью, вспыхнувшим и на глазах погашенным бешенством, пружинной пластикой сильного тела отец Леонид сам приблизился к Осипу, вызвал его образ, хотя с моей стороны кощунственно было такое уподобление. И все же на мгновение мне показалось, что передо мной — не мой духовник, а Узлов в костюме и гриме черного монаха...

— Простите меня, — сказал я. — Благословите, если можете.

Он дал мне руку для поцелуя, перекрестил неравнодушно и возложил большую белую ладонь на мою бедную голову.

— Дух спит, — сказал он, — но дух жив. В каждом. В каждом. Душа по природе христианка. Мужайся. Ты еще не все знаешь. Тебе еще предстоит искус. Терпи. Господь с тобой.

Я поднял голову и дерзко посмотрел ему в глаза. «Что же?» — спрашивал я бессловесно. Отец Леонид огорчился моей дерзостью.

— Грех есть слабость в добре, — произнес он медленно, — а злодейство есть сила во зле... Не я сказал... Ступай и думай...

Он знал, что я не успокоюсь, пока не дойду до конца.

## 72

Каким бы неисправимым грешником я себя ни чувствовал, как бы ни маялся душой до встречи с отцом Леонидом, мое положение было предпочтительнее узловского, и я не переставал думать о нем. Я знал, как спасусь и чем облегчу свою участь. Он же, неверующий и обреченный, взваливал на себя непосильные ноши.

Мало ему было изо всех нездешних сил стараться на обширной женской ниве среднерусского города, веря в свое местное мессианство; мало было чуть ли не до сорока лет слыть «девчачьим пастухом» и дудеть в рожок на всю окрестность; не хватало ему играть на провинциальной сцене и писать незаконные шедевры под космическую диктовку капризных богов и пришельцев, — ему еще захотелось проникнуть в тайны властных структур преступного общества, просмотреть

снизу доверху воровскую механику управления, движение приводных ремней от области до Кремля. Для чего?.. Я думаю, он хотел нащупать ахиллесову пяту железного робота империи. Больше я не встречал таких людей. Может быть, именно эту его личную выносливость и чуяли женщины?..

Но, может быть, и у самого Узлова было слабое место?..

Когда-то, навещая Осипа в больнице, я услышал от него о какой-то единственной ошибке, которую он допустил в любовных отношениях. Тогда я многого не знал. Но теперь, выйдя от отца Леонида, я вспомнил историю с Неличкой Солдаренковой, которую собрал по крохам: от самого героя, от свидетеля его юности Игоря Хлебанова в биатлоновой баньке, наконец, от Ольги, которая, пожив разведенкой, стала разговорчивей и терпимей к собеседникам, в том числе и ко мне...

История складывалась такая.

Семьи Узловых и Солдаренковых дружили не один десяток лет и многие тяготы войны и мира вынесли вместе. У тех и других было по четверо детей, а Осип и Неличка были младшими в семьях. Чуть ли не с пеленок их, ровесников, шутя стали называть женихом и невестой, и эта дружественная игра скоро вошла в привычку. Старшие дети один за другим отделились, а пожилые родители от легких дразнилок перешли к строительству планов о том, где будут жить будущие молодожены, и окончательно уверили друг друга, что Неличка и Осип породнят их наконец.

Она была хороша собой, весела, скромна и так же, как ее и Осипа родители, считала свою судьбу решенной.

Осип, относясь к Неличке по-братски, сначала не принимал всерьез семейных намеков, а потом с юношеской категоричностью заартачился и стал ее сторониться и избегать. Выдавая желаемое за действительное, его сопотривление в домах отнесли к тому, что Осип еще не созрел, а потому стесняется.

Оттого ли, что мальчик стал ее сторониться, оттого ли, что время пришло, Неля полюбила его со всей силой безнадежности и, ревнуя к каждой женщине, заботилась только о том, чтобы не выдать свою постоянную боль.

К выпускному вечеру молодежь стала грубить родителям, срывая на них свое раздражение. Между ними возникло отчуждение: кто же виноват во всех наших бедах, как не родители, ведь и мы сами виновники всех неудач и трагедий собственных детей...

Я-то что!.. Не это ли ждет и тебя, сынок?..

Все эти сценки и сюжеты всплывают передо мной отчетливо, хотя я не был их свидетелем и с трудом добился необходимых подробностей. Может быть, Осип, при всей его откровенности, так не любил вспоминать прошлое, что Неличка значила для него гораздо больше, чем он признавался себе?

А может быть, все дело именно во мне, в моем неистребимом стремлении всякую жизнь объяснять, исходя из прямой психологической линии: вот причина, а вот и следствие! Хотя в случае с Осипом ни логика, ни психология ничего не объясняют, зачем же я взялся рассказывать о нем? Ответа я по-прежнему дать не могу. Может быть, лишь оттого, что задача превышает мои возможности понять и объяснить...

Что дальше?..

Между Нелей и Осипом случился какой-то разговор наедине, какое-то объяснение и вспышка, может быть, даже разрыв; и самое трудное для них обоих заключалось теперь в необходимости скрыть разлад в семейной повседневности и в том, что им готовило будущее.

Соседи продолжали дружить, дети — только у всех на глазах — встречаться, из последних сил скрывая правду и вынужденно прощая пожилым родителям их простодушное злодейство.



Тут был какой-то общий тупик. Теперь и молодые заметили, как четверо стариков теряются, отводят глаза и тайно раскаиваются, не видя уже никакого выхода... Впрочем, скорее всего я сам нагнетаю драматизм, зная, чем все кончилось.

А кончилось тем, что Неля собрала в двух домашних аптечках сорок таблеток люминала, написала короткую записку о том, что просит ее простить и никого не винит в своем ужасном поступке, и, принарядившись перед сном в новую ночную сорочку с кружевом, все таблетки разом и приняла...

Ну, что тут скажешь?.. Скорая помощь, которую нет сил дожидаться, известные процедуры, в сущности, уже бесполезные, разведенные руки врача, брезентовые носилки со спящей красавицей, совершенно сломленные родители, съезд братьев и сестер того и другого семейства, похороны в начале щедрого лета, одноклассники с цветами на кладбище и русские поминки с большой водкой, на которых Осип, в сущности, еще мальчишка, приговорен обстоятельствами играть роль рокового героя и где его никто ни словом, ни взглядом старается не задеть...

## 73

Именно теперь, поговорив с исповедником, я подумал, что чувство невольной вины могло сопровождать Узлова пожизненно, и, видимо, оно же обязывало Осипа так самоотверженно откликаться на каждый женский призыв. Впрочем, это было слишком похоже на мою логику и мой нравственный императив, сам же Узлов мог напрочь забыть о юношеской вине, а ошибкой считать что-то совсем другое...

Но это все — размышления и воспоминания, а в сегодняшнем дне дело пошло к вечеру, и пора было задуматься о собственном бедственном положении.

То, что отец Леонид предрек мне новые испытания, не испугало меня. Я и сам чувствовал, что надолго меня не оставят, и эти тройные жернова могут перемолоть любого. Как бы то ни было, я ходил большими кругами по старому парку вокруг часовни Марии Египетской, невольно повторяя про себя ту фразочку из «Гамлета», которую так странно подчеркивал один питерский гастролер: «Главное — быть наготове...»

Куда угодно, только не домой, куда угодно!..

Я подошел к часовне вплотную, потрогал ее белены мощные каменные стены — они были теплы, — запрокинул голову и сквозь дубовые кроны поискал чистой голубизны. Всякому живущему предоставлена свобода воли. Кто ищет неба, пусть поднимет голову вверх. Что мы высматриваем всю жизнь у себя под ногами? Копеечку на орле?..

«Раз никто не знает, что нам предстоит, отчего не расстаться с неизвестностью заблаговременно... Главное — быть наготове...» Я, действительно, не знал и не догадывался, что меня ждет впереди. «Быть наготове», — повторял я вслух, не стыдясь прохожих, и вдруг почувствовал, что мое тело начинает незаметно вибрировать, а я ненамеренно и свободно попадаю в самую середину мощного потока, дающего блаженные возможности и новые силы...

Быть наготове. К чему? Ко всему: к вечной смерти и новой жизни, к встрече с теми, кого нет рядом, к легкому приему туманных донные сигналов...

Такое уже случалось со мною на сцене несколько раз, когда я больше обычного общался с Осипом как партнер.

Я чувствовал полное освобождение мышц и внезапную утрату управления своим поведением и речью. Вернее, это управление будто передавалось кому-то вне меня, а я оставался только для того, чтобы принять и передать мощный поток какого-то верхнего знания. Да, я

становился Исполнителем Роли не только в буквальном, но еще и в новом, оглушительном смысле, когда слово «Роль» безмерно повышало свое значение.

На сцене Осип заражал и заряжал своего счастливого партнера, соединял его с высоковольтным источником бешеной энергии. На какие-то редкие и блаженные мгновения нездешние силы будто уравнивали меня с самим Узловым, и я, так же, как и он, вместе с ним подключался к вселенскому банку текущего знания, чтобы немедленно передать его в замирающий зал. Немедленно. Потому что эту энергию и эти знания никто не мог бы удержать в себе. Удержать без передачи значило погибнуть. Может быть, так погиб Дон Гуан, прикоснувшись к руке Командора...

— Быть наготове, быть наготове, — будто бы изнутри часовни подтвердил Осип, властно изменив интонацию.

— Осип! — смело окликнул я, — Осип!..

— Скоро, сегодня, скоро, сегодня, — ответил он, привычно пользуясь тревожным и гулким каналом единственной связи. — Иди. Иди...

Я пошел, растворяясь в повторе.

Ничего больше он не сообщил словами, но я опять знал, что делать и куда спешить.

Я быстро шел, сжав зубы и понимая, что если меня остановят и спросят о каком-нибудь пустяке, я обязан буду смолчать, молчать изо всех сил, ибо неуместен окажется голос, звучащий трагическим тремоло, на будничной улице, посреди коммунальных оплат и плененных авоськами продуктов. Таким голосом можно пожалеть: «Бедный Йорик!», но нельзя отвечать, как пройти к магазину «Светлана»...

Главное — быть наготове. Повтор невозможен вне ритма. А ритм, уловленный при повторении, включает тебя в поток. Повтор, медитации, тантры...

А-а!.. Вот он, автомат на Соликамской, знакомый, единственный годный!..

Я рванулся к нему, исследуя на ходу карманы. Со мной, как на грех, не было ни одной монетки; дьявольщина! — ни меди, ни серебра. Но когда я открыл дверь стеклянной будки, мне бросилась в глаза непровалившаяся «двушка», утопленная в монетную щель. Она смотрела на меня новенькой «решкой», нагло поблескивая под солнечным лучом.

Гюзель сняла трубку, дождавшись положенного сигнала.

— Время, — сказал я, услышал ее «Да» и нажал на рычаг. «Двушка» осталась на месте, как привет очередному искателю.

Теперь я летел в узловскую комнату, и главное было — не привести за собой хвоста...

## 74

Гюзель вошла за минуту до меня и оставила дверь приоткрытой. Тоша встречал на пороге. Он посмотрел мне в глаза чистым янтарным взглядом и пошел в свой угол. Как он оказался здесь? Почему-то я знал и это.

Исчезая, Осип послал его к Гюзели, и вот уже почти полгода Тоша охранял ее от врагов и беды. Они выходили гулять только глубокой ночью, чтобы в отсутствие Осипа пес никого не убил...

Мы присели: Гюзель — на тахту, Тоша — справа, под книжной полкой, я — на стул под самым окном.

Пес заразил нас верностью и молчанием.

Здесь всегда был вечер и всегда быстро падала ночь. На стене тикали детские часы с разболтанным маятником и солнечными глазами

на круглом циферблате; маятник качался, глазки косили и подмигивали в сумерках.

Без одной минуты двенадцать в комнату вошел Иосиф Святославович Узлов и зажег свет.

Рядом с ним стояла красивая молодая женщина.

Стало совсем тесно.

— Привет, — сказал Осип, — это — Ада.

Гюзель не пошевелилась, а я встал и кивнул головой.

Тоша тоже встал.

— Это — Ада, — повторил Осип специально для него. Мне показалось, что Тоша тоже кивнул головой и вернулся на место.

— Прошу прощения, господа, — сказал Узлов, приветственно тронул Гюзель за плечо, приобнял меня и, сняв рюкзак, начал его развязывать. Я стал к Осипу боком, чтобы пропустить в тесноте красивую Аду, и она — темная шатенка с большими библейскими глазами, тонкой талией, высокой грудью и длинной шеей — перешла на мое место у окна.

Ее короткого перехода хватило на то, чтобы перехваченный мной ревнивый взгляд Гюзели срисовал ее всю.

Сев на стул, Ада не поправила юбку, а закинула ногу на ногу. Это было красивое движение, и ноги у нее были красивые. Я заметил, как у Гюзели расширились зрачки и вздрогнули губы, но она всегда была воспитанной девочкой и не позволила себе ничего лишнего.

Гюзель сидела на тахте, а рядом с ней стоял рюкзак, из которого Осип успел вынуть твердую обувную коробку фирмы «Топман» и несколько продолговатых свертков...

Оказалось, что все это — ножи, которые он, один за другим, освобождал от случайных пеленок. В коробке тоже лежали обернутые носками и носовыми платками ножи и кинжалы.

Первым показался отличный финский нож с выбрасывающимся от нажатия кнопки лезвием и удобной рукояткой черного дерева. Вторым — клейменный желтым полумесяцем турецкий убийца с коварным загибом. За ними — страшная даже на вид, похожая на сапожное шило воровская заточка. И еще один широкий самодельный зековский нож, с наборной пластмассовой держалкой.

Узлов проверил ногтем лезвие ужасного длинного пехотного тесака, который, видимо, мог быть насажен на ствол неизвестной винтовки, остался доволен им и ласково засмеялся, развернув узбекский нож из чувстской стали.

— Ана, пичок! — показал он его кому-то в окне, но за окном не было признаков жизни.

Я понял, что реплика звучала по-узбекски, так как слышал от Осипа, что в лагере вместе с ним сидело много узбеков, связанных с местным разбоем и хлопковыми делами. Я запомнил, а потом узнал и смысл этого сочетания. «Ана, пичок!» — «Вот он, нож!» — сказал Узлов по-узбекски, грозя прячущимся в окне врагам.

В движениях Осипа было странное спокойствие и твердая уверенность в единственно верной последовательности действий.

Ада смотрела на него почти замороженно и в то же время равнодушно. На нас с Гюзелью она просто не обращала внимания.

А Осип между делом переглядывался с Тошей. Они соскучились друг по другу, но выражали это совсем скупю.

В затянувшейся паузе перед нашими глазами появилась целая коллекция холодного оружия, и каждый экспонат Узлов осматривал, проверял, полировал тряпицами и приводил в боевое состояние. Затем он стал раскладывать весь набор так, чтобы при всяком движении и повороте у него под рукой был бы нож или кинжал. Богатства, наверно,

хватило бы на целый разведвзвод, идущий в тыл врага, но у меня рот не раскрывался прямо спросить, откуда и зачем все это.

Слишком долго мы не виделись.

Слишком я устал без него.

— Так, — сказал, наконец, Узлов. — Рад был повидать вас, ребята. Надеюсь, у вас все хорошо?..

Гюзель молча заплакала.

Я промолчал.

Ада, отвернувшись, смотрела в черное окно.

Тоша не отрывал глаз от Осипа.

Тогда Узлов сунул «пичок» за широкий кожаный пояс, продетый в потасканные джинсы; финский нож уместил в правый передний карман; заточку пристроил в задний.

— Мотайте отсюда, — сказал он, протягивая мне отличный охотничий нож, — мотайте, ребята, в темпе!.. Привет родителям.

Я не знал, что сказать, и, приняв неожиданный подарок, спрятал его в брючный карман.

Гюзель встала с тахты, я заметил, что Ада окинула ее мгновенным взором и снова отвернулась к черному окну.

— «А первая пуля, а первая пуля, а первая пу-у-уля ранила меня, — еле слышно напевал Узлов, весело поглядывая то на меня, то на Гюзель, — А вторая пуля, а вторая пуля, а вторая пу-у-уля попала...» Дурачки, вот дурачки!..

Последнее он объяснил Тоше про нас с Гюзелью. Ады ничего не касалось.

— Всем привет... Отцу Леониду — в отдельности... Двигайте.

Я стоял столбом рядом с ним. Я знал, что в последний раз стою с ним рядом. Если ему грозит смерть, думал я, как я могу уйти? А если ему грозит любовь, как мы можем остаться? Но любовь и опасность не оставляли его ни на миг.

Тоша решительно повернул назад и уселся в своем углу.

— Парень, — сказал ему Узлов, — ты пойдешь с ними, понял?

Тоша положил голову на лапы и закрыл глаза.

— Ты пойдешь с ними, Тоша, — твердо повторил Узлов. — Встать.

Тоша встал.

— Живым я им не дамся. Понял?

Пес моргнул. Он понял.

Что-то было узнаваемое в этой сцене, я будто заранее знал ее до конца, но Осип твердо решил уберечь нас от финала.

— Хорошо, — сказала Гюзель, — мы уходим.

И вышла.

Тоша двинулся за ней.

Они тесно прошли между мной и Узловым.

Я замялся. Хотел пожать ему руку, что-то спросить или сказать, но понял, что все это лишнее, и я ничем не должен подчеркивать прощания.

За моей спиной щелкнул замок.

## 75

До середины следующего дня я не имел новостей и, полный предательских надежд на лучшее, вспоминал смешные случаи с участием Узлова. Для Гюзели. Чтобы не оставлять одну. Чтобы отвлечь. Еще для чего-то...

Вот дурак-то!.. А впрочем...

Иной раз ведешь себя так, что уже через час становится стыдно умственного затмения и душевной тупости. Но пройдет время, и начи-

наешь понимать, что это Бог тебе подсказал действовать не попад, что Он еще дальше заглядывал, а в тот раз и нельзя было тебе вести себя по-другому...

Я провожал ее домой, стараясь идти помедленнее, и еще не догадывался, что играю юродивого.

Тоша был в своих мыслях, но иногда заставлял нас остановиться и оглядывался назад.

Гюзель старалась быть очень внимательной ко мне и моим монологам...

О чем я, суетливый, вспоминал в тот день?..

Лепили пельмени...

Это было еще когда Узлов жил с Ольгой, а Турин был настолько им увлечен, что пробовал дружить домами. В тот раз в городе проходила лингвистическая конференция (у нас иногда проводили разные безобидные мероприятия; вот, мол, середина России, а какой достойный уровень советской науки и культуры в глубинке, позовут болгарина или чеха из выпускников МГУ — вот вам и международная конференция), и Турин пригласил делегатов на пельмени в дом своего ведущего артиста...

Я помогал Осипу лепить, потому что Ольга...

Ольга, напомним вам, была странным существом: актрисой она себя не считала, хотя и числилась в труппе и ходила в массовки, праздников не признавала, готовить не умела, есть не любила. И вина не пила. Не знаю, за что Осип считал ее святой женщиной, так я этого и не понял до конца. Только курила...

Турин привел с собой столичных лингвистов, среди которых был известный санскритолог Бергман-заде, востоковед Грязневский, кандидат наук Ванда, не помню ее фамилии, и другие представители гуманитарного знания. Несмотря на то, что посиделки предполагались сугубо интеллектуальные и мы приготовили к вечеру много водки, они тоже притащили с собой изрядную выпивку, в том числе вьетнамскую рисовую, ужасную дрянь.

Узлов был всегда жадно заинтересован в свежих людях и любопытствовал по поводу известных только понаслышке наук, но Бергман-заде уже входя допустил рассеянную бестактность, подчеркнув, что его известная всем санскритологам мира нога впервые переступает порожек актерского дома, и тут же дико удивившись наличию в доме книжных полок.

— Смотрите — книги! — с детской непосредственностью воскликнул бледнолицый.

Узлов включился мгновенно. Прежде всего он заржал самодовольным, грубоватым, клоунски заразительным смехом, как будто ему удался заранее задуманный розыгрыш. А потом, прикрыв рот ладонью и снизив голос, стал громко шептать на ухо санскритологу:

— Во!.. Не книги это. По секрету сознаюсь. Это — одни корешки, как на сцене. Это такая у нас декорация, гы-гы-гы, Колька-макетчик делает, вам заказать? — и он продолжал играть полного дебила: заискивать перед учеными, переспрашивать, что значит «санскритолог», причем долго не мог выговорить этого слова, вставлял дурацкие реплики, заглядывал гостям в глаза, без конца ржал дурацким хохотом, бацал чечетку и снова нес ахиною с таким серьезным видом, что гости были вынуждены отвечать ему всерьез, и в конце концов превратил их всех, а особенно знаменитого санскритолога, в растерянных обезьян. Никто, включая Виталия Авдеевича Турина, не мог его остановить.

— Я вырос, конечно, среди ветвей и деревьев, — рассказывал Осип, — и если б не женщины вблизи, не кандидаты наук, то я показал бы вам, товарищи ученые, одну свою редкую особенность, а именно рудимент кобчикового хвоста... А теперь споем «Червоны маки»!

И он дурным голосом запевал «Червоны маки»...

Это было настолько смешно, что я упал со стула, буквально упал, а Осип так напоил участников научной конференции, что Турину пришлось вызывать театральный автобус и мы среди ночи на руках выносили во двор надежды отечественной лингвистики.

Конечно же, Узлов поехал их провожать, потому что с ними была, повторяю, красивая полька из Вильнюса по имени Ванда, синеглазая и белокурая, которая тоже много смеялась, почему-то сразу раскусив, в чем дело, и, конечно же, Осип с Вандой в итоге оказались на моем диване, а я остаток ночи вдыхал бензиновое амбре в гараже любимого театра...

Между прочим, история с Вандой имела продолжение, когда мы через пару лет приехали на летние гастроли в Вильнюс. Оказывается, Узлов послал ей открытку о том, что летом окажется в Литве. Ванда ответила, что рада будет его повидать, и как бы между прочим сообщила, что вышла замуж.

— Ну, это нам не помеха, — бодро прокомментировал ее ответ Осип.

Мы успели расселиться в скромной гостинице и тут же всей труппой сгрудились у ее входа, так как гостеприимные в то время литовцы обязались немедленно показать нам свою древнюю столицу.

Узлов, как всегда, прозевал новости общественной жизни и, нетерпеливо позвонив своей польско-литовской красавице, просил ее прийти ко входу в гостиницу в это же самое время.

И вот, вообразите, у подъезда стоит наша театральная орда в ожидании автобуса. Из гостиницы, прихрамывая, выходит свежесбри-тый, сияющий Узлов в накрахмаленной светло-голубой рубашке без галстука, а навстречу ему идет через улицу длинноногая, румяная, золотоволосая, рекламно красивая полька Ванда с таким огромным животом, в котором готовятся к скорому выходу на сцену по меньшей мере двое, если не трое, полновесных младенцев, как выяснилось позже, здоровой, удачно смешанной польско-литовской крови.

И что бы вы подумали? Узлов, как ни в чем не бывало, у всех на глазах картинно предлагает ей руку и ведет, не оглядываясь, по узкой, загранично начищенной вильнюсской улице. Наши только рты пораскрывали, и только Ленка Глухова, не выдержав, сказала в обалденной тишине:

— Ну, Оська, вот змей! Не успели приехать, а его уже беременные на девятом месяце встречают.

Да, смешные случаи он любил рассказывать и был при этом совершенно беспощаден к себе...

Или вот еще история, когда нас вместе с Осипом пригласили на свадьбу люди из окружения Буркина.

Выдавали чью-то перезрелую дочку, и я этих людей не очень-то и запомнил, потому что приглашение было случайное: просто нас увидели в компании с фиксатом, подумали, что мы важные господа, и быстро позвали на всякий случай. А мы заявили туда только потому, что неделю сидели без денег и отлично нагуляли аппетит.

Самое интересное было в перерыве после речей, кино съемки и холодных закусок, на курительной лестнице в Доме свадебных торжеств.

Мы стоим на этой лестнице в окружении абсолютно незнакомых упитанных молодцов из областного управления торговли (Буркин всегда их выпасал и курировал), стоим и думаем, что хорошо бы выкурить по «Беломорине» (у нас и курево кончилось). «Беломора», естественно, ни у кого из них не нашлось, зато потянулись к нам с «Кэмелом», «Пелл-Меллом», «Уинстоном», в ту пору еще редкими у нас, предложили также «Герцеговину-Флор», а один вынул коробку

«Казбека», гордясь своим патриотизмом в стиле «ретро» и особой изысканностью. Тут и разговорились.

«КАЗБЕК». Пых-пых-пых... Да... Сватба... Пых-пых-пых... Маладес... Пых-пых-пых... (Осипу.) А у вас дача игде?..

ОСИП (неспешно). Пых-пых-пых... А у меня дачи нет... Пых-пых-пых...

Пауза.

Я курю «Казбек», Узлов «Герцеговину-Флор».

«КЭМЕЛ». Ппух-ппух-ппух... Ага... Ппух-ппух-ппух... А у вас... (Мне и Осипу.)... машина какая — «Волга» или «Победа»?.. Ппух-ппух...

ОСИП. У меня машины нет. Пых-пых-пых... (Показывая на меня.) И у него нет... Ппух-ппух-ппух...

Пауза. Все курят.

ВСЕ. Ппых-ппух-ппах... ппух-ппах-ппыхпых... Ффу-у...

«ГЕРЦЕГОВИНА-ФЛОР» (Осипу). Шутите?..

ОСИП. Нет... Ппых... Зачем?

«ПЕЛЛ-МЕЛЛ». Хы-хы!.. Пах-пух... Шутники!.. Ху-ху...

Я (вмешиваясь). Пых-пых... Ребята, у него свой самолет... Ффу-у... На что ему «Волга»?.. Пых-пых-пых... И танк свой... Пых-да?.. «Победа» ему на что?..

«УИНСТОН». Ха-ха-ха-ха!.. Ну, молодец!.. Пух-пах!.. (Общий смех.)

Я (продолжая в том же тоне). Кроме шуток, ребята... Пых-пых-пых... Кроме шуток... (Смех постепенно смолкает.) Это ж — Узлов, слышали?.. Пых... У него охота в Африке, купанье в Индийском океане... Пых-пых-пых... Пишите заявки...

ОСИП («Казбеку»). Тебе в субботу годится?.. Ппых-ппых... Сережа, возьми адрес, пришлем вертолет... До аэродрома... («Казбеку») Не затрухаешь?..

«КАЗБЕК» (растерянно). Спасип... (Мне.) Шутнык, да?..

Я (строго). Какие шутки?.. Узлова не знаете?.. Это ж сам Узлов...

А однажды, уезжая на съемку, он с видом заговорщика продиктовал мне один заговор... Ну, такой мужской, вернее, мушчинский заговор...

— Если к тебе Анна заглянет или кто другой из интересных девушек, а ты, Сержант, засомневаешься в успехе, выдь на кухню и пошепчи, моими молитвами укрепишься... Давай, записывай!.. Станешь гигантом...

Смеялся он надо мной, что ли? Я ответил в шутку:

— Давай, диктуй, я Лисицкому подарю.

— Ну, нетушки! — Он чуть ли не обиделся. — Тебе. Будешь писать? Тебе или никому!..

— Диктуй, диктуй, — сказал я и подумал, что ему самому вряд ли нужны были заговоры...

— Есть гора костяна. На горе стул костян. На стуле костяном сидит царь костян, подпершись костью костью: шляпа на главы костяна, рукавицы на руках костяны и сапоги на ногах костяны. И весь тот царь костян, и все семьдесят три жилы костяны, и станова жила кость. Так бы и меня, раба Божия Сирёжия, все семьдесят три жилы и все семьдесят три сустава были костяны, и вся станова жила была бы костяна, и стояла бы она на жуче сто раз и тысячу на подстрекание, на малое место, на женскую нифцу и девичью: на черную, на русую, на красную, на белую и на всякую — месяца молода и ветха, и на перекройных днях...

Впрочем, про этот заговор я Гюзели не рассказывал, как сами понимаете, а только вспомнил и, простившись с ней у ее дома, снова стал мучиться: возвращаться ли к Осипу или ползти в свою нору.

Конечно, увести оттуда Гюзель нужно было при всех обстоятельствах, но как мне поступить теперь?

«На помощь, на помощь! — вскипал и булькал во мне романтический герой. — Пусть злодеи пришьют тебя на месте, но ты обнажишь рядом с другом свой короткий клинок (тут имелся в виду охотничий нож, подаренный мне на прощание Осипом), и совесть твоя окажется чиста, а верность — безупречна!»

Но тут вмешивался простак и издевательским тоном задавал мне гнусные вопросы: «А не преувеличиваешь ли ты смертельную опасность? И не собираешься ли стоять «на стороже» под дверью красивых любовников Осипа и Ады?»

Не трудно было также вообразить циничскую эскападу Узлова, мол, не рвусь ли я третьим в их новоявленный дуэт и что собираюсь делать всю ночь в коммунальном коридоре...

Я понимал, что какое бы из двух решений я сейчас ни принял, как бы я ни поступил, в будущем у меня окажется достаточно причин для того, чтобы проклинать себя за неверный выбор.

В ту ночь я навсегда умертвил в себе романтического героя и дал победить осторожному простаку. Я залег на диван и, чтобы умерить нервную дрожь, поочередно укрывался сперва только зеленым пледом, потом — сверху — цветастым ситцевым ватным одеялом, потом — еще и зимним пальто. Но в тяжелый беспмятный сон я сумел провалиться только на звонком рассвете, как раз тогда, когда под дулом милицейского нагана истекал гениальной кровью Осип Узлов.

## 76

Существует ли человек в одной фактографии, без своей легенды и тайны? Неумолимо приближаясь к прощанию с избранным читателем, я все больше склоняюсь к согласию с литературным другом, давшим мне первые наставления: не существует.

Есть особая выразительность в кадровой анкете, вопросы которой составлены, кажется, самим временем. Но даже и кадровик-профессионал, мелкий камешек вознесенной до небес тиранической пирамиды, усадив через суровый стол напротив сияющего окна искателя постоянной зарплаты, даже этот чистый чиновник одним глазом ласкает «вопросный листок», а другим косит в живое лицо да еще и справляется у телефонной трубки о соответствиях типографской графы и рукописного признания: как бы не ошибиться!..

Однако и легенда, и тайна возникают впервые с легким дымком конкретного слуха, любопытного сообщения, секретного известия, и уже от самого героя зависит начисто развеять его или заставить клубиться тяжелым долговременным облаком.

Первый слух об Узлове был достаточно прагматичен: говорили, что этот хороший артист балуется живописью и специализируется по женским недомоганиям, но денег не берет, а лечит из одной любви к слабому полу и древней медицине. Потом Лена Глухова зачитала подружкам письмо из забродовского театра о том, что всемогущий Иосиф не только хорош собой, но и каким-то одному ему доступным способом сшибает замки фригидной неполноценности, восстанавливает способности к деторождению, изгоняет бесовство, исправляет смещения, снимает опасные опухоли и болезненные фибромы, а главное — учит бездарных тому, о чем не прочтешь в наших книгах, то есть технике любви.

В письме приводились краткие, но убедительные примеры о Люсе П., Алине Э., Зинаиде С., Клавушке Беловой, Светлане Г., Натаниэлле А., а также о женах Забродова, Волосянко (профсоюз культуры) и первого секретаря райкома КПСС Лазуркина...



И хотя при ближайшем рассмотрении, то есть по приезде Узлова, постепенно выяснилось, что он и трав не варил, и иголками не колол, и настоящего массажа не делал, когда стало ясно, что он сурово отвергает наиболее настырных и обеспеченных, но первые же его пациентки, начиная с дочки генерала Горжикова, — она сама, то есть Таисия Г., Лариса М., Лида П., Ася К., Любаша из реквизиторского, сестры-близнецы Зоя и Фаина Кубовы и остальные, без счета и регистрации, вместо внятных рассказов о том, что же с ними случилось, стали делать большие глаза, вертеть шеями, потрясенно разводить руками, изображая что-то необъяснимое, непомерное и особенное, от чего и пошла расти узловская легенда. Понять можно было только одно: Осип безо всякого зеркала буквально видел все уголки и тайны волшебного женского устройства и, кроме простого лечения, дарил женщинам мгновения земного счастья и выигрышное изменение личной судьбы...

Завершили создание легендарного образа случай с радиожурналисткой Жанной Морзянко и третьим идеологическим секретарем областного комитета партии Азой Тимофеевной Парамоновой.

Журналистка вошла в гримуборную еще незнакомого ей Осипа Узлова сразу же после премьеры, чтобы взять первое интервью; товарищи оставили их одних, и буквально через две минуты после того, как за ней закрылась дверь, оттуда вместо магнитофонной тишины донеслись ее удивленные возгласы и тут же — вздохи, стоны и восклицания, не оставляющие никаких сомнений в том, что это — внезапная, но подлинная эротическая страсть...

С Парамоновой вышло иначе. На официальном ноябрьском торжестве в горисполкоме, куда Турин взял с собой Осипа, он оказался напротив Азы и, дергая рюмку за рюмкой, время от времени испытующе поглядывал на нее. Аза Парамонова с неприступным видом, в свою очередь, презрительно оценивала нового героя местного театра и отворачивалась, не отмечая привычного ей подобострастия. Через некоторое время Узлов, не делая секрета из своих наблюдений, обратился к ней через праздничный стол:

— Мадам, — сказал он вкусным голосом, — вы действительно красивая женщина, но вас неправильно берут. — Вы, конечно, понимаете, что я употребляю не тот глагол, которым воспользовался Осип.

Скандал постарались замять, но не прошло и полугода, как Узлов рассказывал мне в картинах о том, каким образом Аза Тимофеевна пыталась его изнасиловать в скором поезде Симферополь—Москва...

Теперь, через много лет, испытав то, что я испытал, я могу и должен восстановить не столько легендарный, сколько объективный образ героя местного времени. Теперь, как в школьном сочинении, я обязываю себя перечислить и некоторые отрицательные его черты. Но так же, как тогда, меня сплит его свобода, и я подсознательно продолжаю бороться за честь и достоинство моего беспронятого друга...

Да, был от Узлова и вред, и смятение, и нездоровье. И как раз тем, кто относился к нему нежнее и бескорытнее других. О потребительницах что говорить! Те получали свое и отваливались в сторону. А истинно любящие, Клавушка Белова, например... Разве она не перенесла два тяжелых аборта, взяв на душу страшные и несмыаемые грехи? И разве по тому же поводу не рвали железным скребком беззащитную нежную плоть моей татарской музы?..

Любовь, которую внушал Осип Узлов, сжигала мосты женской осторожности. Да и опыт для самосбережения нужен был другой. Впрочем, я не верю в опытность любви. Тут либо одно, либо другое. По мне, настоящая любовь всегда неопытна, а всякое участие опыта свидетельствует в пользу разврата. О жертвах своих подумал ли Узлов? Нет. Однако если бы и подумал, то перестал бы быть самим собой. Это был бы я, а не Осип...

Да, да, не спорю, эта Кариночка из гримерного цеха, которую потом выгнали из театра, и этот пенсионер, слюнявый мерзавец, пустивший их в свою комнату, и участие в сценах его чудовищного пятнистого дога, а потом — донос, ужас, ужас!..

Да, помню и случаи с рукоприкладством, и кривые отношения с еврейкой Изольдой Медлицкой не отрицаю.. Но это все — не главное в нем, боковое, это — неизбежная карамазовщина актерского образца, за которую сполна заплачено болью и кровью...

## 77

Вы скажете, что держать женщину под ножами куда как нехорошо и последняя смерть Узлова вовсе не героична и не красива.

Согласен.

Частично.

Но, во-первых, некоторые медики до сих пор утверждают, что это было проявлением психического расстройства, разберитесь сначала. А во-вторых, нужно все-таки понимать, в каких общих условиях протекла его жизнь и совершалась смерть.

Тот, кто прислан с высоким поручением, рано или поздно выдает себя. Тот, кто поднял голову над всеобщей равниной серости, уже одним этим задевает серые вершки. Тот, кто бессмертен, должен сперва умереть...

Узлов узнал все, в том числе самое тайное, и его приговорили. Его искали, чтобы наказать и отомстить, и он хорошо понимал, что именно проделали бы с его новинкой Адой и с ним самим, сдайся он на враждебную немилость. Повторяю, он слишком хорошо знал, с кем повелся и с кем придется иметь последнее дело. Моралистам нужно бы еще более вникнуть в уголовные обстоятельства и вообразить следственные эксперименты эсэсовца Попова и фиксатого пахана Буркина, я уже не говорю о главных московских костоправах или наших близнецах в лыжных шапочках. Уж эти детки поинтересовались бы, что там, внутри, у новых игрушек...

Жизнь перемалывает всех: красивых женщин и их героев, режиссеров, парторгов и даже наших детей. Это только нам небезразлично, какая именно жизнь перемалывает именно нас — социалистическая, республиканская, областная или закулисная. А ей все равно, кого и как перемалывать. Боже мой, сколько безразличия у этой бесстыжей мясорубки!.. Мне жаль вас, потому что скоро и вы узнаете, каково это. Переживая за нас — Осипа и меня, — вы незаметно приблизитесь к собственному тесному жерлу и задумаетесь о том, о чем думать не привыкли. Вот я щажу, щажу вас напоследок, чтобы дать вам собраться с силами, а надо бы просто позвать к Всесвятскому собору на воскресную проповедь отца Леонида...

— С плотскими страстями, брате мой, надлежит бороться своим особым способом, чем с прочими... Иное должно тебе делать прежде искушения, иное во время искушения и иное после прекращения его... И «не имй веры врагу твоему во веки», как сказал премудрый Сирах...

Я хочу осудить себя, а не Осипа, потому что держу перед собой свою вину перед ним...

Когда его выписали из больницы и он уже в который раз пришел в театр, в нашу... в свою гримборную...

— Извини, — сказал он мне, ковыляя к рукомойнику, — я сюда пописаю, а то нога болит. — И открыл кран, вода потекла...

— Как тебе не стыдно! — взвился я, как будто шмель меня ужалил. — Пять шагов до туалета!.. Довести, что ли?.. — Хорошо еще, что не выговорил своей банальности о том, как святы театральные стены...

— Возражаешь, — вздохнул Узлов, внимательно посмотрел мне в глаза, еще раз с глубоким всхлипом, по-детски, в три приема втянул в себя воздух и, отменив намеченное, шагнул к двери. Секунду он стоял спиной ко мне, тяжело перевалился через порог.

Мне стало больно за него и стыдно за себя, а он как будто почувствовал это, вернулся, сунул голову в приоткрытую дверь и, глядя на меня с добродушной насмешкой, объявил:

— Только покойник не льет в рукомойник, — и снова исчез за дверью...

— Бегай же, брате мой, этого огня, потому что ты — порох...

## 78

До тех пор, пока не выйдут на волю эти мои записки, никто не узнает, что мы с Гюзелью дважды видели Узлова: тогда, после слухов о его смерти в Москве, и теперь, когда он появился дома с ножами и незнакомкой Адой. Признаться в то время было самоубийственно: нас пережевывали бы следствие и суд, мы были слишком безответны и удобны для роли виноватых. А теперь наши свидетельства не слишком много добавляют к забытым картинам: по воле Осипа мы не являемся очевидцами следующей сцены и так же, как большинство современников, вынуждены лишь представлять себе чужие описания. Но, в отличие от остальных, мы видели Аду своими глазами и знали, что пес успел еще раз повидаться с Узловым...

За Осипом пришли на рассвете, однако еще ночью соседи услышали женские выкрики. Они затруднились определить, были ли это сначала стоны любви или сразу — ужаса. Но от ближних дверей до самых дальних постепенно успокоилась вся коммуналка.

Я убежден, что Узлов знал заранее о том, что окончательно загнан и окружен: водосточная труба, по которой он проникал в комнатушку в прошлый раз, оказалась разобранной, а скобы, на которых она держалась, исчезли. Его обложили с двух сторон и ждали за окном и под дверью.

Больше того, мне совершенно ясно, что в нашем городе и в своей комнатухе Осип появился именно оттого, что преследователи отрезали ему остальные пути.

Второй визит Коверкотового Гостя со смешанной бригадой наших и московских следопытов подсказывал, что в Москве Узлова уже нет и они загоняют его в угол: там, где действие началось, оно должно было и завершиться. Слишком красноречивой была дважды повторенная Осипом реплика: «Живым я не дам», — которую, оказывается, слышали не только мы, но после нас еще и соседи, и психиатр, и группа захвата.

Да, психиатр, и тут без него не обошлось, он присутствовал с ночи.

Услышав женские крики, ближайшие соседи будто бы торкнулись к Осипу, он их послал подальше, Ада опять закричала, и тогда один сосед, ветеран бессонного тыла, позвонил в «Скорую помощь». Его точно отпасовали к специализированной психоневрологической бригаде.

Реплика Ады: «Спасите! Он меня убьет!» — и ответ Осипа: «Живым не дам. И ее не дам», — по версии следователя предшествовали вызову. Я же глубоко убежден, что все это было подстроено заранее и разыграно как по нотам. Иначе участковый психиатр не порол бы ахиною насчет «белой горячки» и нервной усталости Узлова от съемок криминального детектива...

Многие были заинтересованы в том, чтобы спутать карты и гнусные обстоятельства действительности выдать за киносценарий, в котором «ради денег» снимался корыстный Узлов. Больше того, впоследствии возникла версия — дознаватель умело организовал утечку информа-

ции, — что участковый психиатр Кузьмцов был чуть ли не приятелем Осипа и давно уже следил за развитием болезни, вызванной неумеренным пьянством — да, да! — и повышенной сексуальной возбудимостью Узлова. Такие версии легко внедряются в общественное сознание: раз артист, значит, во-первых, пьяница, а во-вторых, егерь...

Я вполне сознательно сообщаю вам вместе со своими и чужие домыслы. Ваше дело, что именно принимать на веру, а что отвергать...

Психиатр долго упрашивал Осипа открыть дверь, отпустить женщину и побеседовать с ним, с Кузьмцовым, по-дружески. Но Узлов, якобы приставив Аде нож к горлу, потребовал от наемного лекаря убраться и увести за собой «всю кодлу», иначе...

И вот будто бы только после этой, уже очевидной для психиатра, угрозы тот стал звонить в милицию и вызывать группу захвата: женщине грозила насильственная смерть, а ему, Кузьмцову, судебное преследование за нарушение клятвы Гиппократова и «недонесение». Таким образом, оставить их в покое, находясь при исполнении, Кузьмцов никак не мог.

Тут у них никак не сходится. Ну, хотя бы то, что психиатр оказался, с одной стороны, участковым и чуть ли не приятелем, а с другой — вызванным по «Скорой помощи». Слишком удачно совпадало его ночное дежурство с обозначенным «приятельством» и заполненной задним числом историей болезни Осипа.

Я никогда не мог понять, откуда именно взялась на этот случай красавица Ада, потому что силы наружного вредительства делали все, чтобы ни имя ее, ни роль во всей истории не расследовались. Думаю только, что Узлов извлек ее из каких-то неслыханно высоких сфер, слишком она была хороша и неприложима к нашей обстановке. Следователь ограничился констатацией того, что «пострадавшая» была работником съемочной группы упомянутого детектива, в котором И. С. Узлов играл заглавную роль.

Позже я стал относить на счет красавицы Ады чуть ли не всю большую суету, волнами распространявшуюся от Москвы и захватившую наш обком, милицию и областную психиатрию. Болезненно и напряженно пытаюсь снова представить себе ее необычное лицо и модельную фигуру, я тщился догадаться, какие тайные женские проблемы могли заставить старательных посредников сначала ее с Осипом свести, а потом, испугавшись, изо всех сил растаскивать в разные стороны.

Однако ошибкой было бы и преувеличивать роковую роль Ады, потому что у Института Теории Запаса, МВД или других озабоченных структур были свои мотивы искать и преследовать Осипа...

Группа захвата была то ли не в полном составе, то ли разделилась. У двери работали двое вместо троих. Может быть, у них действительно был некомплект, а может быть, третий страховал со стороны окна. Московские спецы не могли не учесть возможности уйти из комнатухи через окно во двор или по крышам...

С течением обратного времени я стал понимать, что и это — липа. Не могли участвовать в такой операции только двое или даже трое специалистов. Василий Васильевич Коверкот был в городе; замечен был в то утро у Осипова дома и Петя Алейников, и черный «ЗИМ» с запрельными номерами, и незнакомые роботы в гражданской одежде.

Но версия следователя заучивалась просто, как песенка с припевом: соседи по квартире, дежурный психиатр и группа захвата в составе двух человек...

Когда Чураков и Замотин ломали дверной замок и дернули на себя прочную дверку, они увидели, что Узлов стоит на фоне окна, прижимая к себе Аду и держа один нож у нее под сердцем, а другой — у горла. Об этом же свидетельствовали соседи и шельма Кузьмцов.

После обмена репликами — Чураков: «Бросай оружие!»; Осип:

«Назад» (при этом оба спеца присели на полусогнутых, направив на Узлова две «дуры», которые каждый из них держал двумя руками) — снова дико закричала роковая женщина, потому что оба ножа в руках Узлова успели оцарапать ей кожу (платье тоже оказалось рассеченным в области... ну, под грудью), и совсем уже истошно заорали свидетельницы из коммуналки.

Мизансцена переменялась: Узлов перебросил свою заложницу ближе к подоконнику и заслонил собой, продолжая держать ножи наготове. Если бы парни из группы захвата принялись бороться с Осипом, он, чего доброго, мог заиграться и впрямь пустить в ход холодное оружие. Поэтому они и чувствовали себя одуроченными: ни силу, ни пистолеты применить не удавалось.

А тут еще соседи, которых никак было не разогнать по своим щелям, а тут еще их бесконечные советы и попытки урезонить то Узлова, то Замотина с Чураковым, а тут еще уходящее время и общая нетипичность протокольного происшествия.

На таком фоне и возникла сержантская самодеятельность: от неуверенности или от природной глупости Чураков шепотом предложил Замотину сходить за доской и вмазать ею Узлову по голове. По его расчету, Узлов от неожиданности должен был отпустить Аду, а они оба вклинились бы между нею и Осипом, благо они в бронежилетах и ножиком их не возьмешь. Сказано — сделано. Замотин действительно раздобыл в квартире не слишком длинную доску; надо вспомнить, что узловская комнатуха имела площадью шесть квадратных метров, и от двери до окна — метра три, не больше.

Теперь смотрите: эти стоят в дверях со своей доской, Узлов с Адой у окна. Тахта — от двери налево, полка с книгами и кресло — справа. Чураков полагал, что если Осипа ударить по голове, он отпустит заложницу, а она кинется к своим спасителям прямо в дверь. Но вышло не совсем так.

Замотин ударил довольно сильно. Осип и впрямь отпустил Аду, и она кинулась от него, но не в дверь, а на тахту, в угол. Узлов почти в то же мгновение пришел в себя и прыгнул за ней, снова обхватив ее двумя руками и закрывая от спецназовцев собой. Теперь они лежали на тахте на расстоянии протянутой руки от выполняющих захват специалистов...

Здесь я переведу дыхание. Нужно быть полными кретинами или выполнять чей-то беспощадный приказ, чтобы поступить так, как поступили оправданные впоследствии сержанты.

Чураков пробормотал свои предупреждения о том, что, если Узлов не отпустит «деушку», ему придется стрелять, выматерил соседей и сделал предупредительный выстрел в потолок, предварительно справившись, нет ли над ними еще одного этажа.

Узлов не отпускал женщину и требовал свободы.

Тогда Чураков отдал Замотину свой уже опробованный пистолет и велел стрелять Осипу по ногам.

Ада перестала кричать.

Замотин выстрелил Осипу в левую икру. Стрелял он почти в упор, но Узлов никак не отреагировал на первую рану...

«А первая пуля, а первая пуля...»

Тогда выматерился Замотин и сказал, что теперь пускай стреляет Чураков.

Чураков взял у него свой пистолет, повел дулом выше по ноге и произвел выстрел.

Узлов вздрогнул, но остался лежать в той же позе.

Пошло его последнее время.

«А вторая пуля, а вторая пуля...»

Вторая пуля, согласно протоколу медицинской экспертизы, попала в артерию, и Осип стал истекать кровью.

Он бледнел на глазах своих расстрельщиков и постепенно ослаблял хватку.

Тут произошло еще одно, впрочем, незначительное для протокола событие — появилась собака...

Наконец, Осип потерял сознание, и работа была закончена: женщину от него отняли, а безвольное тело положили на носилки и под конвоем тех же Чуракова и Замотина отвезли в дежурную хирургию, там, не приходя в сознание, он и скончался через час от потери крови.

## 79

Пережив очевидную смерть Узлова и не простив ее мне, читатели, а особенно читательницы спросят: а что же все-таки случилось в Москве? Что с ним произошло в промежутке между первым и вторым появлением в нашем городе? Почему, увлекшись бытийными проблемами, автор оставил на произвол судьбы важнейшие звенья сюжета? И, наконец, подлинная или мнимая смерть Узлова описана в предыдущей главе...

Боже мой!.. Я-то думал, что на мне нет другой ответственности, кроме честной передачи фактов. Но факты размыты сомнениями, чужие свидетельства противоречат моим, а подлинный произвол трагической судьбы может быть вменен автору в вину, как произвол слабого сюжета...

Я прошу прощения у тех, кто возьмет на себя труд дочитать оставшиеся страницы. За мой невольный удар и ту боль, которую они испытали. Я сам дважды пережил эту смерть.

Я прошу прощения за то, что не лгу и не притворяюсь знающим. Что знаю, то говорю. Как тут быть, если, неравные в даровании, они равны перед Богом — непрозрачный герой и недостоверный рассказчик. Кто я такой, чтобы ручаться и доказывать? Дилетант, самоучка, безумец...

Я встречал тех, кто утверждал, что настоящий Узлов вовсе не умер, а служит артистом высшей категории в мавзолее МХАТа на Тверском бульваре и что имя у него совсем непохожее. Другие клялись, что сами хоронили Осипа в Парголово, на Северном кладбище под Петербургом, и обещали показать укромную могилу. Третьи присягали, что у него была белая горячка, цирроз печени и неизлечимая болезнь крови и что умер он на больничной койке, а сожжен в крематории Донского монастыря. Вот уж околесица!..

Ко мне приходили свидетели, требовавшие, чтобы я переделал сцены дуэли: мол, тулка была одна и выстрел один, а дуэлянты просто тянули жребий. И не жакан ранил, а картечь...

Наконец, один демирговец (пациент профессора Демиргофа) доказывал, что читал книжку об Осипе, написанную каким-то немцем, и фамилия героя пишется с двумя «ф» на конце, то есть «Узлофф», а не «Узлов». И будто бы в этой книжке рассказано, что герой просто вышел из дому на утреннюю пробежку, да так и не вернулся, а вдова через полгода признала чужого утопленника за мужа только для того, чтобы оформить пособие на сына. «На дочь», — перебил я, помнится, демиргофца. «На сына, на сына!» — заплакал он...

## 80

Гюзель приняла весть от своего отца, потому что, услышав эту историю в своей газете, татарский князь поспешил домой, чтобы предупредить события и не дать дочери совершить какую-нибудь глупость.

пость. Услышала новость она днем, но почувяла и поняла еще на рассвете, не столько сама по себе, сколько по поведению Тоши...

Пес разбудил ее сразу после выстрелов, будто услышав их через весь город: подвел к двери, и Гюзель, подчиняясь его воле, спросонок выпустила пса одного, без намордника и сворки. Тоша промчался по еще пустым улицам, как по тундре, будто невидимый каюр его разгонял, и появился в комнатухе в момент, когда Узлов почти кончался.

Боевики захвата не успели среагировать, и, растолкав их у входа, пес прыгнул на диван.

Осип, до этого лежащий спиной к двери и прикрывающий собой Аду, медленно повернулся на спину, а его правая рука, уже без ножа, безвольно откинулась ладонью вверх и неловко сползла с дивана.

Тогда Тоша уперся передними лапами прямо в его плечи и, опустив морду к лицу Узлова, близко уставился в глаза.

Так они и смотрели друг в друга, смотрели и смотрели, и пес не рычал, не скулил, не лизал своего хозяина, пока Осип, наконец, не выдохнул протяжно, закрывая глаза. С трудом отрываясь от него, Тоша будто втянул в себя отравленный смертью выдох и вобрал янтарными глазами наполненный далеким смыслом взгляд.

Никто из свидетелей не успел опомниться, как он исчез. Говорят, его видели в больнице. А примерно через час после того, как тело переправили в морг, он снова был у Гюзели...

## 81

И вот я узнал, что случилось с Узловым. Я узнал об этом в середине следующего дня.

Мы репетировали в театре какой-то ввод — ах да, Лисицкий берег свое здоровье, качал права, как обычно, — на верхнюю сцену сунулась секретарша Турина Танечка, пошептала ему на ухо, он омрачился и вышел. И тут она, не вынеся тяжести секрета, передала нам следовательскую версию.

Ленка Глухова взвыла, все, как по команде, посмотрели на меня, а Дулегов рысью кинулся за Туриным...

Смею напомнить, что уже ко времени прошлогоднего известия о смерти Узлова он в нашей труппе не числился, но имя его с театром было связано накрепко. Скажи «театр» — и первый, кого тебе назовут, будет Осип, скажи «Узлов» — и тебе покажут дорогу в театр. Но и тогда наши от него активно отрешивались, а теперь — и подавно. Теперь у них были новые резоны...

«Допился!» — сказала об Осипе женка Турина, «завлитка» Балясова.

А когда я вошел в кабинет главрежа, они впятером — Турин с женой, внезапно выздоровевший Лисицкий, Дулегов и Хамеев — оборвали разговор и уставились на меня. Я понимал, что моя попытка бесплодна, но сделать с собой ничего не мог.

— Виталий Авдеевич, — сказал я, пристально глядя ему в глаза.

— Разве вы не видите, я занят, — раздраженно перебил он.

— Виталий Авдеевич, — настойчиво повторил я, используя всю силу внушения и не учитывая мешающих свидетелей, — Узлова нужно похоронить из театра...

Он взвился из своего кресла и, не скрывая неприязни, сказал, глядя не на меня, а на Дулегова:

— Он не имеет к театру никакого отношения!

Мне понравилось, что в его раздраженной реплике Осип как будто ожил: его неотменимые отношения с главными режиссерами, членами художественных советов, репетициями, совещаниями, прозрачными сте-

нами этого дома только обострились и продолжали соответствовать характеру. «Опять врешь, — подумал я о Турине, — разве в твоих силах разорвать эту связь?..»

— Формально — может быть, — сказал я, дурак упертый, — но по-человечески иначе нельзя...

Повисла пауза. И я добавил:

— И по-Божески...

Тут вскочил красный Хамеев.

— Сергей Алексеевич, покиньте кабинет!

— А вы заткнитесь, — пугнул я его, резко повернувшись, — я не у вас в кабинете.

Хамеев стал малиновым, пошарил бараньими глазами по лицам собравшихся, понял, что Турин не станет обострять конфликта, и сел на место. Стало ясно, что со мной придется говорить.

— Ну, ты даешь! — простецки и якобы дружелюбно начал Дулегов. — Я еще когда тебе говорил: не надо возбуждаться... Еще тот раз... А теперь, Сережа, твоя инфантильность... политическая... Ну, просто не знаю, что сказать... А ведь все тут к тебе хорошо... Это был бы вызов, демонстрация... Узлов у нас год как не работает... И ты учти, что за день послезавтра...

— Что за день? — спросил я.

Все посмотрели на меня, как на идиота.

— Столетие послезавтра, — ласково сказал Дулегов.

— Какое столетие? — снова не понял я.

Теперь товарищи почти единодушно сочувствовали мне: клинический диагноз не вызывал сомнения.

— Вы посмотрите на него, — нежно призвал Лисицкий. — Он, по-моему, Мышкина играет. Ты в какой стране живешь, Сережа?.. Столетие со дня рождения Владимира Ильича...

Это было интересное сообщение. Я стал со скрипом соображать и вдруг включился: да, действительно, идет апрель месяц, звучит малиновый звон, исполнилось сто лет со дня рождения кумира. Как же это я запамятовал? Вот уже сколько времени театр стоит на ушах, готовя подарок к юбилею; это меня, верующего и нестойкого, обошли исторической ролькой в окружении вождя, а они, родные, репетируют, борются за прогрессивное прочтение пьесы московского новатора, который, наконец, нам все объяснил: Ленин — очень хороший, а Сталин — очень плохой, и все удачи родины — от Ленина, а все неудачи, наоборот, — от Сталина; и пьеса такая оригинальная и смелая, а наш обком такой кондовый и ретроградный, что в глубине своей коллективной души любит Сталина не меньше, а может быть, и больше, чем Ленина. Поэтому Виталий Авдеевич Турин рискует, борется и образ вождя хочет решить нетрадиционно, то есть без парика, назначив на роль Ленина не Кошукова, у которого похожая лысинка, а Дулегова, который уже два месяца учится картавить и закладывать пальцы за проймочку...

И тут, когда я вернулся в родную современность, я понял, что больше с ними говорить не о чем, потому что еще минута — и во мне родятся частные слезы, их подхлестнет подлинная гражданственность, и волна горячего коллективного патриотизма сметет меня вместе с неуместными скорбями и мертвым беспартийным товарищем...

Я вышел вон.

И, выйдя вон, я стал слоняться по городу без видимой цели сначала у собора Святого князя Владимира, потом — по Губернаторскому, потом, кажется, по Народной, а после не помню где. Надо было что-то



придумать, к кому-то пойти, но вокруг пылал пожар приближающегося советского праздника.

И вот меня принесло к другому парку или, вернее, парчику, тому самому, что близко от зоосада, мимо которого мы ходили на работу вместе с Осипом. Меня принесло к известной скамье с крашеными чугунными ножками и любимой им могучей орешине. Может быть, не совсем по своей воле я оказался здесь...

Сначала я посидел и подумал о его жене Ольге и дочери Кате. Потом — о своем недоступном сыне и отступнице-жене. Потом — об отчаянной Гюзели, замужней Клавушке, полубезумной Ленке Глуховой и других... И других... Они будто пришли сюда, одна из одной, исключительно в темных одеждах и, неутешные, стали смотреть на меня, будто чего-то ждали...

Тогда я встал со скамьи и, подойдя вплотную к орешине, повернулся к плакальщицам спиной. Но они не оставили меня и тихо придвинулись ближе...

Орешина источала тепло, сначала робкое, потом нарастающее и быстрое. Из глубины дерева возник и направился в мое сознание неясный звук — то ли шепот, то ли гул. В груди стало жарко; невольно и неумело повторил Осипа, я повернулся к орешине правым, а после — левым боком и, все больше наполняя тело древесным покоем, стал прислушиваться к незнакомому тяготению. Мой стиснутый мир приобретал новые объемы и протяжные пространства.

Я встал к орешине спиной и вновь заметил осиротевших женщин вблизи и вокруг дерева. Спину и затылок вдруг легонько прожгло, и внезапно я понял, что наблюдаю их уже как бы сверху и сквозь листву.

Солнечные зайцы прыгали по их траурным плечам. За ними, на скамье, никому, кроме этого хоровода, не нужный и вовсе один сидел я в заношенном рыжеватом гедезеровском пиджаке и румынских сандалиях в дырочку...

Я подумал о том, как прекрасно продолжающееся после его смерти присутствие скамьи и дерева и какое счастье быть гражданином отечества крепких ветвей и свежих листьев.

Тут все женщины, как по команде, взглянули вверх, на меня, своего господина, и знакомый голос обратился ко мне без малейших искажений, словно был записан на японском магнитофоне.

— Надо Оську похоронить, старик... Видишь, ждут...

— Вижу, — ответил я.

— Их жалко... Жалко их...

— Да, жалко, — согласился я.

— Надо хоронить как-нибудь, сделай это для них...

— А тебе все равно? — спросил я.

— Да нет, брат... И мне смердеть без толку неохота... Ты постарайся, сделай одолжение...

— Ты же — вечный, что тебе?.. Вечный? — повторил я вопрос.

— Вечный-то я вечный, это так, а тельце мое — временное... Испортится на жаре...

— Что же мне делать-то?

— Не знаю, брат... Ты постарайся... Ты уж постарайся, как можешь... Надо Оську похоронить... Видишь — ждут...

Комнатуха, куда после общего подвала городской судебно-медицинской экспертизы перевели безвольное тело Узлова, была тоже мала, сродни той, шестиметровой, где он успокоился. Только без окна. Вслед за равнодушными издевательствами патологоанатома последовал чей-то

волевой приказ отделить Осипа от остальных, и благодаря безмянному приказу я получил возможность провести с ним последнюю ночь.

Гроб стоял на двух табуретах у левой стены, а справа, в углу подвальной кельи, были приготовлены еще два на случай, если бы сюда поместили другого соискателя. Но другого, слава Богу, не было, и я мог себе позволить время от времени перекуривать у стены, сидя на свободном табурете, а на втором, незанятом, разместить необходимые предметы — банку с водой, бинты, растушевки, душистый вазелин, картонную коробку грима, железный гребень, ножницы и большую пачку белоснежного лигнина, которую я без спроса взял в гримерном цеху.

Осип был бледен, бледнее не придумаешь...

Перед тем как удостоиться счастливой отдельности, он был вынужден принять, лежа на общих основаниях в окружении случайной масовки, делегацию обучающихся судебно-медицинской практике студентов и студенток городского медтехникума.

Чтобы вы имели хотя бы некоторое представление о закрытых манипуляциях, сообщу, что начали учащиеся с эвисцирации, то есть со вскрытия по Шору, то есть с тотального вскрытия одного довольно старого и обросшего щетиной деда, который был стыдливо приодет в старомодные кальсоны с застежками на шиколотках. Застежки, кстати сказать, были не пуговичные, а надевные, два таких растягивающихся пружинных колечка, которыми в послевоенные времена подтягивали длинные рукава мужских рубашек. Прежде чем оказаться в краткосрочном соседстве с Узловым, небритый дедушка затянул петлю на шее, оставив объяснительную записку о том, что «устал болеть», и теперь он действительно избавился от болезненной усталости, но подлежал формальной судмедэкспертизе и наглядной эвисцирации...

Стоя в кружок у дедушки, студенты заспорили, можно ли отличить легкие курящего человека от легких человека некурящего, и получили от руководителя практики Е. М. Мушина ответ отрицательный, мол, скорее можно отличить легкого жителя деревенского от легкого жителя городского. С этим и стали уходить от старика, как вдруг одна любопытная студентка обернула всех в противоположную сторону репликой:

— Смотрите, смотрите, это же известный артист лежит!..

Тут все пошли к Узлову, называя его по имени и фамилии, стали его разглядывать и к нему прикасаться бесстрашными руками, наперебой задавая вопросы наставнику: что случилось и почему нужна экспертиза? В ответ Евгений Михайлович Мушин, по должности — доцент, сообщил учащимся, что это — «особый случай», а именно — «насильственная смерть от пулевого ранения и острой кровопотери», — случай, в котором еще предстоит разобраться местным и приезжим специалистам.

Перед юными медиками Узлов раскинулся с полной свободой, и отмечено было всеми, а особенно девушками, что он хорош собой и тело его скроено талантливо, хотя чересчур бледен, бледен до прозелени, а дыра от второй пули неприлично велика...

## 84

Прежде чем мы с Осипом остались вдвоем, чтобы решить задачу прощального преображения, досталось на орехи и мне. Но если бы я принялся пересказывать, как метался, высунув язык, по различным присутствиям, пытаюсь организовать похороны, вы бы сами измаялись вместе со мной.

Что толковать, если я унизил себя и его даже в жэковском кабинете Тамары Карданниковой при ее черномастой напарнице и кожаном

бесстыжем диване. Всякий полученный мною отказ сопровождался еще и требованием встречного согласия и гражданского понимания.

Мои усердные земляки искренне хотели остановить не только постороннюю празднику жизнь, но и несознательную смерть. Какие могут быть траурные мероприятия — вы сами подумайте! — в дни всенародных ленинских торжеств?

На все ярко-красные даты наглухо закрылись разрешающие контролы, застеснялись паспортные столы, отключились холодильники, взяли блудливые отгулы мастера похоронных обрядов и процедур, ушли в глухой отказ раздаватели мелких справок.

Долги счастливой империи перед усопшими в юбилейные дни взлетели так круто, что могли быть сравнимы разве только с неоплатными долгами живых перед своим любимым государством.

Все отступили и отступились от бедного Узлова. Я был один, и передо мной высокомерно морщилась великая китайская стена.

Несчастье затянуло свой узел накрепко: без паспорта нельзя было и думать получить справку о смерти, а без справки о смерти никто не брал на себя смелость определить место захоронения или оформить заказ на ритуальные услуги, одно за одно. Искусственный венок, траурная лента с надписью, похоронный автобус — все оказывалось недоступной роскошью для нас: ЗАГС чувствовал Ленина, и гражданское состояние Осипа нечем было подтвердить.

Спрашивать о паспорте было не у кого — то ли документ исчез в милиции, то ли Узлов вернулся в город без всякого вида на жительство. Я наивно предположил, что тут может пригодиться паспорт Ольги, в котором все еще должен был стоять штамп о супружестве, и поехал к ней, но ослепшая Ольга лежала пластом, а оглохшая Катя, сидя рядом, механически терла виски то себе, то матери.

Впрочем, на меня они вскинулись страстно и сказали, что именно я во всем и виноват.

— В чем?..

— Во всем...

— В чем «во всем»?

— Во всем, во всем!.. Молчи лучше!..

И вот с этим-то обвинением и все более проникающим в меня чувством вины я и сжился в торжественно лучезарные дни. Не страну же победившего социализма было винить, не столетнего новорожденного, не Трудового Красного Знамени горисполком. А тем более театр. Именно театр я сам должен был выгораживать как член и патриот.

Когда я со своими глупостями во второй раз сунулся к Турину, подловив одного в фойе, он стал серо-алюминиевым и отрезал:

— Прошу вас больше меня не беспокоить...

Аза Парамонова велела секретарше со мной не соединять...

И Попов от меня убежал...

И Буркин прятался...

Неузнаваемо терпеливый, Узлов все еще лежал среди других молчаливиков, а меня душило узловское нетерпение.

Со своим тупым упрямством я превратился в парию, персону нон грата, в досаждающее ничтожество...

Непонятно откуда взялась Анна и тихим голосом стала убеждать меня в надобности сделать частные приготовления, и тогда, по ее мнению, все как бы само устроится...

Какие? Обычные. Раздать необходимые взятки, принести костюм и ботинки, загримировать побледневшее лицо...

Деньгами тоже помогла Анна, и я боялся думать, что за ними маячит заботливый Сос...

По сообщениям студентов-медиков, вокруг Осипа не оказалось ни одного женского тела, и в этом читался какой-то странный знак.

В город просочились пугающие сведения о том, что в морге испорчен холодильник.

Но это была враждебная пропаганда... Идеологическая диверсия...

## 85

Наконец, мы оказались одни.

Лампочка под потолком горела, наверное, стосвечевая и ровно заливала светом всю оголенную подвальную выгородку. Дали, дали-таки на одного!..

Отказавшая мне в содействии Тамара Карданникова успела сообщить, что сама видела в исполкоме ордер на отдельную однокомнатную квартиру улучшенной планировки: двадцать метров квадратных плюс кухня десять с половиной плюс лоджия, с ума сойти, плюс типа холла коридорчик «уютненький».

Ордер был выписан на имя О. С. Узлова 17 апреля 1970 года.

Ордер. Орден. Горден. Рден. Дер... Не вычеркивать...

Ордером, что ли, хотелц его приманить?..

Лучше бы холодильник отремонтировали...

Войдя сюда со своими жалкими красочками и глядя в его усталое лицо, вспомнил я другую театральную историю, рассказанную нам на гастролях в Средней Азии. Как пожилой режиссер А. посредине азиатской легкой жарыни действительно скончался в объятиях бывшей своей ученицы, начинающей актрисы Э., и — так как дело вышло воскресное и турбайский морг, так же, как наш, не сразу взял к себе одышливого любовника — местные артисты вытащили из большого кухонного холодильника всю запасенную еду, питье, решетчатые перегородки и посадили туда бессильного возразить мэтра. Так он и просидел чуть ли не целые сутки в одних только майке и трусах, ожидая торжественной церемонии...

Я застал Осипа в тесном для него ящике уже приодетым и, обложив лицо полотенцами, чтобы не испачкать внутреннюю белую обивку, зачесал смоченные волосы назад...

Правая кисть никак не разгибалась...

И стал накладывать на бледное лицо тон и румяна.

Вообще-то специалистом по последнему гриму был у нас Толик Сморгачев, угрюмый, длиннорукий фитиль родом из Усурийска. Начал он в самодеятельности, имел успех в роли молодого Горького в Комсомольске и стал, набирая очки, приближаться к центру. В Актюбинске Толик женился на малорослой курносой Лиличке Путниковой, которая в ответ на шутки о разнице в росте — она едва доставала мужу до груди — бойко отвечала:

— Койка всех равняет!

Смешная пара, жестко соблюдая в театре свою семейную автономию, потянулась было к Узлову, но скоро Толик заревновал...

Это он удачно гримировал к последнему параду и старуху Казаякину, и Рэма Коршуна. Но в теперешних обстоятельствах, угрюмо глядя в сторону, молодой партиец сказал:

— Я пересмотрел свое отношение к этому человеку... Не хочу, чтобы мое имя тут фигурировало...

«Ну и черт с тобой, — подумал я, — ну и черт с вами».

Приходилось братья мне, больше некому...

«Надо, чтобы краски не бросались в глаза, — говорил я себе, и кто-то повторял мою резонную подсказку: — Надо, брат, надо... Надо постараться...»

Что делает с нами ночь...

Еще одну баночку воды на омовение души поставил я у стены, а

хлеб положил в головах, на уголок сосновой, обтянутой с внешней стороны бордовым ситчиком, домовины... Спешить было некуда.

Умереть сегодня страшно, а когда-нибудь — ничего...

После больницы, выпив водки и сидя у меня на полу, Осип стащил с дивана зеленый плед, спрятал под ним больную ногу и сказал:

— Скоро мне отрежут ее, и я буду во такой... Все меня забудут, никто ко мне не зайдет... Никто не заплачет...

Я тогда рассердился и швырнул в него подушкой.

— Перестань дурака валять!

— Ну, сунетесь раза три, потом забудете, забудете, проверено!.. Только Ольга покормит... Может быть...

Никогда не повторяй банальные глупости — «дурака валять» и прочее! Если не знаешь... Если не можешь знать, с чем к тебе пришел человек. Слушай и молчи. Слушай и молчи, сынок. Слушай и молчи. Может быть, он уже в другом измерении...

Рука ни за что не разгибалась... Нет, не то чтобы совсем в кулак... Но и в кулак...

«Темнить ли брови?» — задал я себе шекспировский вопрос.

— Это как знаешь, — ответил Осип, и стены слегка раздвинулись. — Это как знаешь. Бог в помощь!..

— Бог в помощь, — повторил я и посмотрел на низкий потолок. — Бога поминаешь?

— Разве нельзя?

— Можно... Нужно...

— Сергей... Сережа...

— Говори, говори...

— Кровь текла, текла... И я Бога вспомнил... Пусть меня простят.

— Ладно, — сказал я, — пусть простят. Господь тебя прости!..

— Ты уж постарайся, ты уж постарайся, друг, ты постарайся... Больше я тебе хлопот не доставлю... Ты постарайся. Пусть меня простят...

Под моими дрожащими пальцами лицо его словно оживало, меняя знакомые выражения.

Еще ничего не было решено, но от называния друг друга по имени, от согласия просить прощения у обиженных, от ночного двуголосия дружбы внутри меня стало светлеть. Я не успел сообразить, где выход из положения, но уже начинал догадываться, по каким причинам посылаются мне испытания и препятствия.

Нет, нет и нет! Не из театра, не из жилконторы, не с разрешения, не из милости! И вот осенило, наконец! Крещенный. Осип крещенный. Завтра все еще празднуют, завтра он еще здесь полежит, а я пойду во Всесвятскую...

Что же я, убогий, тыкался в трусливые присутствия? Надо было сразу к нему, надо было сразу к отцу Леониду спешить!..

Надо Узлова грешного в церкви отпеть!..

## 86

Сели за стол втроем, и наглядное единодушие собравшихся, их заинтересованность в соблюдении обеденного обряда, взаимная расположенность на общем пути к чревоугодной цели показали мне образцовыми.

— Не избегайте икорки, Осип Святославович!..

— Благодарствуйте, отец Леонид... А вы, в свою очередь, обратите внимание на огурчики, отобранные, как кремлевские курсанты...

— Да, и форма, и цвет... Любите базар?

— Не то слово. Праздную...

— И я люблю... Грешен... Ну, Сергей, за что пьем?

Перед тем, как сесть за стол, отец Леонид перекрестился, но молитвы вслух читать не стал, что он непременно сделал бы, обедая мы с ним вдвоем.

За что нам было чокнуться в первый раз?

— За встречу, — сказал я.

— Хороший гост, — поддержал Осип.

— Да, — согласился Леонид, — и скромно, и строительно...

Они знакомились, и я, в эйфории душевного праздника — свел, наконец! — не почувствовал едва заметной подчеркнутости радушного взаиморасположения.

Что пили? Водку, разумеется.

Вообще говоря, дневная водка — явление амбивалентное. Но если дело идет не по летней жаре, не в подворотне, не в результате спиртовой распушенности, а спорится за дружеским столом в присутствии избранной базарной закуски — редис, салатик помидорно-луковый, с уксусом и постным маслом, которое всегда хочется подобрать до последней капли с помощью свежего хлебушка, — если «все путем», хороша и дневная водка.

Но водки, пожалуй, было многовато.

— Ладно. Куры по-чилийски — это вещь. Это у тебя талантливо, — перешел на «ты» отец Леонид. — Скажи рецепт.

Осип, лично приготовивший «кур по-чилийски» в моей духовке, хитро прищурился.

— Тайна...

— Выдай.

— Ну-у... По принуждению?

— А хоть и по принуждению! — настаивал отец Леонид.

— Вкусно?

— Отменно...

— Выпьем?

— Давай!.. — Я разлил.

— За что пьем? — задал я вопрос.

— За Сержанта. Он нас свел на свою бедную голову!

— За Сергея! С удовольствием! За тебя, грешник!

— Спасибо!

— Поехали с орехами!.. До конца, Сереженька, не половинь! Отпускаю!..

Да, водки на этот раз было много — не только мы с Осипом припасли, но и отец Леонид неожиданно выставил от себя заграничную, неправдоподобно большую бутылку с этикеткой «Пушкин».

— А что, — спросил Осип, — церковь у нас богатая?

— А тебе зачем? — удивился Леонид.

— Любопытствую, — ответил Осип.

— Ты мне «кур по-чилийски» не объясняешь, а я тебе про церковную казну скажи?..

— Поймал!.. Ладно... Ты ее потрошишь, внутрь пучок петрушки, хлопкового масла ложку — и Вася!..

— А почему тогда «по-чилийски»? — спросил мой духовник.

— Для экзотики... Как приправа...

— Выпьем за Чили, — сказал я.

— Можно и за Чили, — сказал Осип, — но лучше за девушек!

— Осип, имей совесть, — сказал я.

— Тогда за нас, — сказал Осип. — Да, предпочтительнее за нас.

Или за нашу русскую православную церковь, отделенную от интернационального государства!..

— Кончай, Осип! — сказал я.

— Ну почему же? — спросил отец Леонид. — Я поддерживаю. Наливай.

Нет, водки было положительно много.

— Ты чем интересуешься? — спрашивал покрасневший священник Осипа. — Богом или церковью?

— Я интересуюсь Господом Богом и строением Вселенной!.. А не вашим бедным институтом, сто раз изнасилованным!.. Старослужащим охранного ведомства!

— Не смей, Осип! — вскинулся я.

— Подожди, Сергей, подожди, — устранил меня священник и, взяв Узлова за бортовку пиджака, поднял его из-за стола. — Ты что, противу традиции? Ты «Духовного регламента» не читал?.. Петром Великим принятого? Не совмещая духовной цели с государственной, России не утвердить!..

Сохраняя полную покорность тона и продолжая пребывать в руках отца Леонида, Осип с видом полной невинности спрашивал:

— А у архимандрита куратором кто? Майор или подполковник? А патриарха Тихона ты к святым причислил? А Войно Ясенецкому ставил свечу?..

— Господи, — кричал я, — ну что же это! Осип! Отец Леонид! О чем спорим!.. За этим ли собрались!..

Тут они притихли, выпили «светлую память» невинно убиенных и оторвались от стола.

Осип взял в нетрезвые руки гитару, запел из своего репертуара: «А первая пуля, а первая пуля...» — а мой духовник, уронив на руки смоляную пьяную голову, разрыдался, как ребенок...

— Не плачь, Леня, не плачь, — успокаивал его Узлов, глядя по волосам.

— Я не Леня, — всхлипывал священник, — я в миру — Тарас...

— Ну вот, видишь, — отвечал Узлов, — тем более... Плакать не надо...

Ночь тянулась долго, и временами я забывал, где и зачем нахожусь.

Под самое утро, убедившись в том, что Осип выглядит сносно и не ударит в грязь лицом перед другими, я отсел от него, выкурил последнюю беломорину и невольно забылся, прислонясь в угол усталой головой...

## 87

Шумело в ушах, стеснялось дыхание, менялись видения одинокого полета в пустом самолете. Лились по щекам сонные слезы; я тащил на себя ручной тормоз, и кровь смешалась в сторону юга, а только что стиснутый лоб вдруг чувствовал свободу. Ко мне склонялась женщина с незаметным лицом и блаженно пахнущей грудью, та, о которой давно уже ничего не было слышно. Забытый случай брал власть и обрастал неучтенными подробностями: чужая квартира в пятом этаже, тайное проникновение в снятую комнату справа от входа, чистые простыни в синий горошек и большое пятно жертвенной крови. Вдруг я узнал, что кровать стоит не у стены под ковром, а посреди троллейбусной остановки, между темной горой и крымским приливом. Кто-то отчаянно звал из окон, а нам не было дела до этих криков; и там, и здесь спорилось утро; мелькнули кадмий, аквамарин, и цвет перетек к красному участку спектра. «Не вышвырнешь, ты меня не вышвырнешь», — смеялась она. Неожиданно я стал прибавлять в росте и скоро почувствовал себя исполином, плывущим на спине по зыбкому морю с новонайденной нежнейшей добычей, обхватившей меня руками за шею. Отталкиваясь от воды, я наращивал скорость, раздвигая плечами податливую

поверхность, а она, касаясь моей груди, сводила и разводила легкие ноги в догоняющем ритме свободного брасса. Я смотрел ей в лицо снизу вверх, стараясь плотнее коснуться грудью прекрасной груди. Только прохладные водяные валки доставались мне в нашем согласном движении. Так близко было блаженство, что ни к чему стало спешить, по-нуждая его. Лицо женщины было по-прежнему неразлично из-за солнечного контража, и, хотя я не мог менять направление, мы плыли домой. Волосы ее не брали на себя воды, и сквозь них в меня лавиной вливалась огромная сила — от золотого контура головы, — в глаза и в каждую клеточку тела. Снайпер с зависшего вертолета целился в нас и стрелял, посылая пулю за пулей. «Турция, что или, близко?» — думал я без опаски, — и пули путались в световых вспышках ее летучих волос. «Мне не больно, не бойся», — сказала она тем голосом, который я надолго забыл, а теперь с радостью вспомнил, и, сильно оттолкнувшись ногами, поцеловала меня в лоб. И тут я увидел всего себя изнутри, все многослойные пространства совершенной вселенской машины, — сплетение сухожилий, крепления костей, текущие среды и нервные узлы. Я продолжал плыть к дому, забрасывая за голову руки, повторяя горизонтальные взмахи и в то же время по велению женщины погружался в самого себя, как в пещеру Лейхтвейса. Другим, уверенным зрением я мог наблюдать нарушения природы, вызванные неверной и робкой жизнью, этого нового взгляда страшилась фантомы сомнений, болезни и боли выбрасывались наружу, как из пожара, а я спокойно и самовольно входил во все свои лабиринты, сшивая внутренние обрывы, расширяя стиснутые сосуды, готовя тело для новой женщины и новой жизни. Я расправил нижнюю часть легких, очистил от бляшек структуры мозга и, объявив им свободу, прибавил скорость. Не было больше препон, мешавших кровотоку, я сам наладил все связи и вернул космосу нарушенное единство. Вот оно что!.. Как я терпел эти годы, не замечая смертельного застоя, мирясь с давней порчей и не зная себя, инструмента высокой заботы?

Теперь я мог, наконец, состояться...

## 88

Едва рассвело, я пошел к отцу Леониду, и он отдал свои распоряжения. Более того, на завтра он сам отслужил заупокойную службу во Всесвятском соборе, сам довел дело до конца на Богословском кладбище.

Несмотря на старое название, погост давно стал общегражданским, и рядом с Осипом в тот день хоронили под духовой оркестр полковника Облепихина, я хорошо запомнил его веселую фотографию и легкое имя...

Шел первый рабочий день после праздника. Отец Леонид не прерывал службы даже тогда, когда над соседней могилой прозвучал под команду залп из двенадцати карабинов в честь безвременно и неизвестно где погибшего военсоветника.

Правая рука Осипа была мучительно сжата в кулак, сжата, сжата, так нам и не удалось уложить ладошку на ладошку. Но свеча держалась прямо и обливала горячими восковыми слезами непримиримый кулак.

Была на похоронах и медсестра Гита из хирургического отделения со своим черным мужем из Африки, и наглая Тамара Карданникова, бесстыдно целовавшая покойника в губы, и неизвестно откуда взявшаяся разведенная жена Вальки Кочара, София. Были и другие мужчины и женщины — Лена Глухова, Любана из реквизиторского... Только Гюзели не было. И Клавушка Белова не успела приехать. «Я не в вос-



торге от семейной жизни», — написала она мне в последнем письме.

И вот, несмотря на то, что Узлова окружали многие его бывшие девушки, поразила меня одна Ольга, подошедшая к гробу с тихой, но истовой просьбой:

— Прости меня, Осип, прости, прости...

Я никогда не мог догадаться, в чем она просила последнего прощения. Рывание было такое глубокое, какого я не слыхивал даже и на сцене. Прощенный Узлов послал ей какой-то ответ...

Надпись на ленте от местного отделения театрального общества была вроде бы и точная, но с каким-то странным привкусом: «Неповторимому артисту и незабываемому человеку». Как будто Аза Парамонова сочиняла...

Рядом с его могилой оказался огромный черный камень, тяжелый, рифленый, со множеством выточенных граней, но общим рисунком напоминающий куриное яйцо... Сил нет... Не вычеркивать... Раздвинув густой шиповник, я прочел, что под камнем — Анна Густавовна Вержбловская-Заммель, 1893 года рождения, скончавшаяся еще в 1963 году.

Тут же, неподалеку, составили ему компанию и пожилые супруги Чукардины, и кандидат исторических наук Е. А. Дворкина, и тридцатилетняя Татьяна Васильевна Юнцова с чудесным нежным лицом на овальной фотографии, прикрепленной к розовому камню... Ну вот...

Я не знаю, что я написал, но если вдруг окажется, что вышло 97 или 99 главок, можно будет считать, что все в порядке, потому что это — красивые числа.

## 89

То ли во время праздников, то ли под похороны были разворованы картины и эскизы Осипа Узлова, и в этом воровском деле отличились, говорят, бывший военный разведчик Коля Коконев, сорвавший пломбу в узловской комнатухе, и вечный завлит нашего ТЮЗа Ноликов Митя, потомственный борец против сионизма. Они же, подлецы, собрали часть живописных драгоценностей прямо на дворовой свалке...

## 90

Что было дальше со мной?..

Я бросил театр и полюбил часами сидеть на скамье в старогородском парке. На этом месте снились мне и позже волшебные сны.

В сущности, совсем немного нужно человеку для счастья. И на поверку он абсолютно независим от времени и социального устройства.

Я стал здоров, весел и больше женщин полюбил свое воображение.

И вот я стал псом, Осипом, Осипом, а позже — кедром, орешинной и солнцем. И отцом Леонидом, и Клавушкой, и Ольгой стал я.

И потому, даже запертому в психушке, было мне вовсе не трудно общаться с профессором Димергофом, становиться все независимей и разумней и обрести желанную свободу.

И было легко мне служить в безоружной охране на проходной картонного завода.

И честным грузчиком в хлебном магазине завершаю я свою земную карьеру.

Прощайте, добрый читатель, и позвольте мне на прощание помахать вам открытой рукой.

## 91

Надо все-таки стесняться, господа, надо стесняться.

---

---

# Михаил Тарковский

## ЛИЦО ЗЕМЛИ

\* \* \*

### I

Дай адрес. Уезжай... Мой Енисей  
В огнях судов и неподвижных створах.  
С утра туман, шаги по гальке, шорох  
Заклепок и пески в следах гусей.

Уже без шапки холодно, уже  
На рыжий лес пикирует кедровка,  
И бродит вдоль по острову верховка,  
Как шкипер по оставленной барже.

Каюта. Блик воды на потолке.  
Стук лодки под бортом у теплохода.  
Рывок шнура — и давняя свобода  
До берега домчаться налегке.

### II

Седое утро. Груз на берегу.  
Отставшая кричит в тумане ржанка.  
И в красной куртке смотрит горожанка  
С высокой палубы на серую тайгу.

На избы серые, на серый берег, где  
Мотор в следах дождя и холод рукояти,  
И лодка длинная, как «Песнь о Гайавате»,  
Уже стоит, качаясь, на воде.

Широкий плес. Предчувствием шуги  
Речную сводит кожу. Холодает.  
И небо осторожно покидает  
Косое облако с краями из фольги.

### III

Дрожат борта. Мотор гудит струной,  
Настроенной на ровное движенье  
Без спешки, и деревьев отраженье  
Коверкается масляной волной.

Напарник, запакованный в сукно,  
Сидит поверх мешков спиной по ходу,  
Уставившись сквозь выпуклую воду  
В узорчатое галечное дно.

И, отваяясь на рог бензопилы,  
 Болтает спирт в полупустой бутылке,  
 А ветер треплет пену на обмылке  
 Водой и временем изъеденной скалы.

За мысом снежный чудится заряд,  
 И с лиственниц дождем слетает хвоя,  
 И ощущение воли и покоя  
 По телу растекается, как яд.

1990

\* \* \*

Охота...  
 Я люблю, придя, шатаясь,  
 С горячими сосульками на лбу,  
 Сняв тозовку, ввалиться, спотыкаясь,  
 В холодную и тесную избу.  
 Там печки неохотная работа,  
 И в полутьме тяжелый куль с крупой  
 Сбивает шапку, мокрую от пота.  
 Под тонкой и прозрачной скорлупой  
 Люблю фитиль в пылающей короне,  
 Капканов беспорядок на полу,  
 Стук льдышки в чайнике и шорох в микрофоне  
 Холодной рации, вокруг трубы в углу  
 Распятые таежные доспехи,  
 Далекий, побеждающий помехи,  
 Переговор товарищей ночной  
 И русской Музы строгий позывной.  
 ...С утра собаки пляшут на ветру,  
 Кусают снег и лают друг на друга,  
 Патронташа тяжелая подруга  
 Подтянута на новую дыру.  
 Морозный воздух свеж, как нашатырь,  
 Горят верхушки лиственниц крестами,  
 И благовестит звонкими клестами  
 Тайги великолепный монастырь.

1990

\* \* \*

I

Я чувствую в крови какой-то новый холод,  
 Там ясно дребезжат бубенчики шуги.  
 Мне больше не нужны ни самый снежный город,  
 Ни самый лучший лед из погреба тайги.

...Все утро вижу сны. Проснувшись с неохотой,  
 Царапаю два-три надуманных стиха,  
 И Муза в стороне, не утомясь работой,  
 Как пленная княжна, презрительно тиха.

Мне снится старый дом, заволжские откосы,  
 Неровное стекло протертого окна,  
 Грачиная возня, и бабушкины косы,  
 И на большой воде веселая волна.

2

Вишневый понтиак отплыл от Метрополя,  
 А ты идешь сквозь дым и снега пелену,  
 Как витязь, одинок, и улица, как поле...  
 Верните мне мою далекую страну!

Продрогшая толпа бежит по переходу,  
 И сероватый снег срывается с мостов  
 И падает, дробясь, в коричневую воду,  
 И галки шебуршат остатками крестов.

И кузова блестят, как новая посуда.  
 Смеркается, и ты, измотанный ходьбой,  
 Сядишься на скамью и слышишь ниоткуда  
 Короткие слова: — Не бойся, я с тобой.

3

Мой город, я с тобой. Нагретое сиденье  
 Умчалось в темноту; теперь-то мы одни!  
 Заблудший самолет плывет, как привиденье,  
 И красные на нем пульсируют огни.

На набережной гул. Сквозь ледяные горы  
 Хрустящая тропа в забитый снегом двор,  
 В светящемся окне задернутые шторы,  
 Там на большом столе пустой второй прибор.

В Кремле сменился день. Его собрат вчерашний  
 В замоскворецкий мрак ушел, не тронув льда...  
 Ты спишь, моя Москва... А над кремлевской башней  
 Нерусская приколота звезда.

4

Карабкается кап березе на закорки,  
 И чахлый соснячок крадется вдоль реки,  
 И стог стоит, как хлеб, в глазури снежной корки,  
 И не добавит ночь ни слова, ни строки

К достоинству полей, пустынных, как квартира,  
 Где ужин без гостей — расплата за покой  
 Поэта-гордеца, где тетерева лира  
 Оставлена в ветвях задумчивой рукой.

Под вечер тишина. Лишь диковатым хором  
 Собаки в полутьме протяжно лают в лес,  
 И где-то товарняк расходится со скорым,  
 Да в небе самолет шуршит, как стеклорез.

Тебе, моя Любовь! Тебе, чье имя все  
 И я произнесу, когда отговорят  
 В счет будущих стихов о Кинешме и Шуе  
 Дарованные мне так много лет назад

Полночный небосвод, свирепый от мороза,  
 Холодных поездов затертые скамьи,  
 Съезжающий стакан и топот паровоза,  
 Тревожный, как тоска по прошлому семье,

По лучшей из держав Земли... А я подолгу  
 Скитался, одинокий, у тех ее границ,  
 Где бабушка на спор переплывает Волгу  
 Под грохот надвигающихся плит.

1989

\* \* \*

Я все отдам за это вдове  
 Лицо Земли, где дождь, как штрих,  
 Где жизнь — сплошное предисловье,  
 А смерть — загадка для живых.

Где все, что есть — и грех, и слава, —  
 Лишь голос предков в нас самих,  
 Где мы не заслужили права  
 И в мыслях быть счастливей их.

1988

---

---

Петр Алешковский  
АРЛЕКИН, ИЛИ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ  
ВАСИЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА  
ТРЕДИАКОВСКОГО

*Роман*

Часть четвертая

ПРИДВОРНЫЙ СТИХОТВОРЕЦ

*Лучшие годы жизни*

1

*«Хотя прежде сего на Москве опубликовано, дабы всяких чинов люди, как дневным, так и ночным временем, ездили как в санях, так и верхами смирно и никого лошадьми не давили и не топтали, однако ныне ея величеству известно стало, что многие люди ездят в санях резво, и верховые их люди пред ними необыкновенно скачут и, на других наезжая, бьют плетью и лошадьми топчут...»*

*Из Полного собрания законов Российской Империи. № 5512 от 1730 г.*

2

Город вставал рано: по солнцу. А оно было ярое и теплое в этом сентябре: мелкие лужи сверкали, а в больших и глубоких отражалось небо с редкими облачками и огромным желтым кругом. Лишь со второй половины дня прилетал с залива ветер и гнал тучи, и темнело, и наступала осень.

Еще не достигло солнце самой высокой точки на небосклоне, но было уже недалеко от нее, когда по прямой петербургской перспективе, к реке, начал свое шествие в сторону дома Василий Тредиаковский. Он именно шествовал: важно, улыбаясь про себя, — день выдался донельзя удачливый, и он откровенно радовался и перебирал в памяти случившееся за эти две недели.

— В любое время, сударь, — радушно отвечивал вчера на его вопрос герр Шумахер. — Да вот хотя бы утром, сиречь к восьми часам приходите. Рад буду начать день с вас, а не с господ ученых — они, признаться, кроме как с претензиями, ко мне ни с чем более не обращаются. — Он сморщил уставшую гримасу и, кивнув почтительно головой, заспешил к португальскому инфанту, коего развлекали около печатных станков.

Позже, вручая Тредиаковскому свежие листы с виршами, он похвалил перевод и снова извинялся за раннее, против правил, назначенное рандеву.

— Увы, мне следует с полдня быть здесь, в Академии. Такова служба.

...Иоганн-Даниил Шумахер разыскал его сразу по приезде, — князь Куракин, уезжая со двором в Москву, оставил насчет Третьяковского весьма четкие распоряжения. Но тогда господину библиотекарю недосуг было решать судьбу книги и близко знакомиться — в Петербург прибывал португальский инфант дон Эммануил; Шумахер весь был занят идеями развлечений знатного путешественника, который, по слухам, еще и намеревался свататься к самой императрице. Посему он был краток и лишь просил помощи у господина Третьяковского как у поэта («Князь говорил мне о вас!»). Следовало перевести на русский язык поздравительные латинские вирши.

Вирши были обыкновенные: комплиментарные и скучные — труда особого перевести их не составило. Важно, что еще до знакомства герр Шумахер имел о нем мнение, и следовало ему окончательно понравиться, ибо, как сказывали друзья, сей умный немец заправлял всеми делами Академии даже в присутствии самого президента. Но в настоящее время господин президент пребывал со двором в Москве.

— Он крут и властолюбив, подозрителен и притом коварен и хитер, как змей, — уверяли в один голос Василий Адогуров и Ильинский. Вопреки опасениям, господин Шумахер оказался галантным, растолстевшим немолодым мужчиной сорока с лишним лет.

Вместе с ним Василия встретил латинист, историк, редактор «Санкт-петербургских ведомостей» и, как говорили, в скором времени зять Шумахера, профессор Миллер. Шумахер, как и в письмах, был отменно любезен, рассыпался в похвалах, хотя вряд ли так уж знал стихи Василия, но именно то, что обратился за помощью к нему, что подвел на приеме и познакомил с самим графом Минихом, — убеждало Третьяковского, что Шумахер его ценит или, на худой конец, откровенно заискивает. В первую очередь это говорило о силе и могуществе Куракина — Василий понимал, что купается в лучах славы своего покровителя, но все же, все же — впервые коснулась его крылом своим Слава. Точнее, не слава еще, а известность: на одежду его глазели на улицах, зывали в гости, но он пока лобывал только на приеме у Миниха да вот теперь у Шумахера, а Адогуров и Ильинский подогревали интерес столичных ученых к нему, пересказывая его впечатления от чужбины и воспевая его стихотворный и музыкальный дар.

Итак, опасения по поводу Шумахера развеялись. Вопреки весу и объему, ножка у Иоганна-Даниила была миниатюрная, и он семенил рядом с Василием Кирилловичем (вышел встречать к самой лестнице!), провожая гостя в залу. Величал по отчеству, но чаще величал милостивым государем. Он уже прочел «Остров Любви» и французские стихи оценил особо, найдя их верхом изящества! Он также считал необходимым приложить их к роману для услаждения читающего света.

— Это будет прекрасный подарок любителям прекрасного!

Ему же самому, Шумахеру, книга станет уже вторым подарком, — право, он чувствует себя в неоплатном долгу.

— Простите, сударь, я не совсем понял вас? — отважился уточнить Третьяковский.

— Ну как же, — словно бы и ждал вопроса библиотекарь. Он вспомнил о двухлетней давности переписке с герром Бидлоо по поводу его статьи о калмыках.

Василий, признаться, не ожидал, что сейчас всплывет столь незначительное дело. Но никакого подвоха он не углядел, наоборот, у себя дома Шумахер выглядел естественным, и видно было, что беседовать с Третьяковским ему приятно.

Это радовало и обнадеживало.

— А как дела у герра Бидлоо с переизданием путешествий покойного Лебрюна? Сказать по чести, я потерял его из виду.

— О! — Шумахер расцвел. — Заказаны роскошные гравюры — издание должно впечатлять и покорять сразу. Кроме моей статьи предполагается приложить еще дневниковые записи и переписку покойного исследователя. Вы же понимаете, как это важно для России, — Европа проявляет к нам большой интерес, но знает страну еще мало.

Шумахер принялся объяснять гостю, как собирается он перестроить Академию, ведь в век Анны Иоанновны начнется истинное царство наук и изящного искусства.

Первомигнутная натянутость исчезла. Шумахер говорил, Третьяковский улыбался, Миллер более молчал. Вопрос о книге решился, а значит, визит оправдан, но неожиданно и он получил подарок. Заговорили о музыке — государыня императрица, сказывали, любила пение.

Тут настал черед говорить Василию, и он, повествуя о гамбургской музыке, настоятельно объяснял необходимость музыкальных концертов в России...

Теперь, шествуя по перспективе, Василий вспоминал, как ошеломил их, спев «Да здравствует днесь», — немцы хлопали согласно, как недавно Ботигер и Констанс. Тут же решено было (уже совместно, уже дружески) отпечатать полторы сотни экземпляров песни на отдельных листах.

— Это будет весьма кстати вам в Москве, — многозначительно качнул головой библиотекарь. — Если Ее Высочество принцесса Екатерина Иоанновна по-прежнему к вам благоволит, то, смею думать, вы не упустите момент... — он поднял палец. — Я верю в вашу звезду!

Кто бы мог подумать пять, шесть, три, два года назад, что ТАК станут с ним говорить?

Что делаешь ты с рабом твоим, Господи? Возносишь, ибо питаешь надежды на талант мой, тобою данный? О!.. рвался из груди округлый вздох счастья, и туман напал на глаза, и мерещилась белоснежная резная карета, лошади и кучер, шелкающий бичом, и отбивал ритм мелькающих лошадиных ног хрустальный колокольчик: «Тлинь-тлинь-тлинь-донн!» — и всякое, всякое еще, черт знает что такое, непонятное. Потому и вышагивал он, тщательно обходя лужи, — оберегая часть начинающейся карьеры — единственный нарядный голубой парижский кафтан-жюстокор и с большими бантами панталон. Кафтан по здешним понятиям был слишком смелым: сильно укороченный, с отложным воротником, обшитый ярким серебряным галуном.

— Императрица любит только светлые, воздушные цвета, и особенно небесно-голубой, — заметил, разглядывая наряд Третьяковского, Шумахер.

И здесь, и здесь позаботилось Провидение! Как же не ликовать, спрашивается, как же не радоваться, как же не шествовать чинно, будто уже он член Российской Академии наук!

Прямо с корабля поспешил он к Ивану Юрьевичу Ильинскому — к его Ивану! К кому же было еще спешить в этом новом, опустевшем после отъезда двора, городе?

Теперь его кумир, вершитель судьбы, показался низеньким человечком с заметной лысиной, и только глаза по-прежнему были печальны, добры и лучисты, и руки, не находя места, все теребили обшлага кафтана или барабанили по столу. Так же кашлял он в кулак, так же внимательно слушал собеседника, кажется, даже внимательнее, чем раньше. Он давно ждал: Куракин снесся с ним, предупредил, оставил Третьяковскому письмо, деньги и записку к Шумахеру.

Они обнялись... А когда влетел в комнату Васята Адодуров и бросился к Третьяковскому, то уж совсем встало все на свои места, стало все по-московски, и хоть щеголь Третьяковский оказался теперь в цент-



ре компании, а не Иван, но главное-то, главное, выяснилось, что компания осталась! и вопросам не было конца, и не одна чарка водки была выпита. Иван совсем размяк, и поднимал, и поднимал величальную за Василия, а после заставил его читать стихи.

И он читал.

Боже! Бросились целоваться. Кто бы мог думать, что их так проймает?

Как ни уговаривал Иван ночевать у него, Васята потащил друга к себе, заверив, что одна только польза будет ему от совместной жизни — он станет учиться у Тредиаковского французскому.

С того дня и не расставались. Василий давал им читать Тальмана, и друзья уговорили приложить еще и стихи собственного изготовления в конец книжки.

— Это необходимо показать преосвященному Феофану и князю Кантемиру. Они оценят и защитят новизну твоего языка, — советовал Ильинский. — Вот увидишь, московские попы поднимут вой!

— Мне до них дела нету, — гордо заявлял Тредиаковский.

— Не говори, они много теперь о себе понимают. Кстати, Малиновский — ты помнишь префекта? Он теперь синодальный член и за главного глашатая и краснопевца у московских латынщиков, — доложил Васята.

Но и скверные новости не могли омрачить праздник души.

— Уговорить Шумахера будет сложно, но ты настаивай на печатании книги, а если что — пугай князем, — наказывал Иван.

А Шумахер-то сразу согласился на все условия! Не так уж он и плох, просто, будучи прямым начальником Ивана и Васяты, кажется им двуличным и жестоким. Кто ж станет хвалить начальника?

Адодуров и Ильинский числились в переводчиках, но Васята в последние годы, что они не виделись, воспылал страстью к математике и учился ей под руководством профессора Эйлера. Васята изменился, из доверчивого юного школяра превратился в серьезного, несколько даже строгого к себе и окружающим молодого ученого. Занятия математикой, правда, не заглушили в нем любовь к изящной словесности — Адодуров, следуя Пифагору, полагал, что все на свете подвластно законам чисел. Но любимым делом заниматься Адодурову приходилось урывками — Шумахер требовал работы, нажимал на переводчиков, как и на всех в Академии, за что и не был любим.

Адодуров и Ильинский расписали Шумахера слишком однобоко, да и они, вероятно, не знакомы с ним близко, вот как сегодня беседовал Василий. Он хитер, но без хитрости не совладать со спесивыми профессорами, он угодлив, но лезть в моде. А склоки в Академии... Что встревать в чужие свары!

Домашняя библиотека у господина Шумахера богата — книги в дорогих французских переплетах цветной кожи, и, похоже, не стоят без дела — Василий видел закладки, раскрытые книги на столе. Господин библиотекарь даже посетовал, что многие дела мешают занятиям.

— А когда-то, когда-то я тоже пописывал стишки, — лицо его просияло.

Нет, он был начитан, любезен и весьма приятен. А профессор Миллер, так тот вообще выше похвал — изучает русский язык и будет заниматься русской историей. Пока что он намерен издавать ее на немецком, чтобы могла читать Европа, ну и многие при дворе, но в скором времени... Миллер понимает, что, живя здесь, надобно изучать Россию серьезно, не насकोком, как некоторые в Академии.

Они славно поговорили.

Василий размышлял о нуждах российского языка. Немцы плохо уяснили себе смысл его пламенной тирады: суть предлагаемых преобразований была не вполне им ясна. Только Миллер благосклонно кив-

нул головой, услышав про словарь, — да, да, Лексикон просто необходим!

Не поняли, ну да и ладно! Они радеют о своих нуждах, а Тредиаковский в мечтах замахнулся на большее, и Васята с Ильинским ему помогут — они в восторге от его идеи. Очистить русский язык от мудреной славенщизны церковной, сделать его единым для всех россиян — разве не исполнение это заветов императора Петра? Книжка... От нее зависит будущее. Как-то еще ее встретят? Ильинский и Адодуров прощают славу. А боязно, боязно, Господи, как боязно. Господи, и как же вместе с тем хорошо!

Он не заметил, как вышел к Неве. Тут стоял долго. Он не успел еще привыкнуть к могучей реке. Солнце грело сильно, он распахнул кафтан и даже у камзола расстегнул несколько мелких пуговиц. Стоял, смотрел на острова, на серую крепость, на мощные струи воды, свивающие бегущие воронки. Ветерок с реки ласкал грудь. Бабье лето спокойно и очаровательно, но так мимолетно: рраз! и промчалось, и дожди, дожди, а потом холода и морозы...

Надо было идти, он стронулся наконец с места в сторону дома и тогда уже очнулся, когда рушился на голову неожиданно и неотвратимо страшный крик: «Падй!» Ударилось копыто в камень — он слышал: ать! — лошадь уворачивалась на скаку. Вместе с руганью скользнул по плечу бич, и мокрый, запаленный бок лошади задел-таки и откинул навзничь, прямо в лужу. И хорошо, что откинул, а то прокатилось бы по нему еще и колесо: так же только обдало жирной грязью и проехало в двух дюймах от ног. Запряженная цугом карета и кричащий верховой впереди нее неслись дальше по прямой стреле проспекта, и только испуганные лица лакеев с запяток смотрели назад: не убится ли?

Василий рванулся вверх и, замахав руками, попытался сохранить равновесие, но повело вниз, и он ухватился наконец за деревце у обочины — так дрожали ноги. Мокрый, грязный, принялся он отряхивать сукно, но бесполезно — нарядная одежда была выпачкана, на обшитые кружевами рукава рубашки было страшно смотреть. Он привалился к деревцу, и оно заходило ходуном. Но странно — злости он не чувствовал. Даже не хотелось запустить им вслед первым попавшим камнем. И жалко себя почти не было. Он стоял у деревца, как заведенный отгирая самые жирные и заметные куски грязи мокрым шейным платком, и бессильно улыбался. Дрожь в ногах унималась, и вот он вскинул вверх за голову руки и... «Будьте вы прокляты, лихачи», — выдохнул незлобно, чтобы что-то сказать.

На солнце напоззала туча. День вступал в осеннюю свою половину.

Сейчас он не думал о Фортуне — он просто радовался, что остался жив. А можно ли обижаться на жизнь? Он устало покачал головой вослед давно исчезнувшей карете.

### 3

*Из переписки В. К. Тредиаковского с И.-Д. Шумахером (перевод с французского)*

*Тредиаковский — Шумахеру*

9 января 1731 г.

Москва

*«... Я могу сказать по правде, что моя книга входит здесь в моду и, к несчастью или к счастью, я также вместе с ней. Честное слово, мосье, я не знаю, что делать: меня ищут со всех сторон, повсюду просят мою книгу...»*

Тредиаковский — Шумахеру

18 января 1731 г.

Москва

«...Суждения о моей книге различны, согласно различию лиц, их профессий и их вкусов. Придворные ею вполне довольны. Среди принадлежащих к духовенству есть такие, кто благожелателен ко мне; другие, которые обвиняют меня, как некогда обвиняли Овидия за его прекрасную книгу, где он рассуждает об искусстве любить, говорят, что я первый развратитель русской молодежи, тем более что до меня она совершенно не знала прелести и сладкой тирании, которую причиняет любовь.

Что вы, сударь, думаете о ссоре, которую затевают со мною эти ханжи? Неужели они не знают, что сама природа, эта прекрасная и неутомимая владычица, заботится о том, чтобы научить всё юношество, что такое любовь. Ведь, наконец, наши отроки созданы так же, как и другие, и они не являются статуями, изваянными из мрамора и лишенными всякой чувствительности; наоборот, они обладают всеми средствами, которые возбуждают у них эту страсть, они читают ее в прекрасной книге, которую составляют русские красавицы, такие, какие очень редки в других местах.

Но оставим этим Тартюфам их суеверное бешенство; они не принадлежат к числу тех, кто может мне повредить. Ведь это — сволочь, которую в просторечии называют попами.

Что касается людей светских, то некоторые из них мне рукоплещут, составляя мне похвалы в стихах, другие очень рады видеть меня лично и балуют меня. Есть, однако, и такие, кто меня порицают.

Эти господа разделяются на два разряда. Одни называют меня тщеславным, так как я заставил этим трубить о себе... Но посмотрите, сударь, на бесстыдство последних; оно, несомненно, поразит вас. Ведь они винят меня в нечестии, в нерелигиозности, в деизме, в атеизме, наконец, во всякого рода ереси. Клянусь честью, сударь, будь вы в тысячу раз строже Катона, вы не могли бы остаться здесь твердым и не разразиться грандиознейшими раскатами смеха.

Да не прогневаются эти невежи, но мне наплевать на них, тем более что они люди очень незначительные...»

Шумахер — Тредиаковскому

1 февраля 1731 г.

Петербург

«...Радуюсь хорошему успеху вашей книги между разумными людьми не только по любви к вам, но и в отношении к нам. Хорошо известно, что как скоро поэзия и музыка начнут смягчать нравы народа, то владетели после того сумеют извлечь отсюда пользу. Чтобы не лишать долее любителей чтения вашей книжки, я имею честь отправить к вам сегодня 25 экземпляров. Прочие вы получите на будущей обыкновенной почте.

...Не пожелаете ли вы, милостивый государь, дать нам что-нибудь другое для назидания и развлечения? Итальянский театр полон пьес, которые доступны, понятны и довольно забавны. Или не хотите ли вы лучше перевести небольшой сборник острот или рассказцев, или какое-нибудь путешествие... или что вам заблагорассудится, потому что всё, что ни явится от вас, нас очаровывает, а знатоков услаждает.

Вы мне не пишете, видели ли вы нашего президента: он великий знаток, очень вежлив и всегда готов принимать умных людей, так что вы хорошо сделаете, если побываете у него.»

## Тредиаковский — Шумахеру

4 марта 1731 г.

Москва

«Милостивый государь. Мне очень чувствительна честь, которую вы мне оказали, написав два письма, одно от 1, другое от 15 февраля. Я вам за это чрезвычайно одолжен. Но, с вашего позволения, приступим скорее к делу.

Первые 25 экземпляров «Езды» дошли до меня верно, а другие 25 еще у его сиятельства князя Куракина. Не могу отгадать настоящей причины, почему его сиятельство не приказывает до сих пор передать их мне, вероятно, он о них забыл, имея на руках множество дел.

Хотя я постоянно был столь несчастлив, что не мог ни разу иметь случая видеть г. президента у него на дому, для уверения его в глубочайшем почтении, так как это была моя обязанность, тем не менее, однако, я имел честь исполнить мой долг в отношении его в доме, даже в комнате ее царского высочества принцессы Екатерины, которая высказывает ко мне много милостей, то хваля меня, то — мою книгу, то высказывая свое благоволение и вместе с тем обещая представить самой императрице.

...Я теперь думаю о переводе Путешествия Кира. Это прекрасная книга, хорошо написанная, занимательная и весьма назидательная. Сблаговолите прочесть ее, милостивый государь, и сделайте милость, скажите мне о ней ваше суждение, сообразуясь с вашими сведениями и вкусом, который у вас очень изыщен. Однако эта книга не нравится его сиятельству князю Куракину. Правда, что он пробежал ее очень слегка и, следовательно, не заметил всех ее красот. Впрочем, я полагаюсь на ваш выбор, так как знаю, что вы не выберете ничего такого, что бы не было достойно любопытства разумных людей.

Оказываемая ко мне доброта ваша дает мне теперь право принять смелость подтвердить вам в настоящих строках неизменную приверженность, совершенное усердие и глубокое уважение, которое я имею и буду иметь всегда к вам и с которым есмь, милостивый государь, ваш нижайший, покорнейший и преданнейший слуга

В. Тредиаковский».

## 4

«Да не смущается сердце ваше, православнии христиане, ниже да поколеблется помысл ваш, аще когда услышите или прочитаете Писание святое от противников на свою страну по нужде наводимое...

Писание святое есть яко меч обоюду остр, его же может кто употребити и на доброе и на злое.

...И тако священное Писание развращенне толкуемое, и по нужде на злочестивую их страну наводимое, бывает яко меч на свою их пагубу, или (рекше по нашему предприятую) бывает им камень ПРЕТЪКАНИЯ и СОБЛАЗНА, падения же и погибели, еже явственню и в сей части увидим».

Стефан Яворский. Камень веры. 1728 г.

## 5

«Не читайте книг многих. Вот де он сице во книги зашолся, а он сице в ересь впал».

Древнерусское присловье.

## 6

*Из письма Феофана Прокоповича, писанного к другу в 1717 г. (перевод с латыни)*

«Что сказать о попах и монахах и о наших латынщиках? Если, по милости Божией, в их головах найдется несколько богословских трактатов и отделов, выхваченных когда-то каким-нибудь славным иезуитом из каких-нибудь творений схоластических, епископских, языческих, плохо сшитых, попавших в их потешную кладовую, быть может, из сотого источника, неудовлетворительных и плохих, а хуже того искаженных; то наши латынщики воображают себя такими мудрецами, что для их знания ничего уже не осталось. Действительно, они всё знают, готовы отвечать на всякий вопрос и отвечают так самоуверенно, так бесстыдно, что ни на волос не хотят подумать о том, что говорят. При взгляде на эти личности приходится сознаться, хотя с большим неудовольствием, что есть люди глупее римского папы. Тот воображает, что он не может погрешать оттого, что ему присущ Дух святой, и, уча с кафедры, убежден, как говорят, что изрекает догматы. И наши латынщики так же высоко о себе думают, не сомневаясь, что проглотили целый океан мудрости. Лет 15 тому назад был в моде так называемые ораторские приемы; церковные кафедры оглашались тогда (увы) чудными хитросплетениями, например: что значат пять букв в имени Марии? Почему Христос погружается в Иордан стоя, а не лежа и не сидя? Почему в водах великого потопа не погибли рыбы, хотя и не были сохранены в ковчеге Ноевом, — и многое тому подобное. И давались на подобные вопросы ответы весьма важные и солидные. Потом настала другая болезнь. Все стали стихотворствовать до тошноты, чем в особенности страдала новая Академия — страна, тебе уже знакомая... Все стремятся учить, и почти никто не хочет учиться. И в такая-то мрачная времена, когда почти нельзя найти ревностного усердного ученика божественных знаний, вот тебе безчисленное множество учителей! То есть когда мир достиг высшей степени нечестия, он покушается выставить себя в высшей степени святым».

## 7

Весенним мартовским днем одна тысяча семьсот тридцать первого года преосвященный архиепископ новгородский Феофан Прокопович с раннего утра заперся в покоях своего подмосковного дома в селе Владыкине, приказав никого не впускать. Слуги притихли и обходили стороной верхний этаж, лестницу и уединенный архиепископский сад.

До полудня владыка пребывал в мрачном настроении, недолго гулял по саду, но солнце и чистый воздух его не приманили — сад покидал спешно и уютно почувствовал себя только за письменным столом: замер, склонив над ним голову. Феофан сидел и чертил колечки на бумаге. Колечки эти то таинственно нанизывались на один вертел, и вокруг достраивалась адская печь и палила нарисованное, то просто сразу замарывались и вместо уничтоженных рисовались новые в пустом углу: сложный чертеж только ему и был понятен, ибо был безбуквен, и даже цифрами не были помечены продвиженья пустых округлых фишек-колечек.

Феофан трезво глядел на время: почти два десятилетия по праву занимал он вершину российского Парнаса и теперь с удовольствием уступал ее новым глашатаям — сатирописцу князю Кантемиру и только начинающему, упивающемуся неожиданно обрушившейся известностью Василию Тредиаковскому.

Он с наслаждением пестует сейчас стихотворцев — в редкие ми-

нуты утишения души поэты забавляют его беседой, он им решительно доверяет. Тредиаковский, впрочем, пока более годен для увеселения, потому как молод и горяч.

Горячность и молодость его и подвели, князь Антиох никогда бы так просто не попался на удочку к латынщикам. Но Тредиаковский... На Василия Кирилловича поступило в Синод обвинение в безбожии. Донос Феофан перехватил и тем скончал дело до поры до времени, но суть тут заключалась не в молодом острословце, поссорившемся со своими старыми законоспасскими учителями, — это было скрытое нападение на него самого. Тредиаковский, то ли по всей важности не осознав, то ли надеясь на высокое покровительство, и в ус не дует; трубит о сваре во всех гостиных. Возможно, правда, нарочно ведет себя вызывающе, пытается обратить историю в шутку, а если что, заслужить всеобщую поддержку. Но нет, неверно действует — под подкоп только контрмина годится, и не изящному словотворцу ее закладывать!

С раздумий о Тредиаковском преосвященный переключился на человека, крайне поэту противоположного, — на бывшего генерал-губернатора казанского Артемия Петровича Волынского. Столь странный ход мыслей отмечен был появлением нового кружочка, соединенного стрелочкой с центральным, с ним то есть с самим. Да, оба они, верно, никогда и не подозревавшие о существовании друг друга, оказались волею Фортуны связаны с ним. Оба терпят напасти от церковников, и обоих он, Прокопович, спасет, ибо, оберегая их от вражеских козней, он оберегает себя самого, да и страну, к управлению которой он весьма и весьма причастен.

Волынский — счастливчик. В который раз избегает петли, казалось, намертво обхватившей шею. Чудом спасся, и тут не обошлось без Феофана. Нужен, как раз такой-то и нужен ему человек, хоть и самодур и мздоимец, но лихой, умный и, главное, до конца верный начинаниям Петровым. Попов, что к патриаршеству тянут, ненавидит Волынский, верно, более самого Прокоповича. Мздоимец, а книгочей и весьма образован, несколькими языками владеет. В губерниях своих, где кормился, пытался знания насаждать, но не уговорами — батошьем да кулаком. Добивался одноличного правления, через то и войну великую с местными архиереями имел: старые воеводы искони с ними власть делили. Сильвестр Казанский хитер и упрям оказался, выжидал момента ударить, искал сперва заступников в московском духовенстве, и, кабы не восцарствовала Анна Иоанновна, худо бы генерал-губернатору пришлось. Видно, Бог его хранит.

Вызвали на Москву, на суд, но Артемий Петрович и тут преуспел. Как раз поспел к раздорам вокруг Анниной коронации. Верховники — члены Тайного совета — пожелали урезать права самодержавные, подчинить себе государыню, но не тут-то было — шляхта восстала, и не вышло по-ихнему. Короновали Анну самодержавной владычицей. И Волынский тут не последнюю руку приложил, сообразил, куда ветер дует. За то, в числе немногих, заслужил большую милость императрицы.

Теперь-то уж власть укрепилась, нужны люди решительные, на подобие Волынского, — с ними окончательно искоренит Феофан не до конца при Петре добытую гидру.

Против воли своей научился Феофан быть изворотливым, мстительным, научился выжидать и разить молниеносно: как коршун, как орел. Давно понял, что раз вознесен высоко, то и надлежит ему так — вечноробствие и неустанные труды; но, истомившаяся, просила душа передышки, а ее все не было и не предвиделось впереди. Прошли времена, когда малодушничал, терзался, считал, что враги — овцы заблудшие — тоже о благе Отчизны пекутся, но ошибаются, как наемни

пытался ему выгораживать Тредиаковский на него же донесших Машиновского и Коптевича. Прошли те времена, когда и он пытался увещевать, разубеждать, переделывать на свой лад, когда щадил и, прощая, не казнил жестоко. Петр закалил, научил борьбе. О! давно перестал он быть мирным стихотворцем, понял, что слово — оружие, а он его воин.

Семь почти уже лет, как отошел император в лучший из миров, и семь почти лет особо жестоко терзает его неумолимая свора, мучит, клоня к старине, взывая к патриаршеству, пытаясь время повернуть вспять, в дым обратить начертания Великого Петра, а его, архиепископа новгородского, их удары стойко отражающего силой слова, хитростью ума, защитой Всевышнего оберегаемого и спасаемого, его, Феофана Прокоповича, мечтают они растерзать, предать смерти лютой и осмеянию публичному. Мечтают, да не выкусятся им! В чем только не обвиняли, каких только не приписывали ересей, а жив. Всегда больше было людей, что с ним стояли. Были и теперь есть, и перво-наперво — Анна самолично. За таким щитом державным силен Феофан Прокопович, да, видно, врагам пока невдомек, что и к лучшему.

Сразу по воцарении подписала императрица манифест, где поклялась охранять православный закон — и воспрянули недруги, решили было, что пробил их час. Не тут-то было! Слова словами, на деле Анна только своему архиепископу новгородскому и доверяет. И он не преминул воспользоваться: сложно было троих синодских — главных зачинщиков свалить, но свалил, опередил, сам удар нанес, и вот — не только уволены, но Дашков и Игнатий Коломенский заточены по монастырям. Пускай себе Тредиаковский связывает с воцарением российской августи мечты и надежды о просвещении всеобщем, пускай будоражит воображение, лиру свою распялет — так поэту и должно. И людям польза большая, ибо веру в новое царствование слова высокие укрепляют.

Хорошо бы, конечно, новых поэтов от политики оберечь, да не выйдет, так уж в России заведено, жизнь заставляет выбор делать. Что ж до Волынского да до прочих людей государственных, то следует крепко за ними приглядывать — иначе натворят бед, головы-то лихие.

Ведь кабы не с Сильвестром Казанским, а с другим каким священнослужителем Волынский схлестнулся, сколь бы тяжелее было Артемию Петровича спасать. Но Сильвестр в делах Игнатия Коломенского запутан. Игнатий — признанный преступник государственный, сослан, уличен в заговоре против императрицы, следовательно, и архиерей казанский с ним заодно. А посему труда большого не составило Анне невиновность Волынского доказать, списать все на злой наговор. Остальные прегрешения, что в доносе значились (поборы с казанских жителей, притеснения), Артемий Петрович хитро обошел — как есть повинился самолично в двух с половиной тысячной взятке с ясачных иноверцев, в ноги к царице упал. Чистосердечное признание Анне по душе пришлось — простила, да еще и среди генералов Украинского корпуса оставила. Конечно, императрицу заранее подготовили — Салтыков, генерал-губернатор московский, за племянника расстарался, да князь Черкасский словцо замолвил. Князю Артемий Петрович влестил — подарил двух жеребцов персидских. И говорят, вручая, еще и посмеяться изволил: «Хоть и мелки, только не стары, где-то да сгодятся». А кони, сказывали, царские — тут Волынский толк знает. Словом, простили все. А ведь что творил, сукин сын, на своем губернаторстве! Преосвященный достал доношение казанского архиерея и, проглядывая, только головой качал: «...землю отнял, архиерейскому дому принадлежащую, и материал для построек церковных себе взял для своего домашнего строительства; в архиерейском саду и огороде травил со-

баками волков и зайцев; молодые деревья велел выкопать и перенести в свой загородный двор; рощу около архиерейского монастыря приказал под корень ссечь и ссек; диакона и двоих церковников, тому перечасных, до полусмерти велел прутьями отстегать, архиерейского домового иконописца и аудитора духовной школы батожьем его человек Василий Кубанец нещадно бил, по его генерал-губернаторскому изволению; а за секретарем духовного приказа сам гонялся с обнаженною шпагою, и едва тот ушел; а раз, увидав во время крестного хода на одном диаконе стихарь персидской золотой парчи, велел его себе принести и, распоров, парчу себе оставил, а оплечье диакону взад вернул; секретаря же Богданова пытал о деле архиерейском, бил и за волосы драл сам, а потом велел бить палками и топтунами солдатам и оставил едва жива, а после канцеляриста Плетневскаго в застенке тремя стрясками смертно пытал, спрашивая, что в Москву на него доносят, и у того Плетневскаго выломаны бревном ноги и руки...»

И несмотря на все это, донос Сильвестров надлежит закрыть, а самого священнослужителя упрятать подальше, ибо точно доказано, что с осужденным Игнатием Коломенским заодно состоял. Но только, упрятав, учредить строгий надзор, вдруг понадобится в столицу вызвать: он да жалоба его — хорошая на Волынского управа. Феофан привык бумаги беречь — знал силу слова запечатленного.

Разная она бывает. Вот, к примеру, умер человек, а мысли его паскудные живут. В памятном двадцать восьмом году сподобились издать книгу «Камень веры» Стефана Яворского, главного Феофанова недруга. Как и говорил, писал Стефан красиво, знал тоже силу слова — не зря же имя покойного знаменем теперь у его противников.

Прокопович поднялся, подошел к полке и, сняв с нее огромную книжищу, перенес на стол. Читать ее на руках было невозможно.

— И правда, камень, — пробурчал под нос и, найдя, наконец, отрывок, до обличения протестантов касаемый, зачел вслух, наслаждаясь звучанием гневной Стефановой проповеди: — «Приходят к нам в овчих кожах, а внутри волки хищные, отворяющие под видом благочестия дворы всем порокам. Ибо что пристокает из этого нечестивого учения? Убивай, кради, любодействуй, лжесвидетельствуй, делай что угодно, будь равен самому сатане по злобе, но только веруй во Христа, и одна вера спасет тебя. Так учат эти хищные волки».

Красиво, сильно. Если с амвона прочесть — народ поверит, вот что опасно-то. Правда, народ всему поверит...

Сам Стефан волкохищным взором своим рыскал везде, отыскивая крамолу, ратовал за сохранение духа старины. Но уж коли на то пошло, патриарх Константинопольский его же уличал в несоблюдении обрядности, а не кого другого. Не в поведении дело, а в вере, в поступках благих: и на благо Отчизны, на благо веры людской. Стефану бы полную власть патриаршескую — вмиг окатоличил бы Русь, да и церковь всю к рукам прибрал, а там и на государя замахнулся — второй Никон!

Теперь же, по смерти его, разгорелись лютые споры вокруг «Камня веры»: Буддей, личный Феофанов друг, знаменитый философ протестантский, целую книгу написал против Яворского. Ну, ясно, и в противном лагере не смолчали — монах-доминиканец Рибейра, состоящий при испанском посланнике дюке Лирийском, вмиг выдал труд в поддержку Стефанова учения. И свой же, русский, — Феофилакт Лопатинский, тверской архиерей, вскорости защитительное, антибуддейское сочинение к печати представил. Но Феофан не проглядел, упросил Анну наложить на писание Феофилактово запрет, а книгу отнюдь не издавать. Все раздоры следовало на корню загасить, пресечь католическую заразу, пока не поздно. Еще в молодости, будучи в Риме, наглядился Прокопович на иезуитов и невзлюбил их воинствующую цер-



ковь. Стефан же, наоборот, католиков чтит, приваживал к России, мечтал об унии. Не в прошловековой, мертвой законоведческой латыни виделось Прокоповичу просвещение русское, но в звучной и сочной, живой и наставительной поистине латыни античной. Тут Кантемир и Тредиаковский с ним были заодно, потому-то и полюбил молодых стихотворцев.

Казалось бы, раз и навсегда разъяснено было Анниним указом забыть о споре, забыть о Буддее и о Рибейре, а значит, и о «Камне веры». Феофилакт Лопатинский сразу ж напугался, затих, так нет, сыскались два героя — архимандриты, оба члены синодальные: новоспасский — Евфимий Коллети и ипатьевский — Платон Малиновский, что перевели Рибейрино писание на русский. Нейметса им! Переводом сим открыто войну объявили! Ну что ж, тут он спускать не намерен. И Тредиаковский ему здесь помощь окажет — оплатит доносителям.

Князь Куракин признался как-то в разговоре, о чем, правда, Феофан и так знал давно, что в бытность свою в Париже принимал он у себя сорбонских иезуитов, а после через Тредиаковского переписывался с ними, да и москвичам адрес тот дал — Лопатинскому, дюку Лирийскому, заиконоспасским монахам. Куракин умом недалек, в политике — фантазер, не чета покойному отцу, зато пришелся ко двору — Анна в нем души не чает, да и поддержки в тяжелое время никогда не забудет. Пускай себе Куракин уболаживает Бирона и императрицу изысканными кулинарными рецептами, поет на интимных вечерах мадригалы, острословит да покровительствует музам. Тредиаковский, его протеже, кажется, более умен. После разговора с Александром Борисовичем Феофан имел беседу с поэтом, и тот покался, что тяготится старыми связями: было думал, они оборвались, но не тут-то было. Не зря зазывал его Платон Малиновский в Академию к Герману Коптевичу — хотели выведать про Сорбонну, думали, что он на их стороне. А как поняли, что бывший ученик в противном лагере, то решились обычным российским способом спосудить — написали донос.

Но кончилось их время, скоро, скоро разделяется с ними Прокопович. Пока же следует их принародно ослабить — на то идею, сам того не ведая, Тредиаковский подал, рассказав о публичной экзекуции памфлета, коей был в Париже свидетелем.

— Я думал, у нас в России сатир не пишут, а тут все теперь по-иному, — намекнул тогда поэт на вирши князя Кантемира.

Уже свечек не кладут, постных дней не знают;

Мирскую в церковных власть руках лишну чают, —

процитировал по памяти Феофан стихи Кантемира. Метко сказано, — всё о власти мечтают, верой только прикрываются, как и боголюбивым своим Варлаамом Троицким, Анниним духовником. За постничество и подвиги мнишеские метят его в патриархи, а что сер да непросвещен — не беда. Ну-ну, придет черед и нам смеяться, — так недавно у него в гостях Тредиаковский сострил.

Тут-то и зародилась идея: действительно, смех порой убивает страшнее кинжала.

На листе бумаги добавились еще какие-то колечки, затем перо очертило большой круг, вобрав в него все значки на бумаге; затем все перечеркнуло. И вот уже, скомканный, полетел архиепископский чертеж в корзину. План действий был наконец придуман, и оттого возрадовался и, позвав слугу, приказал подать рыбный пирог и холодного пива. Подкрепившись, преосвященный велел закладывать карету и скоро отбыл в Москву.

— Поеду к принцессе Екатерине Иоанновне, сегодня вряд ли буду, заночую в городе, — сказал монаху-управляющему на прощанье. И укатил к первопрестольной.

8

*Жаль, что не говорят человека сердца!  
Обычное бо наше не довольно слово  
Всю великость радости тебе изъявити,  
Что Ваше Высочество здесь изволит быти  
И что тем причинчет счастье нам ново.*

*Жаль, что не говорят человека сердца!  
Лишь твое пришествие слышно нам быть стало,  
Всех сердца закипели, мысли заиграли,  
И веселие токмо всяку обещали,  
И что то есть прямое наших благ начало.*

*Из «Стихов Ее Высочеству Государыне Царевне и Великой княжне Екатерине Иоанновне, герцогине Меклембург-Шверингской, для благополучного ее прибытия в Санктпетербург сочиненные и Ее Высочеству поднесенные Василием Кирилловичем Тредиаковским». Январь 1732 г.*

9

*О императрице велика!  
Падающего века Атлас!  
Священны вознесиися крылы  
Над всем светом простираешься.  
Тебе поют гусли, кимвалы,  
Тебе славят трубы громъгласны.  
Воспой самодержицу, воспой, муза, Анну.  
Излий на нас днесь благодати,  
Возведи в лице на нас светлом  
Зрака твоего сияние:  
Милостию всех нас осени  
И покрой щедротою купно:  
От тебе мы вечно зависим.  
Воспой самодержицу, воспой, муза, Анну.  
Изгнанны призовешь науки  
И святыя сохранишь музы,  
Подая им места покойна.  
Се уж оные и приходят,  
Се от тебе и приемлются,  
Се поют благодарственная.  
Воспой самодержицу, воспой, муза, Анну...*

*Из «Стихов всемилостивейшей государыне императрице Самодержице Всероссийской Анне Иоанновне по Слове похвальному», прочтенных перед ней В. К. Тредиаковским в Санктпетербурге между 15 января и 3 февраля 1732 г.*

10

*Санктпетербургские Ведомости № 28  
В четверток 6 дня апреля 1732 года*

*Для известия*

*«К господину бушгунду в шкиперский дом привезены на сих днях самые хорошии свежие аустерсы, которые от него охотникам по надлежащей цене продаются».*

## 11

*Санктпетербургские Ведомости № 36**В четверг 4 дня мая 1732 года**Для известия*

*«Чрез сие всем известно чинится, что бывшии здесь за 3 года Оператор Фридрих Гофман из Москвы опять сюда прибыл. Он живет в Голландском кофеином доме у господина Краузе. Его операции особливо в сем состоят а имянно бельма снимать, зубы вынимать и вставлять, всякие мозоли и бородавки сгинять. У него имеются так же зело изрядные лекарства от глаз и зубов, в чем он каждому по достоинству услужить потщится».*

## 12

Наконец-то после долголетних мытарств сбылась Петрова мечта— окончательно достроен и открыт был Ладожский канал. В голодную, малообжитую, по причине отъехавшего на Москву двора, северную столицу потянулись караваны судов с мукой и провиантом.

У всех на виду были почести, посыпавшиеся на голову главного начальника строительства — графа Миниха, ведь во многом благодаря наполненным рынкам и магазинам возможен стал переезд двора в январе тридцать второго из первопрестольной на невские берега.

Тут на радостях многим были оказаны почести, дарованы ордена, чины, поместья, и колесо Фортуны, этот жернов Истории, еще раз повернулось, увлекая за собой тех, кому предстояло блистать в аннинское десятилетие; иных же, не угодивших, стоявших поперек пути, неумолимая сила одолела и ввергла в черную бездну, из которой много позже лишь немногие нашли дорогу назад.

Феофан Прокопович — пастырь православного стада российского, как некогда стал силен, и вновь запылал пламенный его взор, но расправляться с затаившимися сторонниками католичества, с мечтателями о патриаршестве, продолжателями лживокрылого и ядопагубного учения Стефана Яворского новгородский архиепископ не спешил, словно ждал чего. Часто бывал он и на загородной приморской мызе, где устроена была школа для отобранных, лучших по способностям, а не происхождению юношей. Строгий с виду, оттаивал душой со своими чадами грозный Прокопович и, объясняя молодым красоты стихов, умилялся, когда, звучная и умело расцвеченная, выпархивала на волю певучая строка.

Иногда вечерами читал стихи ученикам Тредиаковский. Феофан ценил, как выпевал чеканные строчки «Энеиды», словно точеные косточки четок перебирал, то убыстряя, то замедляя словесную скачку, соразмеряя ее с толчками взволнованного сердца, этот чудодей-музыкант. Дети тоже сидели тихие, как зачарованные. Они и самого Василия Кирилловича полюбили — сдружились, когда ставили для императрицы представление об Иосифе и фараоне.

Тредиаковский с переездом двора попал в фавор — представлен Анне, сподобился целовать руку и назван был придворным стихотворцем. За подготовку стихов панегирических были ему плачены деньги, да за подготовку хора к театральному представлению, да за перевод книги артиллерийской — повеление самого Миниха! (Заказ устроил полюбивший поэта Шумахер.) Так что Тредиаковский покинул комнатушку Адодурова, снял просторные комнаты на Васильевском острове, расплатился с долгами, заказал несколько новомодных платьев и накупил книг.

— Теперь я снова гол как сокол, — признался он преосвященному. И произнесенная столь приподнятым тоном фраза, и веселый взгляд заставили Феофана улыбнуться — задор и бесшабашность ТрEDIAKовского были ему приятны, так же как и ученость, и глубокие суждения, и мечты о российской науке.

Но сейчас было не до науки.

ТрEDIAKовский не зря наезжал на архиепископскую мызу — кроме влечения сердечного с преосвященным его связывало еще одно старое дело, и теперь, когда пристала пора, Феофан решил претворить в жизнь полтора года назад задуманный в подмосковной красивый план. Правда, князь Кантемир был теперь в Лондоне с дипломатической миссией, но его вирши остались в Петербурге. Да и маленький сюжет разросся основательно — стихи играют в нем теперь не заглавную роль.

ТрEDIAKовский готовил хор ко дню тезоименитства своей покровительницы принцессы Екатерины Иоанновны — к двадцать четвертому ноября, дню великомученицы Екатерины. Тексты подбирали вдвоем пастырь и поэт, соответственно Минеям и по своему замыслу: ибо слова должны были прозвучать, должны были поразить, и обесчестить, и насмеяться над врагами.

Дети старались вовсю, через открытое окно доносились их спевки, но на репетицию Василий Кириллович никого не допускал — тут он был крут и самовластен, да и Прокопович в дела своего регента-дирижера не мешался. После, в награду за труды, в вечернее затишье, читал ТрEDIAKовский своим певцам «Энеиду». Преосвященный всегда сидел в глубоком кресле в углу — внимательно слушал, сомкнув утомленные веки.

Столь ожидаемый обоими день приближался.

## 13

Заскреблась, яко тать, в окошко ночь. Преосвященный долго вслушивался в свист ветра, вглядывался в пляску обледенелых тополиных крон и нежданно-негаданно заснул и воочию увидел во сне, как выпорхнула из клетки белоснежная голубица и взмыла ввысь, в солнечный, блестящий верх, и стала облетывать высокую гору, словно что-то искала на ее склонах. И нечестивые (целые полчища их затаились в кустах кизила) натянули луки и стрелы огненные приложили к тетиве, чтобы подбить свободную птицу. И, дымные, прочертили полосы стрелы в небе, но ни одна не попала в цель, а крылатая вестница все кружила и кружила в небе, пока не слилась с ним и не исчезла, растворилась в бездонной глубине. Нечестивцы, видя такое, в страхе и ужасе бежали прочь с горы: бросали луки, срывали доспехи, а гора вдогон насылала на них раскаленную лаву и огонь. Сера лилась им на головы и плечи, и палящий ветер слепил им глаза, и они погибли, испепелял их огненный гнев небес.

Он проснулся. Было морозное и ясное утро. Вспомнив сон, он подивился: в страшной, невероятно отчетливой картине предстал ему десятый псалом. Но почему десятый, ведь сегодня будет исполнен предыдущий — девятый? Видно, он утомился и даже во сне продолжал борьбу...

И вот грянуло торжество: на невском подворье к архимандриту Петру съехалось много народу.

Слушателей рассаживали полукругом — центром была принцесса Екатерина. Слева от нее разместились дамы и вельможи, справа — церковные иерархи, и Малиновский, и Коллети в том числе — их, словно бы ненароком, посадили в первый ряд, прямо против хора. Феофан

опустился в кресло между ними и принцессой, но подчеркнуто ближе к ее высочеству.

Из боковой двери вышел Тредиаковский. Привыкший уже к многоголовой сановной толпе, он поклонился имениннице, всем собравшимся и произнес красиво закрученное похвальное слово. Затем, не дав людям опомниться, повернулся к хору, и строгие детские голоса ударили в своды.

Слово заявило себя сразу — в рывке-вступлении первого голоса: «Исповемся». Затем объединились, сплелись движения всего большого хора, и тексты, разложенные на двенадцать голосов, начали рисовать свои узоры, подыгрывать, помогать замыслу творца-дирижера.

Глубока была начальная печаль: в темные, траурные тона одеты были голоса: «Исповемся Тебе Господи всем сердцем моим, повем вся чудеса Твоя...» Здесь еще не место было рыданиям и страстному выражению скорби — голоса только нагнетали тяжелое, угрюмое чувство, готовили к трагедии: «И да уповают на Тя знающие имя Твое: яко не оставил еси взыскающих Тя Господи». Мольба искренняя слышалась сквозь зов басов.

И вот резко разорвался печально-эпический строй повествования; быстрые, отрывочные фразы, сопровождающие основные, ключевые слова, вмиг создали дробность, тревожность, предупредили о надвигающейся вплотную опасности. А голоса всё добавляют и добавляют жару, вкручивают в толпу дробно несущиеся слова: «Сокруши-сокруши-сокруши-сокруши», и вторые тянут: «мышцу грешному и лукавому», а третьи накачивают: «взыщется грех его и не обрящется».

То выкрикивается слово «грех», то «не обрящется» — и страшно, страшно: неотвратимо, неодолимо. Теперь уже страдающее чувство полностью выплескивается на волю, и зала полна рыданий и гневных вскриков: «Погибнете, погибнете» — и множатся они, и растут, и падают на головы нечестивцев. А хор уже повернул к ним лица, поет, глядя на них, но зал еще не понимает, но чувствует и содрогается — так пробирает пламень песнопения. Оно не угасает, наоборот, уже вселенский бушует пожар, порождая страстные слова, и упругая мелодия разрастается в своем волнообразном, качающемся движении, словно медленно раскручиваемая пружина, удивительная спираль...

Постепенно, очень постепенно утишаются голоса: ползет откуда-то изподволь родившийся трагический шепоток, и его мягкие, женственные изгибы так и льнут к ушам. И вот финал: нежно-сердечное моление басов и сильные заклинания теноров: «Желание убогих услышал еси Господи, уготованию сердца их внять ухо твое».

Тянется еще, как душевная мука, звук, плывет, а хор уже кончил, смолк, и дети с трудом переводят дыхание, и переглядываются друг с другом, и улыбаются, потому что дети есть дети, и нет им дела до взрослых страстей.

Церковники уже поняли, кто сии грешники и нечестивцы, но не решаются обшусудить — зал замер, и только принцесса и ее свита раздражаются аплодисментами, и с некоторым запозданием их подхватывают остальные, и даже сами нечестивцы — они ведут себя так, словно ничего не произошло.

Но вот хор снова начинает: на этот раз берется стих из третьего Евангелия: «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избежите предо мною».

Черный вихрь взмывает со словами, в роковой поединок вступают голоса, и слышится боль, и ярость, и звуки соскакивают с одного уровня на другой, и мелодией подчеркивается уверенность в недалеком будущем, когда так и произойдет, так и случится, и голоса пропевают слитно, единой силой: «предо мною». И замолкают.

Зал заворожен, широкий мятежный дух всех прохватил, и потому

не многие видят, как преосвященный вручает Третьяковскому листы, и тот, встав в позу, выжидает тишины.

Василий Кириллович делает серьезное, нарочито серьезное лицо — и начинает: «Сатира о различии страстей человеческих».

Тут уж переглядываются со значением, ибо сатиру знают многие, но вот чтоб так открыто!..

Василий Кириллович читает, читает мастерски и доходит, наконец, до обличения некоего Варлаама — двуличного чернеца:

Когда в гостях, за столом — и мясо противно  
И вина не хочет пить; да то и не дивно:  
Дома съел целый каплун, и на жир и сало  
Бутылки венгерского с нуждой запить стало.

Это прямой намек на духовника императрицы Варлаама Троицкого — удар по всей партии, ведь ради него-то, поди, и писал Кантемир свою сатиру, чтоб его очернить. А здесь читают ее перед всеми, принародно, выходит, что карта его бита.

Все рукоплещут поэту, принцесса благосклонно протягивает для поцелуя ручку. Праздник удался!

Слуги приглашают к столам. Поэт победоносно вскидывает голову, но во взоре преосвященного сквозит лишь смертельная усталость. Василий Кириллович сникает и вдруг, как удар, ощущает на себе глаза: ненавидящие, прожигающие — бывший префект Платон Малиновский смотрит на него. Обычно властный и надменный немигающий взгляд Василиска нынче полон такой лютой злобы и вместе с тем такой затаенной боли, что Василий Кириллович невольно проникается к нему состраданием, жалеет своего кровного врага. Но поздно. Участь его предрешена. Здесь. Сейчас.

Вскорости Евфимий Коллети и Платон Малиновский заключаются в крепость. Феофан Прокопович не забыл им историю с переводом Рибейриного писания. Так нужно, дабы пресечь раздоры в государстве. Так нужно, и враги заточены в глухие казематы. На веки вечные.

Никто и не подозревал тогда, что и у вечной ссылки будет свой срок и что и она кончится.

Но будущее живым людям узреть не дано.

## 14

*Санктпетербургские Ведомости № 92*

*В четверток 16 дня ноября 1732 года*

*В Санктпетербурге ноября 16 дня*

*«В прошедшии понедельник, то есть 13 дня сего месяца, изволила Ея Императорское Величество при провождении всех знатных господ от двора в построенном ради конной езды доме его превосходительства господина Обер Каммергера Графа фон Бирона быть и там из учиненных ради того мест эскерциции конной езды смотреть. Искусство ездящих и изрядныя лошади возбудили у Ея Императорского Величества великое удовольствие».*

## 15

*Санктпетербургские Ведомости*

*В четверток мая 31 дня 1733 года*

*«Вчерашняго дня гуляла Ея Императорское Величество в летнем саду и при том на бывшую во оном медвежьё травлю смотрела, а по-*

том изволила Ея Императорское Величество привезенным сюда в 1726 году из Колы и в Императорской кунсткамере в сохранении имевшиеся скелетон кита смотреть и о всем составлении его членов спрашивать».

16

*4 арлекина. Комедия италийская.*

*Перевел с италийского В. К. Тредиаковский.*

*Дана в Санктпетербурге в 1733 году в придворном театре.*

*Перечень всея комедии:*

*Аурелия, Диана и Смеральдина влюбившись в Арлекина отказывают от любви Силвию, Одоарду и Бригеллу; еще так же и выбору отца их. Сие принудило любовников искать помощи в одном волхве, который дав им образ арлекинской нашел способ, чтоб они обманули своих невест и на них женились.*

*Это действие в Венеции.*

17

*Санктпетербургские Ведомости*

*В Санктпетербурге июня 15 дня 1733 года*

*«В прошедший четверток учинилась Ея Императорскому Величеству нашей Всемилостивейшей Самодержице и всему Императорскому дому опять зело тяжкая печаль, понеже Ея Высочество Герцогиня Мекленбургская по продолжавшейся чрез некоторое время болезни к глубочайшей печали Ея Императорского Величества от временной сей жизни в вечное блаженство отошла.»*

18

*Санктпетербургские Ведомости*

*В Санктпетербурге июня 21 дня 1733 года*

*«...18 дня сего месяца опубликовано здесь объявление каким порядком по Ея Императорском Высочестве блаженныя памяти государыне Царевне и владетельной Герцогине Мекленбург-Шверинской, Екатерине Иоанновне траур на пол года быть имеет. Оной разделен на три части, следующим образом:*

*Мужеския особы первых шести классов, которые ко двору приезд имеют, должны носить первые шесть недель суконное платье с четырьмя суконными пуговицами, а на камзолах пуговицы и петли обшитые сукном до пояса, шапки и пряжки иметь вороненые, на шляпах флиор обвитой дважды, чулки гарусные черные ж, рубахи без манжет.*

*Другие шесть недель такое ж платье; токмо на кафтане имеют быть обшитые сукном же пуговицы до пояса, шапки и пряжки синие, рубахи с маншетами; а достальныя три месяца обыкновенной каммер траур...*

*Женския персоны первого, второго и третьего классов имеют первые шесть недель носить ординарное платье из тонкаго черного сукна, а на голове убор черной же с шипом. Другие шесть недель платье такое ж, а на голове убор белой токмо без кружев. Достальныя три месяца обыкновенной каммер траур...*

*В заключение сего в день погребения тела Ея Высочества все которые в процессии будут, как мужеския так и женския особы, имеют быть в самом глубоком трауре».*

## 19

*«По указу Ея Императорского Величества, принял я Василья Тредиаковского родиною из Астрахани в Академию Наук по следующим кондициям: 1) Помянутой Тредиаковский обязуется чинить, по всей своей возможности, всё то, в чем состоит интерес Ея Императорского Величества и честь Академии. 2) Вычищать язык русской пишучи как стихами, так и не стихами. 3) Давать лекции, ежели от него требуется будет. 4) Окончить Грамматику, которую он начал, и трудиться совокупно с прочими над Дикционарием руским. 5) Переводить с французского на русской язык все что ему дастся. За сие будет он иметь годового жалованья 360 рублей, включая в них свечи, дрова и квартиру, с титулом секретаря. Сие жалованье начнется с 1 сентября и будет ему даваться из ларца Академии Наук как и прочим, которые от нея зависят. В уверение сего закрепил я сей моею рукою и приложил печать академическую.*

*В С. Петербурге 14 октября 1733 года.*

*Герман Кейзерлинг Президент Академии Наук и вице-президент Юстиц-коллегии».*

## 20

В медоносный полдень метит яркокрылая бабочка воздух над цветущим травником; гудит где-то сбоку шмель — он всегда в полете, никогда не отдохнет, бабочка же сладкую росу собирает — словно танцует, словно любит себя. Бесшумны ее взмахи, красивы глазастые, изрезанные крылья с черно-красной траурной каймой; усталая, медленно сжимает и разжимает она невесомое свое богатство, как веером обмахивает согретое солнцем мохнатое тельце. Но издалека, с опушки, с вышины, узрели ее веселые и вечно голодные глаза, и уже, подвспархивая, словно по длинным ступенькам спускается, летит из зеленых ветвей на лужайку маленькая неутомимая птичка...

Прекрасен по-прежнему полдень: благоухают и стрекочут травы, луг спокоен, но нет бабочки и нет унесшейся дальше птички: свершившееся не нарушает успокоенной красоты и гармонии природной...

Можно было бы подняться и идти домой, но он не пошел. А надо было — на столе лежала кипа не считанных листов второго тома «Артиллерийских записок», — их предстояло выправить и к утру отвезти в типографию. Очень, очень срочная работа!

У него сейчас всякая вообще работа стала спешная, срочная, незамедлительная — заказчики (по большей части двор!) не могли ждать.

Так и теперь: Шумахер дважды в день напоминал ему о книге, подгонял, будто забыл, что четыре месяца назад сам приостановил печатание — Миних, требовавший срочного выхода «Записок» в свет, попал тогда в немилость при дворе. И вот снова фельдмаршал и генерал-фельдцейхмейстер в фаворе, а следовательно, книга должна быть готова — день промедления чреват гневом безудержным.

Шумахера можно понять: отвечая и за типографию, что с трудом справляется с заказами, Иоганн-Даниил должен выкручиваться — приостанавливать одно за счет другого, нажимать на рабочих и гнать, гнать, гнать в карьер, надеясь, что молодые рысаки выдержат, вытянут, не падут на перегоне. Тредиаковский — один из его упряжки — гнал всех скорее: переводил комедии для придворного итальянского теат-



ра — иной раз за несколько дней до постановки попадал ему текст, и приходилось следить самому — торопить типографию, корректора, гравера, ругаться, кричать и добиваться своего: бессонной ли ночью, светлым ли днем после нее работал станок, выдавая экземпляры листов с комедиями, которым надлежало увеселять самое императрицу в ближайшем, ближайшем будущем.

Хорошо, что удалось отделаться от «Ведомостей» — Шумахер настойчиво навязывал работу над газетой — хотел запрячь и тут, ибо обожаемый в недавнем прошлом Миллер, везший этот воз, стал теперь худшим врагом и сбежал от его гнева в Камчатскую экспедицию «изучать Россию изнутри». Ну, да тут пикантная история — Миллер сватался к одной из трех дочерей Иоганна-Даниила, но потом дело почему-то расстроилось — теперь Шумахер не мог даже слышать имени Миллера.

Василий Кириллович опасался, что Шумахер воспримет его отказ как черную неблагодарность, но сил не было за всем поспевать, и он, побаиваясь в глубине души, все же отказался. Шумахер, славу Богу, внял резону — ведь кроме комедий, перу Третьяковского принадлежали двадцать шесть из вышедших в этом году тридцати печатных изданий, и открывала список ода ее величеству, по случаю восшествия ее на престол, сочиненная и поднесенная на Новый год. Блестящий аннинский рубль из пожалованной тогда суммы он оставил на счастье...

Но сейчас Василию Кирилловичу было не до веселья, не до новых италийских комедий, не до Смеральдины и потасовок Арлекиновых, не до единорогов и мортир из артиллерийских записок, не до привычной полночной работы — чувство долга заглушалось страхом и боязнью за Ильинского. Целый день не покидало волнение. От него и усталость, и камень в желудке, и голова, налившаяся свинцом, — тело и душа пришли в полный разлад, и только огромным усилием воли подавлял он безответное чувство страха, загонял вглубь себя телесное и душевное нездоровье, продолжая заниматься той тысячью мелочей, что заполняли обязательную дневную жизнь придворного стихотворца, начинавшуюся с утренних уроков русского языка с президентом Академии.

Чуть свет прибежала к ним в дом Ефросинья — Иванова жена, просила льду и оказала, что академический лекарь Сатарош признал чахотку, поскольку у больного ночью шла горлом кровь. Француза Третьяковский навещал днем, и тот обнадежил, уверил, что болезнь не сильно еще захватила и возможно выздоровление. К Ильинским в дом удалось попасть только к вечеру, и первым делом Василий Кириллович обстоятельно пересказал врачебное мнение, но, взглянув на спящего Ивана, сам своим словам не верил уже — больно плох лежал Ильинский в постели: страшный, осунувшийся, трогательно беззащитный, как младенец. Вот к чему, значит, был его кашель.

И он остался. Рухнул в кресло у изголовья, сменив дежурившего с полдня Адодурова, прогнал спать обезножившую от тревог Ефросинью — остался, намереваясь провести так всю ночь.

Теплый воздух комнаты ласкал, свеча горела ровно. Скорбно, приглушенно ложился ее свет на вещи в комнате, на спящего. Шмящее чувство надвигающейся утраты охватило его: он глядел на Ивана, и состраданье, и собственное бессилие породили осознание своей греховности, слабости, а слабость, тишина, теплота округ немного успокоили, но не заглушили беспокойства до конца — остатки его затаились глубоко. И все же он отдыхал — вот так; страшно сказать, но отдыхал, рядом с тяжелобольным родным человеком.

Мысль понеслась, но не могла еще очиститься от скверны дня, нырнуть глубоко — он вспомнил ушедшего, тоже разбитого случившимся, Адодурова. Васята стал человек занятой. Нет, любит по-прежнему, но — адъюнкт математики и старается целиком отдаваться своей страсти, а

не Тредиаковскому и словесности, как бывало прежде: на все у него тоже не хватает сил и времени. Адодуrow приказом по Академии наук отдал в переводчики к Артемию Петровичу Вольтскому. Спасшийся казанский генерал-губернатор был теперь любим Бироном и занимался улучшением конской породы на новых заводах. Лошадей Бирон любил всего больше на свете — Вольтский, зная это, трудился не покладая рук, — а посему зависимый от него Адодуrow и вовсе лишен был свободных минут и работал ночами, как и Тредиаковский: тут их судьбы были схожи. Но вот с началом кампании в Польше Вольтского послали на место боевых действий, и Адодуrow вздохнул. Бунтовщик Станислав Лещинский, неудачный претендент на польскую корону, засел в Гданске, вынуждая русских к кровопролитию. Левенвольде и Леси тянули время, а мятежник тем временем копил силы — французы помогали ему с моря — и отваживался даже на вылазки. При дворе склонялись к назначению Миниха военачальником в Польше. Посему его сперва простили. Бирон решил, что графа оговорили Левенвольде и Остерман, боящиеся усиления грозного фельдмаршала.

Чудно завязала все нити Фортуна: из-за июльских событий Василий Кириллович вынужден был не спать ночами и спешно оканчивать артиллерийскую книгу, тогда как Адодуrow той же кампании обязан был временным освобождением и зачислением в штат Академии на должность адъюнкта. Впрочем, ничего удивительного — Тредиаковский привык уже ощущать свою зависимость от Больших Событий — то была плата за званье придворного стихотворца. Спору нет, оно возвеличивало безвестного ранее поэта, но оно же и сковывало руки, голос, — ода, что написал в подношение Анне, получилась звучна и всем полюбилась, кроме него самого. Да еще Ивана — тот первый уловил и сказал: «Ленишься, брат». Это не лень была, а следствие спешки — так тогда думал Тредиаковский. Хотя стоило прочитать ее вслух, а все, все его поздравительные стихи рассчитаны были только на чтение вслух! и мелодия очаровывала, захватывала — чтение же глазами выявляло словесные изъяны: в первую голову замечалась парадность пустых фраз, дух, дух великий, панегирический растерялся где-то по дороге, и только голос чтеца мог скрыть от непосвященных неудачу. Тогда он обиделся на Ивана, но не сказал, затаил обиду, и хорошо — сам прозрел позже, просто долго не находилось времени обдумать на спокойе его слова: переводы, присутствие на дворцовых церемониях, обучение президента Академии русскому языку, званые обеды у Куракина, где часто читал он свои последние творения, улажая собравшихся, — словом, он работал, работал, как вол, не видя передышки, не получая или почти не получая за это вознаграждения. Тех подарков, что, по принятому обычаю, дарили ему за подношение своих сочинений, едва хватало на жизнь, но сколько бы ни давали, должность придворного стихотворца обходилась дороже, требовала по последней моде сшитых одежд, париков, парадной золоченой шпаги и многих, многих мелочей, и он, самый неприметный, самый мизерный, на больших церемониях, комедиях и концертах стоявший рядом с комедиантами и шутами, не мог угнаться за роскошной жизнью и влезал, влезал в долги, чтоб хоть как-то соответствовать своему официальному званию.

По-прежнему был он нарасхват, его приглашали на обеды, на балы петербургские вельможи, но он, когда мог, от визитов уклонялся, пытаясь сэкономить драгоценное время.

Ощутимый удар нанесла ему судьба, лишив главной покровительницы и заступницы, герцогини Екатерины Иоанновны. С ее кончиной прекратились концерты, что устраивал изредка Василий Кириллович, — музыкальными развлечениями при дворе стали ведать специально выпитанные из-за границы французские и итальянские капельмейстеры. Все силы стал он отдавать театру. Императрица, в отличие от своей бо-

лее образованной сестры, предпочитала увеселительные, легкие зрелища, и Тредиаковский вскоре прослыл блестящим переводчиком комедий и интермедий, разыгрываемых заезжей итальянской труппой. Но без Екатерины Иоанновны стал он совсем мало приметен, герцогиня всякий раз отмечала его, подзывала, а то и специально вызывала к себе в гостиную, подолгу беседовала, тогда как ее порфиросная сестра лишь изредка бросала на него взгляд с высоты своего поистине царственного почти двухметрового роста. Беседы об искусстве Анна оставляла «своему Куракину». На него-то одного и возлагал теперь надежды Василий Кириллович, и князь их оправдывал, не забывал джиганне поэта, но приходилось платить за внимание и ласки — участвовать в куракинском кружке, небезопасно зубоскалящем о некоторых влиятельных придворных. Особо часто посмеивались здесь над Волинским, давним соперником Александра Борисовича, быстро набирающим силу, восхождения коего Куракин, видно, побаивался и открыто ревновал его к Бирону и императрице. Анна же умело извлекала из их нелюбви друг к другу пользу, — нарочно срамливая партии, втайне радуясь вражде и бесконечным насмешкам. Большею частью Василий Кириллович молчал на домашних куракинских куртагах, но приходилось и ему подпускать словечко, другое, когда этого впрямую требовал сановный Меценат.

Тредиаковский не забыл Артемия Петровича, его злопамятного взгляда, а тот, как выяснилось, тоже вспомнил о существовании своего давнего астраханского подопечного — Адодуров передал, что патрон как-то даже похвалил «Езду», хотя тут же и высмеял самого автора, назвав куракинским скоморохом. Сравнение было обидно и пугало Василия Кирилловича, в его планы вовсе не входило наживать себе врага, но поделать ничего он не мог — по-прежнему всецело зависел от капризов парижского благодетеля.

Видно, на роду было ему написано всегда оказываться в одном из воюющих лагерей, сколь бы ни мечтал он быть в стороне от интриг и политики. Куракин — надежная защита и, случись что, наверняка не даст в обиду, но все же он передал через Адодурова экземпляр «Езды» Артемию Петровичу и даже получил от него пятьдесят рублей — подарок более чем щедрый. При случае он выразил свою благодарность и остался в уверенности, что Артемий Петрович не держит на него зла. Конечно, сделал он это втайне от Куракина.

В столь незавидном положении утешало одно — все возрастающая известность, приближенность к трону, и это заставляло терпеливо сносить все, даже показное презрение иных придворных завистников. Не корыстолюбие притягивало его ко двору, как он уверял себя, нет. Он, воспитанный Ролленем, вынашивал большие, далеко идущие планы.

Слава налагала особые обязательства — поэт тем и силен, что может и должен вразумлять сильных мира сего. С дальним прицелом давал он уроки и президенту: на них объяснял стоящему у кормила новой науки, как важно создать в Академии собрание ученых и поэтов, наподобие французской академии, но только на русской основе, занимающееся изучением российской истории и русского языка. Получался парадокс: в Русской Академии красноречие и риторика велись на латыни. Это было прекрасно; как никто другой, Василий Кириллович знал цену языку древних, но он радел за свой родной, и президент, изучая его по необходимости, с интересом внимал мечтам: он находил их разумными и даже целесообразными. Обидно было и то, что в Академии большинство мест занимали немцы, а не русские. Нет, тут он не обольщался — ученых русских пока было ничтожно мало, но все же, все же дело почти не трогалось с мертвой точки. Задуманная гимназия пустовала, а коли некого учить — из кого, спрашивается, будешь набирать русских профессоров. Хорошо хоть Адодурова утвердили

адъюнктом. Нет, он вовсе не был против высокоученых собратьев, но обида, обида не покидала его. Посему и лез из кожи, старался, исподволь, постепенно претворяя в жизнь задуманные новины. Но мечты оставались пока мечтами, а ему следовало еще и нести свою службу, делать свое дело.

В Москве, когда он обретался там при дворе, Филипп Сибилев предупреждал, видя, как терзается Тредиаковский от безденежья: «Опасайся жить в долг: закабалят, не расквитаешься!» Милый, милый Филипп, он был бы рад, он и опасается, да что ж поделаешь? Так полагаются по правилам этой жесткой и роскошной игры, иначе не блеснуть, а сгореть его звезде, иначе...

Да, хочется славы, она упоительна, грешен. Но она необходима, ибо поэт, говорящий своей государыне, способствует тем самым расцвету наук и искусств в стране, и миг, когда он читает героические стихи, велик! Он видит, он чувствует, как приманивает слово, оно и самого чтеца наполняет силой, отраженной от глаз слушающих. И миг после — минута, когда не отошли мелодичные чары, когда все еще в его власти... О! ради этого мига не стоит ли и жить?!

Но вот он столкнулся с самым страшным — с действительной жизнью: Иван лежит рядом с ним тяжело больной и беспомощный, Екатерины Иоанновны больше нет, Филипп в Москве, Адодуров столь же занят, как и он сам, а Алешка Монокулюс, самый преданный, самый верный на свете человек, — в далеком Белгороде. Алешка потолстел, поважнел, принял постриг и зовется теперь отцом Андреем.

Встретились они неожиданно — в Петербурге на Невском подворье: Монокулюс попал в секретари к архимандриту Петру. С самим Петром они сошлись сердечно и близко еще в Москве, и вот несчастье — Феофан, не в благодарность ли за концерт на день Екатерины-великомученицы, отправил настоятеля первого российского монастыря в Белгородскую епархию, фактически в ссылку. Верные обету, Петр и новопостриженный Андрей укатили в далекий Белгород и шлют теперь письма при случае. А в письмах зовут, зовут в гости — на то они и письма...

Может быть, преосвященный намеренно удалил Петра как свидетеля Феофанова греха, ведь и с Тредиаковским стал он встречаться реже? Не забыть его взгляда, как рана сквозящего, — усталость, усталость от забот мирских, отягощенность грехами, что высший пастырь носит в себе.

А он? Он сам, орудие в руках Провидения, меч, покаравший отступивших, — не грешен ли тут?

Нет, нет, здесь не велика его вина. Нет, грязный, позорный, ужасный грех его в другом — с того момента, как год назад узнал о судьбах родных, носит он его в сердце и до недавнего времени не мог, ничего не мог сделать во искупление. Да и поздно, поздно было что-либо предпринимать...

Весь год он работал, не успевая предаваться размышлениям. Он работал и ждал, и наконец вспомнила о своем рабе императрица — он верил, что так и будет, — назначенье было необходимо, как воздух необходимо. По прямому монаршьему указу Василий Кириллович был зачислен в Академию. И хотя, за неимением вакансий по классам красноречья и риторики, стал он числиться «с титулом секретаря», оклад Шумахер положил ему как адъюнкту — триста шестьдесят рублей в год. Мнимую должность Тредиаковскому придумал сам Шумахер, изыскав место в академической канцелярии. Влиятельный библиотекарь в ближайшем будущем обещал причислить к профессуре, как только президент утвердит собрание.

Постоянный оклад (да еще такой большой!) был спасеньем — деньги нужны были, чтобы наконец перевезти из Астрахани Марию. Выплатив по срочным закладным, Василий Кириллович выслал пятьде-

сят рублей в Астрахань с Александром Афанасьевым, племянником Ильинского, ярославским купцом, недавно начавшим вести дела в Поволжье. Полсотни эти пошли на уплату Марьиных долгов, перевезти же Афанасьев согласился бесплатно, и вот в ноябре сестра приехала в столицу со своим девятилетним сыном Ванюшей.

Тредиаковский снова залез в долги, и теперь уже по-крупному, вычерпав жалование за год вперед, что удалось только благодаря заступничеству Шумахера. Он купил на Васильевском домик, где зажили семьей — вернее тем, что от нее осталось.

Мария брата-спасителя боготворила и, узнав, каких тот достиг высот, немного боялась. Она надела в доме порядок, следила за тишиной, когда он работал. Сестра стала немногословна, заметно переменилась — болезнь опалила всю ее жизнь страшным своим дыханьем.

Она его не винила, даже помыслить так не могла. Сам он себя винил, но старался не думать, не вспоминать. И вот теперь, в комнате рядом с больным Иваном, все и всплывало: жизнь, выходит, висела совсем на тоненькой ниточке, как легкокрылая бабочка, была беззащитна, и он с ужасом ловил чахоточные тяжелые вздохи-всхлипы, ловил и радовался, что они не прерывались. Он смежил веки, погрузился то ли в сон, то ли в полузабытье... Далекая-далекая безводная степь. Серая, безводная степь. Редко где среди мелких кустиков ковыля и полыни притаилось утоптанное овечьими копытцами окошко — калмыцкий колодец худак, или по-русски — копань. Вода в нем нездоровая — горько-соленая на вкус, затхлая, но овцы пьют ее, ибо никакой другой за многие-многие версты вокруг не сыскать.

В детстве Тимоха Лузгарь, что учил Сунгара грамоте, рассказывал им страшное про эти колодцы. В новолуние, в жуткий полночный час, когда уходят ангелы помолиться Богу, летает над степью ведьма и кропит помелом из адской склянки. Но ангелы Господни успевают перед рассветом убрать ядовитые капли, ибо страшные заключены в них болезни на погибель роду человеческому. Только раз в столетье попадает ведьмина капля в худак, и падает на дно его, и застывает камнем. Тогда может не заметить ее ангел, и оттаивает зло в воде поутру, и приходит великая беда — начинается падеж скота, а затем доносит ветер болезнь и до города.

Так ли, нет ли, но мор вспыхивал всегда вдруг, неожиданно и не в один год унимался: бывало, ослабевал или вовсе уходил, а затем нападал сильнее прежнего и терзал обессиленную Астрахань, выколачивал из нее живую душу. Застывала тогда над домами тишина: некому было звонить в колокола — священники и монахи из уцелевших не успевали соборовать и отпевать и, случалось, заболев сами, умирали без покаяния.

В его детстве, да и задолго до его рождения страшного поветрия не случилось, и о нем призабыли — сохранились лишь пугающие душу воспоминания и скудельница — часовня-однодневка, поставленная над общей могилой.

И снова вдруг, негаданно ударила болезнь — камнем свалилась кара с небес, пошла по дворам и не миновала большой крепости и семьи Тредиаковских. Осенью двадцать седьмого преставилась несчастная Федосья. Она умерла на второй день. Похоронив ее, Кирилла Яковлев ушел в монастырь и, став, наконец, иеромонахом, полез в самую болезнь — навещал и утешал больных, читал Псалтырь над усопшими, помогал хоронить зачумленных на кладбище — его чудом обходило, тогда как среди чернецов напасть дьявольская особо сильно утверждала свою власть.

Зима прибила болезнь, но благодарственную петь было рано — весной мор пошел сплошняком — казалось, настал конец света. Мария, похоронив мужа и оставшись с малолетком на руках, убежала к отцу в

монастырь — там многие искали спасения, но каменные стены не защищали — монахи мерли, как мухи поздней осенью. Отец был в числе последних, кто погиб в тот год.

Шесть дней лежал он в келье, страшный, как сама болезнь: глаза запали глубоко в орбиты, щеки ввалились, нос обтянуло кожей. Белый язык, невероятно громадный, с трудом ворочался во рту — отец бредил и что-то непонятное шептал, шептал. В периоды просветления он дважды успел благословить Марию и внука и передать прощение и благословение ему — Василию. Отец почему-то был уверен, что сын жив. Потом он долго каялся дочери в своих грехах и главным ставил гибель Ржевского, которому не смог, побоялся прийти на помощь.

— Отец, видно, повредился в уме,— говорила Мария.

Но Василий Кириллович знал, что это не так. Знал, как тяжек мужской грех, сам повинен был: за отца, за Федосью. Утешался лишь мыслью, что так все в мире устроено, что грехи родителей падают на плечи чад их, так же как и благословение отцовское передается по наследству, из темных-темных глубин Истории взяв свое начало, а потому, сильное силой стольких жизней, оберегает и хранит. Такие мысли примиряли немного с потерей родных, со своим сиротством.

Теперь же помирал Иван...

— Василий Кириллович, пойдете, я вам постелила,— голос Ефросиньи вывел из полудремы.

Он заартачился, уверяя, что посидит еще, но женщина твердо стояла на своем: «Смотрите, Ване лучше. Пускай себе спит, я в комнате прилягу, а вы уж идите в кабинет».

Иван, и верно, спал уже спокойней, дышал без хрипов, щеки его порозовели.

— Господи, неужто прав Сатарош?!

Теперь он поверил доктору, — все ж академический лекарь — не последний в государстве!

Словно гора с плеч упала. Чувствовал он себя разбитым, но душа снова обрела единенье с телом. Ночевать отказался наотрез — поцеловал Ефросинью в лоб, глянул еще раз на Ивана и пошел домой.

Разбудил Марию. Сестра, причитая, лила на голову холодную воду, а он только постанывал: так окончательно пришел в себя, сел к столу и просидел до утра.

В семь уже был в типографии. Строго глянул на рабочих, оставил вычитанные листы и вышел на сухой морозный воздух на улицу. Господин президент ожидал его к утреннему уроку, но Василий Кириллович решил пройти пешком, рискуя запоздать,— так мстил себе самому, пытался побороть чувство долга, а может быть, просто радовался ясному зимнему дню, радовался и вдыхал его с наслаждением?

## 21

*«Ода есть совокупление многих строф, которыми описывается всегда и непременно материя благородная, важная, редко нежная и приятная, в речах весьма пиитических и великоленных...»*

*Я впрочем и не даю моего Оды за совершенный образец в сем роде сочинения: но при важности в материи, и при Имени похваляемая и воспеваемая в ней, она нечто имеет в себе, как мнится, несколько небесславное, а именно, самая первая есть на нашем Языке...*

*Говоря о Греках, Римлянах и Французах, не могу я умолчать о природном нашем Россиянине, то есть о Преосвященном Феофане Прокоповиче, которои, поистине, как другии Горации, толь благородно и высоко, славно и великоленно вознесся в предражайшей своей Оде, сочиненной им на латинском языке, когда блаженныя и достославныя*

памяти Петр второй, император и самодержец Всероссийский, отправлялся в Москву для коронации, что Гораций был сам, посмотрев оную, в удивление пришел и ту ж бы его преосвященству справедливость похвалы учинил, которую я ему теперь отдаю. Я когда приехал из Франции в Санктпетербург, и, чрез приятство одного мне друга, лишь впервые стал читать сообщенную мне ту оду, и почувствовал энтузиазм ее превысокий, то в толь великий энтузиазм удивления и сам пришел, что не мог, свидетельствуясь совестью моею, удержаться, чтоб с дважды, или с трижды не вскричать: Боже мои! как эта Ода хороша и мастерски сделана!..»

Из «Рассуждения о оде вообще», приложенного В. К. Тредиаковским к «Оде торжественной о сдаче города Гданска». 1734 г.

## 22

### Санктпетербургские Ведомости

В Санктпетербурге февраля 28 дня 1734 года

«На прошедшей неделе в среду прибыл сюда другой Персидской Посол, которои кроме богатых подарков разные иностранные звери с собою привез.

Ея Императорское Величество наша всепресветлейшая Самодержица при нынешнем приятном зимнем времени почти ежедневно чрез несколько часов санною ездою забавляется.

На прошедшей неделе прибыл сюда от Российской под Данцигом армии господин Подполковник Риттерс курьером, котором между прочими известьми привез что помянутая армия во всяком возжеленном благополучии там находится, и что воду от города Данцига каналом отвели, от чего тамошние жители в великой страх пришли».

## 23

28 июня 1734 года, после многочисленных и кровопролитных приступов, длительной осады и бомбардировок, сдался Гданск — сдался, проклятая сбежавшего в последние отчаянные минуты короля-узурпатора Станислава Лещинского, переодевшегося ради спасения собственной жизни в простое грубое крестьянское платье, высокородного Станислава, ради которого и мучился, и страдал этот дерзкий город.

Это была победа! Победа тем более важная, что по смерти Великого Петра кровно обиженная им Европа зашевелилась было, желая утвердить свои интересы, но не вышло, не случилось! Вновь и вновь назло врагам затрепетали стяги росские на далеких чужих ветрах, и с началом дня взметали розовошекие трубачи воздух над лагерем, выдувая заливистую утреннюю збрю.

Миних одержал верх не только над внешней оппозицией, но и над внутренней, тем паче что братья Левенвольде сами успели перессориться и младший, камергер, упросил вернуть его ко двору, не желая больше блистать на поприще дипломатическом. На место его послан был действительный статский советник и президент Академии наук — Кейзерлинг, и порядок был восстановлен, каждый получил по заслугам, и больше всех — отличившийся фельдмаршал Миних, ибо слава, им добытая, возвышала не только страну, но и саму императрицу, до сих пор не умудрившуюся блеснуть на поле брани.

Радостное возбуждение двора тут же передалось Петербургу, и его поэт, его певец не мог не откликнуться на столь значительное событие. Он давно ждал случая, ждал материала для торжественной, героиче-

ской оды, для звучной песни эпической, кою считал венцом поэтического творения. Ни один панегирик не должен был равняться по размаху, по силе, по скорости движения, по пылу, по музыкальности, по захватывающему ритму той, о которой мечтал.

О! Теоретически он давно был к ней готов — часто вспоминал гамбургские уроки, и композиция была ему ясна. Он даже чувствовал и ритм: скорый, нервный. Ведь, в сущности, душа читающего откликается на движение, заложенное в словах стихотворца, повторяет путь, пройденный творцом. Обдумывая вирши и взяв за образец оду Буало на взятие Намюра, он сознательно сохранил лишь форму, лишь оболочку.

Он работал усердно, стараясь, чтоб вопросы чередовались с восклицаниями, а после, когда место придет времяпрославлению, взорвались бы карнавальная россыпью все нарастающие рокочущие звуки и рубли, ревели, рвались, как на поле брани.

Четко и величаво поднимались в гору на вздохе, а затем, растекаясь, как широкий весенний разлив, всей лавой стекали-выдыхались слова. Что? Кто? Почему? Точки вопросительные, и мерный, от круга к кругу набирающий силу ритм. Он завораживал, затягивал.

Но вот встает на пути грозная, могучая препона — опасная, смертоносная крепость.словно два голоса в споре: один силен, да и другой сильный — в борении их рождается смерч и несется, круша и ломая, увлекая за собой.

Гордый огнем Гданск и железом,  
Купно воинами повсюду,  
Уж махины ставит разрезом  
В россов на роскатах вне уду...

Летят бомбы, пылает осажденный город, рушатся один за одним бастионы, и вопит в ужасе магистрат, видя разоренье и погибель; нет сил сопротивляться, Гданск помышляет к сдаче, и вот — спешат отворять ворота, и... Свершилось!

Лишь на секунду, лишь перевести дух и снова дуть в трубы. И, ликуя, летит «Ур-ра!» над морем голов: восторг неистовый! И всеобщее наступает торжество.

Глас множится, ширится, растет — так поет хор, так мощно кончается fuga, так приходит движение взволнованной души к логическому концу — радостному и многозначительному.

Сталось так. Видно знак к сдаче:  
Повергся Гданск Анне под ноги;  
Воин рад стал быть о удаче;  
Огнь погас; всем вольны дороги.  
Повсюду и Слава паряща  
Се летит трубою гласяща:  
«Анна щастием превосходна!  
Анна, о наша! всех храбрейша!  
Анна Августа Августейша!  
Красота и честь всенародна!»

Оду он показал Куракину. Князь пришел в восхищение, и немедленно решено было печатать и поднести. Но не императрице, а герцогу Курляндскому. Шумахер приказал переводить оду профессору Юнкеру на немецкий язык, и с приложением «Рассуждения о оде вообще» получилась маленькая книжица-тетрадка, кою и поднес Василий Кириллович на торжестве по случаю победы самому Бирону.

Он читал вслух, а двор, привыкший уже к его выступлениям, слушал. В большой зале голос гремел — Василий Кириллович читал распаясь. Придворные затихли.



Анна Иоанновна любила громкое пение — ода ей понравилась, и она поманила поэта пальцем. Это был триумф! Бирон и Анна расспрашивали его, интересовались, какими он вскоре порадует их книгами! Зная склонность императрицы к необыкновенному, Василий Кириллович стал пересказывать им истории Абулгази-Баядур-Хана о татарах, что начал недавно переводить по приказу Академии. И, верно, сыскал бы еще большее расположение, кабы не проклятый итальянский шут Петрилла.

Хитрый и злой скоморох, увидев, с каким вниманием его госпожа слушает рассказчика, решил прочесть одописца, почуввав в нем опасного соперника. Уловив мимолетный перерыв в рассказе, он подлетел стрелой и, цепко схватив Тредиаковского своей сильной рукой, одним рывком вытащил на середину залы.

— О! Достопочтеннейший Абулгази-Баядур-Хан! Не откажи в любезности Росской императрице, спляши нам свой татарский танец!

Кривляясь и выкрикивая подобную галиматью, он выделывал колнца, норовя ударить сзади своего соперника куда посмешнее, — Василий Кириллович, естественно, пытался уворачиваться.

Хохот поднялся неимоверный, кажется, сия интермедия потешила двор много больше оды! Красный, как рак, злой, оскорбленный, Василий Кириллович никак не мог расцепиться со злодеем, а тот все увлекал и увлекал за собой. В игру включились остальные карлы и шутихи и, облепив их, воя и крича, толчками стали подгонять к двери.

Вылетая из залы, последнее, что видел Тредиаковский: хлопающую вдгон и хохочущую двухметровую Анну, над всеми возвышающуюся, радующуюся откровенно доставленному удовольствию, и весело ухмыляющегося герцога Курляндского.

Вмиг отцепился на галерее от него проклятый комедиант и умчался назад принимать поздравления, а Василий Кириллович остался в печальном одиночестве.

Если б не барон Иоанн Альбрехт фон Корф — действительный камергер двора, которого, ранее обожаемого, стали теперь при дворе встречать с некоторой прохладцей и даже грозились отдалить от дворцовых покоев в Академию на место отъехавшего Кейзерлинга (сказывали, что герцог ревновал Корфа к императрице), — если б не этот скачущий в полуопале вельможа, приобнявший и уведший по галерее, Василий Кириллович, верно, умер бы с отчаяния на месте.

— Дорогой мой, бросьте печалиться. Не вы первый, не вы последний. Так бывали ошельмованы и познатнее вас люди, — шепнул он поэту. — Не бойтесь, случившееся ни в коей мере не подорвет ваш престиж в глазах императрицы и двора. Если б я мог, я желал бы, эдак сплясав, вернуть к себе расположение, — добавил он, горько ухмыльнувшись. — Но как я не могу, то поговорим лучше о поэзии — я нахожу ваши стихи поистине великолепными.

Корф спас его, умело залечил рану: отвез к себе домой, и в его колоссальной библиотеке, состоявшей из нескольких комнат и насчитывавшей около сорока тысяч томов, — в одном из уютных закутков, для подобных душевных разговоров словно и предназначенных, они и просидели допоздна. Как любой уважающий себя молодой человек, фон Корф когда-то и сам баловался стихами. Им было о чем поговорить.

## 24

*Санктпетербургские Ведомости № 7*

*В понедельник генваря 21 дня 1734 года*

*«Ея Императорское Величество показывала себя чрез весь тот день зело милостиво и объявила между прочими Каммергера князя Куракина таинным Советником...»*

## 25

*Санктпетербургские Ведомости**Из Петергофа от 21 дня июля 1734 года*

*«Ея Императорское Величество всемилостивейшая наша Самодержица находится здесь с высокою своею императорскою фамилиею во всяком вожденном благополучии, при чем Ея Императорское Величество при продолжающей сеи приятной погоде иногда гулянием, а иногда охотю забавляться изволит. Здешние Министры приезжают и отъезжают ежедневно, и куртаги обыкновенным образом в великом числе бывают».*

## 26

*Санктпетербургские Ведомости № 103**В четверток декабря 26 дня 1734 года*

*«Ея Императорское Величество наша пресветлейшая Самодержица изволила 23 дня сего месяца следующие произведения при своих армиях учинить, а именно Генерал-Майора и своего Адъютанта господина Волынского, в Генерал-Лейтенанты...»*

## 27

*«Французы в прочтании стихов весьма искусны; но сказывают, что не уступят им в том персиане, арапы и турки. О дабы между нами сие в обычай вошло! Тогда-то бы прямую мы узнали стихов сладость».*

*Из Правила III Нового и краткого способа к сложению Российских стихов В. К. Третьяковского. 1735 г.*

## 28

Раннее-раннее утро. Морозец задорно покусывал щеки, и в едва тронутым солнцем тумане было сперва знобко — Василий Кириллович кутался в стоячий воротник шубы. Но уже не зима, не зима была на дворе — чуть приподнялось солнце и разлилось тепло. Туман и не думал проходить, густо стелился над Невой — сквозь него били в глаза яркие оранжевые лучи. Ветра не было, он-то бы разогнал белизну, но и тишины полной не было. Что-то шумело, а скорее, скреблось или даже звенело — не подобрать меткого слова к странному, настойчивому шумку, ползущему от накрытой клубящимся паром реки.

Спустившись ниже, встав у самой кромки чуть-чуть оплавленного солнцем бурого льда, он увидел: по оттаявшей дорожке течение изда- лека сносило стеклянную мелочь, и прозрачные бляшки напоздали на застывшие края потока, карабкались на сушу, выталкиваемые поспе- шающими сзади, — это походило на упрямую, целенаправленную, но слепую мурашиную тропу; и, как мурашиные пирамидки, лепились у темной воды на льду горками слюдяные льдинки и застывали или осыпались, а из-под тумана, ярким лучом подгоняемое, выносило но- вое кружево, и оно звенело, и шуршало, и скреблось о кромку изъязв- ленного берега, неутомимое, как шестерни строгих палисандровых английских напольных часов.

Время вмиг истаяло и исчезло.

Только ломкий звук утекающих льдинок — кусочков порушенной сиянием утра тонкой лунной речной простыни — заполнил все естество.

Тут, затаившись, вслушиваясь, он уловил мерный ритм, величавый неспешным, волнами накатывающим раздумьем. Ледышки ударяли в край, звякали, подстегивая общую, совместную мелодию.

«Вот она, гармония — мечта древних греков», — подумалось в сладкой грезе.

А затем ум прицепился к слову «ударение».

Ударялись звонко льдинки. Ударялись ударные звуки в слове. И сразу вдруг что-то нащупал важное, вспомнил, как говорили с Корфом об ударениях в немецких виршах. . .

Затем считал, читал, пел, чертил. Чертил, читал, пел, считал.

Лишь в сентябре, когда барон фон Корф был официально утвержден президентом Академии, Василий Кириллович поднес ему стихи. Казалось, были они похожи на тринадцатисложник Кантемира. Казалось. . .

Звучали же совсем по-иному.

Тут только и убедил Адодурова и Ивана Ильинского, давно уже оправившегося от болезни и по-прежнему первого слушателя, главного критика.

Василий Кириллович засел за теорию. Вот гдегодились сорбонские знания, уроки грамматика Дю Шанле и, конечно же, риторические навыки, почерпнутые у Малиновского и отца Илиодора. Он понимал, что открыл необычное, наконец-то открыл таящееся в глубинах русского языка правило стихосложения. Но надо было его описать, осмыслить, все выкладки перепроверить, подать любознательному читателю доходчиво, красиво и точно, как артиллерийский чертеж, как скупую математическую теорему. Теперь уши его наполнены были новой мелодией, он легко писал примеры — вирши, разъясняющие «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» — так решил назвать работу. Просчитывал количество слогов и убеждался, который уже раз убеждался, что создал новый рисунок строки.

Конечно, способ хорош был только для тринадцати- или девяти-сложных стихов, более короткие строки вообще вряд ли поддавались закону — песенки, попевки не ровня высокому эпическому жанру, они пишутся сразу, на одном дыхании, чувство, а не расчет тут важнее всего. То, что он изменил, касалось только до героического стиха.

Давно уже стали казаться ему старые вирши не стихотворением, а особым порядком построенной прозой, и лишь краеголосия-рифмы намекали, что это все же стихи. Выкинь их — и оставался голый рассказ, повествование, что не спеть голосом.

Добрый человек во всем добрым есть все; а злой  
тщится пребывать во зле всегда; бес есть такой.

Это не лучший пример, но наглядный.

Конечно, у Кантемира наличествует какое-то слабое, слабое покачивание голоса, что вообще случается в слогосчислительных виршах:

Уме незозрелый, плод недолгой науки!  
Покойся, не понуждай к перу мои руки. . .

Покачивание. . . Покачивание, завершающееся — рифмой. . .

Когда же, задумавшись о значении ударения, он понял, что в новых его примерах чередование разноударных слогов и строит необычную и столь гладкую и звучную мелодию, то враз и открыл стопы — тонический свой размер. Ведь у французов и поляков, с коих старый стих списан, ударение всегда падает на последний и предпоследний слоги, а для русского языка сие не характерно! И вот же почему-то утвердилось со времен Полоцкого подражание полякам, и оттого, что не у родного языка подслушанное, и звучало тяжело, по-иноземному, оттого и непонятно было многим. Для русского языка

характерно прыгающее, свободное ударение — хочешь в первом слоге, хочешь — в среднем, хочешь в хвосте слова, а значит, основа стиха — стопа, два слога, а не один, как ранее принято было! Названия он перенял у латинян, но суть-то с римлянским стихом была различна — у россиян в стихе рифма правит голос, задает ритм — рифма да правильное стоп построение. Прав, прав был Телеман, когда говорил, что для каждого языка свои законы существуют.

Основные стопы в стихосложении — хорей и ямб: первый слог ударен, второй без силы — хорей, наоборот — ямб. Что ж тут и выбирать, на глаз видно, да и уху слышно — хорей здорово ямба сильнее — ведь на силой ударенном слоге взлетает голос и падает в яму на безударном, в ямбической же строке как по кочкам скачет — скоро и не торжественно, это еще по певческой практике своей усвоил. И стих-то величавый, героический — вот что не забывать надобно!

Теперь переработанные вирши Антиоха Дмитриевича так звучали:

Ум толь слабый, плод трудов // краткия науки,—  
вместо автора:

Уме недозрелый, плод недолгой науки!

Две палочки — это цезура, пресечение, тут после седьмого слога надобно остановку делать, дабы возвышавшийся на первом полстишии голос отдохнул, ибо следующая половина нижайшим голосом начинается, слегда протяжно тянется:

крат — кия на — у — ки...

Вот так, стало быть, никаких смысловых изменений, но лучше, чище, стройнее выглядит, ибо обрело законное, исконно русское звучание, на правиле языка основанное.

Девяти парнасских сестер, // купно Геликона,  
О начальник Аполлин, // и пермесска звона!  
О родитель сладких слов, // сердце веселящих,  
Прост слог и не украшён // всячески красящих!  
Посылаю ти сию, // Росска поэзия,  
Кланяясь до земли, // должно что, самья.

Стихи стали просты, легки и доступны всякому. Великий Телеман одобрил бы его — он добился того, что поэзия станет наконец всеобщим достоянием. Пройдет время, и станут петь новые стихи, как поют на Спаском мосту былины, как распевают его вирши из «Езды в остров любви», распевают, говорят, не зная даже имени автора!

Многие в свете сразу уяснили себе значение открытия, и в их числе преосвященный Феофан — его мнение как поэта было особо, особо важно.

Наконец-то почувствовал себя Василий Кириллович ученым, наконец-то сделал нечто весьма и весьма для России полезное — ведь, исправляя и обновляя язык, он как бы перечеркивает старое, следуя заветам императора, и тем не способствует ли исправлению нравов? Такова его роль! Теперь не хватало ему только профессорского звания, дабы стать во главе всех, кто пойдет за ним! Неотступно стал он убеждать Корфа, как прежде Кейзерлинга, создать при Академии Российское филологическое собрание.

И вот, наконец, президент Академии наук, почитатель таланта и научного дара Василия Кирилловича Тредиаковского, сам поэт в душе, 14 марта 1735 года торжественно учредил собрание из переводчиков, обязующихся неотложно два раза в неделю, а именно в среду и субботу, собираться для обсуждения насущных проблем российской словесности и истории.

Первую речь по открытии поручено было держать Василию Кирилловичу.

## 29

Не помышляете ль вы, что наш Язык не в состоянии быть украшаем? Нет, нет, Господа; извольте отложить толь неосновательное мнение. Посмотрите, от Петра Великаго лет, обратившись на многии прошедшии годы; то размысливши увидите ясно, что совершеннейший стал в ПЕТРОВЫ лета язык, нежели в бывшая прежде. А от ПЕТРОВЫХ лет толь от часу приятнейшим во многих писателях становится оный, что нимало не сомневаюсь, чтоб, достолавныя АННЫ в лета, к совершенной не пришел своей высоте и красоте...

Ясно есть, что и трудность в нашей должности не толь есть трудна, чтоб побеждена бытне возмогла. Одно тщание, одна ревность, одна неусыпность от нас требуется. Можно ж дать и способ, чрез который тщание, ревность и неусыпность неминуемо иметь мы будем. Верьте мне, когда о труде памятовать не станем; когда хвалы, славы и общия пользы желать станем; когда не для того будем жить, чтоб не трудиться, но ради сего станем трудиться, дабы и по смерти не умереть; тогда нечувствительно привыкнем и пристрастимся к тщанию, ревности и неусыпности».

Из Речи о чистоте Российского языка, произнесенной 14 марта 1735 года в Санктпетербургской Академии наук и членам Российского собрания В. К. Тредиаковским.

## 30

## Санктпетербургские Ведомости

В понедельник марта 3 дня 1735 года

«В прошедшую субботу изволила Ея Величество всемилостивейше приказать, чтоб Профессора Астрономии господина Делила и Профессора Физики господина Крафта ко дворцу призвать, по которых прибытии туда последнии из них до обеда в высочайшем присутствии Ея Величества с Чирнгаузенским зажигательным стеклом некоторые опыты делал; а ввечеру показывал прежде помянутой господин Профессор Делиль разныя Астрономическия обсервации, при чем Ея Величество между прочими на Сатурна с его кольцом и спутниками чрез Невтоаианскую трубу, которая на 7 футов длиною была, смотреть изволила. Ея Императорское Величество объявила о сем всемилостивейше удовольствие и приказала, чтоб как Физическия так и Астрономическия инструменты, для продолжения таких обсервации, при дворе Ея Величества оставлены были».

## 31

«Верховная в человецех власть — сия то есть и злострастиям человеческим узда, и человеческого сожительства ограда, и обережение, и заветренное пристанище. Если бы не сие, уже бы давно земля пуста была, уже бы давно исчезл род человеческий. Злобы человеческие понудили человек во един общества союз и сословие собираться, и держащим и властью, силою, от всего народа, паче же от самого Бога, данною, вооруженными хранити и заступати себе как от внешних супостатов, так и от внутренних злодеев...

Пуцай кто хочет дискутует и в рассуждении трудится, который лучший и который худший правительства образ и который которому народу угодный и противный? А нам все того взыскание стало ненужное, излишнее; научили нас, что нам добро и что зло, многолетних времён искусы...»

Из «Слов и Речей» Феофана Прокоповича.

Две недели, две недели уже как ежедневно, кроме среды и субботы, когда заседает Собрание, приходит он сюда в Летний дворец. Охрана и слуги знают господина стихотворца — в библиотеке топится печь — тепло-тепло, как он любит. Двор редко тут отдыхает, и здесь покой, и в аллеях сада тишина. Он разбирает закупленные недавно в здешнюю библиотеку книги.

Работу выхлопотал князь Куракин — при случае, когда искали, кого назначить, предложил Василия Кирилловича, вспомнил их недавний разговор.

— В библиотеке все последние европейские новинки — среди них и ищи. Коль задумал просвещать Россию — лучшего собрания не сыскать, — сказал тогда князь.

На словах Александр Борисович по-прежнему поклонник и ревнитель европейской культуры, на деле — целиком увяз в придворных интригах: на них уходит весь пыл, все время; но своего Тредиаковского не забывает, зовет иногда по вечерам и вот так помогает, подсобляет.

А Василий Кириллович рад, сколь бы ни был занят, — он получил возможность читать самое последнее, самое свежее. Поиски увенчались успехом, точнее сказать — открытием!

Среди всевозможных историй: Великой Британии, Франции, германских земель и прочих, прочих — приискалась многотомная только-только увидавшая свет «Древняя история». А если полностью, то — «Древняя История об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках», сочиненная сами Ролленем!

И еще один труд привлек внимание — вышедшие, наконец, полностью в Гаге записки покойного Лебрюна. В предисловии герра Бидлоо не упомянут был Василий Кириллович, о Шумахере же сообщалось кратко, но статья Иоганна-Даниила о калмыках действительно обреталась в приложениях. Там же поместились и письма исследователя, и в них, в них Тредиаковский узрел свою фамилию, но никакого отношения к изданию двухтомного фолианта она не имела.

Он читал и опять, в который уже раз, поражался, сколь крепко сковала его судьба с Голландией и с Парижем, — даже здесь, в России, все время, все время напомнимьями в разговоре ли или вот так, с книжной страницы, вдруг глядело на него бывшее. Не зря, видать...

Он читал письма-отчеты Лебрюна...

«Левый берег, в основном низинный, сильно порос густым кустарником, тогда как правый холмист, и на нем встречаются редкие деревья. Речного тростника здесь особенно много по берегам, на мелководье...»

И мнилось тенистое в жару войско тростинок: разбивается об их частокол речная рябь, и если только не вильнет хвостом рыбина, то тихо в тростниках. Челнок проделывает в зарослях дорогу, уминает целые пряди — безжалостную, кривую оставляет за собой тропу. Сунгар лежит на острове и, как всегда, поет чуть слышно, зудит, как шмель. Вдалеке-вдалеке в дымке — бурый силуэт Плосконной горы.

«Прибыв в Астрахань, я тотчас же поутру был принят губернатором Тимофеем Ивановичем Ржевским...»

Имя! Незабываемое имя! Словно гончая по следу, понеслись буквы перед глазами — и вот возник портрет слегка заискивающего и хлебосольного отца, и даже сам он мелькнул на странице — ребенок, на зубок которому подарил голландец свой золотой червонец.

Монета сохранялась в семье как талисман: в самые тяжелые минуты не было и мысли ее разменять. Мария передала ее брату по приезде — отец, помянув Василия, вложил в руку дочери этот тяже-

лый желтый кружочек. Теперь он лежит вместе с серебряным рублем, что сам уже Василий Кириллович отложил с первого аннинского дарения — два памятных кругляша «на удачу» почивают в бархате шка-тулки.

Но Тимофей Иванович, грех семейный... Кажется, заступись отец тогда, и слово бы охранило, но нет, недаром же запечатлелось в памяти, словно бы не от отца услышанное, а виденное самолично: страшный, изрытый копытами песок перед собором, и злобы полное, вопящее море голов, конник Уткин, и острие пики, прободавшее правый глаз и выскочившее сзади, чуть пониже темечка.

Прав, как всегда, мудрый Прокопович! Теперь он мало появляется в свете, часто болеет и много отдает сил своим ученикам, но сказанное останется навеки. Пускай другие спорят о способах правления — Россия себе давно избрала дорогу и, руководствуясь законом, что еще несравненный философ Гуго Гроцкий проповедовал, с дороги этой не сойдет: так Петр положил, так Феофан объявил миру, так и он, Фортуной и Петром в поэты поставленный, петь станет! Воистину страшен низкой бунт, страшен, кровав, дик и необуздан — только просвещенный государь в силах с Россией совладать. Ему править, ему и создавать ее. Петр Великий наметил, но главное успел совершить — стронул с места. История редко таких богатырей рождает, а посему — семя посеяно, но возвращать его надо бережно, осторожно.

Итак, договор государя с подданными в основе — один бы о стаде пекся, а стадо бы ему внимало, но все на взаимном доверии, только так!

Пока — мечты, но на то и время, на то и история, чтоб воспитывать понемножку, потихоньку, как ребенка малого. Если глаза открыты, не заслоняться рукою, что же вокруг творится? На неученый взгляд — разорение, мздоимство, пустословие, вельможное тиранство и черное, послушное рабство российское, взрывающееся редко-редко, вот как тогда в Астрахани, дико, бесцельно и сокрушительно. Все верно, но то на неученый взгляд... Посему и дано слово ему, чтоб открывать глаза всем высшим, у власти стоящим людям российским. Шумахер считает, что музыка и поэзия смягчат нравы народа и владельцы отойдут душой, приблизившись к прекрасному. Не так ли было с ним самим на аллеях Биненгофа, в зале Томаскирхе, везде, где припадал к бесконечно чистым и непостижимо великим родникам Искусства? Не зря же старается он, переводит потешные италийские арлекинады, пустые, но заразительно веселые, не зря пришлось стерпеть измывательство Петриллы, не зря принимает участие в рождении первой оперы — драмы на музыке, кою ставят мэтр Арайя Неаполитанец и господин балетмейстер Антоний Ринальди в Императорском театре, — сколь ни низки подобные развлечения в сравнении с высокими трагедиями, с историческими драмами, но они создают бодрый тон, веселят, молодеют, просветляют. Конечно, страшен пока двор. Расправы и заточения, преследующие неугодных, развращенность фрейлин, борьба партий — Куракина с Волынским, например, но пройдет, все изменит время — лучший лекарь природный. Это сказываются остатки правления верховников, когда, пытаясь ограничить власть самодержавную, клики Долгоруких и Голицыных расшатали Россию, Петром поправленный и задолго до него установленный порядок. Ведь и сам он несовершенен, грешен, принимает участие в их грызне, пусть и помимо воли, ведь содействовал же падению Малиновского — но так, видно, надо. Решать не ему.

Он создан для наставлений и увещаний — теперь пришла пора, и следует говорить. Теперь его станут слушать — ведь он признан как поэт, как ученый, вельможи вспоминают его речения, пересказывают его каламбуры.

Лежит перед ним на столе труд великого парижанина, его учителя Шарля Роллена, который описывает следующим образом древнего государя, замыслившего войну против Персии — давнего соперника греческих государств: «Что бы воспрять такое намерение, то надобен был Государь смелый, проворный, привыкший к войне, который бы имел великии замыслы, который бы уже получил себе знаменитую славу своими действиями, который бы не был устрашаем бедствиями, ни останавливаем препятствиями, но особливо который бы совокупил и соединил под свою власть все Греческие области, из коих ни одна особенно не была в состоянии начать предприятие толь смелое, да все имели нужду, дабы действовать согласнo, быть покорены одному Главному, кой бы привел в движение все части сего великого тела, делая их все поспешствующими одной цели и одному намерению. Но Александр был такой Государь». Нет, не могут не задуматься его соотечественники, не сравнить вольно или невольнo Александра Великого с Великим Петром и, вспомнив и убедившись в правоте дела Александрова, еще более поймут величие замыслов Петровых. Нет, не могут не повлиять на людей описанные Ролленем примеры добродетели и жестокости, прямоты и коварства, трусости и подлинной любви к своему Отечеству!

Начало положено — открыто Собрание. И хотя нет пока в нем отдела исторического, но за правильное сочтено академическим начальством сперва переводить русские летописи на латынь, дабы весь мир узнал, наконец, величие истории российской. С мировой же он познакомит соотечественников, начнет, подготовит их к восприятию прошлого, преподнеся им Роллена. Следует сперва изменить, узаконить новый язык, составив Лексикон и Грамматику, и желательно быстрее, как поступил он с новым стихотворством, а тогда уж можно и за родную братья историю, писать ее новыми словесами. Предмет сей особо важен — своя родословная, ей бы и объяснять все беды сегодняшние.

А беды, конечно, неисчислимые, страшна ночь черная без звезд и без месяца, как обруч шейный раба: и не удушает вконец, и давит, напоминает ежечасно. . .

В сентябре сего тридцать пятого года вызвали его вдруг к самому начальнику Тайной канцелярии, генерал-аншефу Андрею Ивановичу Ушакову. Видели они друг друга во дворце, но и словом не перемолвились, и слава Всевышнему, с таким господином лучше б никогда и не знаясь. . . Ан пришлось. Если честно, так порядком натрясся, пока доехал, да пока в кресло усаживался, да пока суть дела узнал. Генерал-аншеф не прост. Нет бы сразу изложить, а то потянул жилы, помучал, выспрашивая. Это, кстати, очень даже страшно бывает, очень даже не по себе становится, когда пот холодный на лбу проступает от одного-двух простых словечек. . .

Ну, а уж как узнал, то даже и оскорбился на безграмотность провинциальную. В Костроме по доносу тамошнего человечка схватили и, в кандалы заковав, привезли в Москву священника и дьячка. Переписывали они его, Василия Кирилловича, песнь, в Гамбурге сочиненную. Да еще какое к ним обвинение приложили — оскорбление Высочайшего имени! Слово «императрикс» их напугало, неучей, за мужской род, за намек приняли и чуть сгоряча две головы не срубили. Пришлось бумагу писать объяснительную, что-де так по правилам поэзии положено, ибо иначе в размер не впадало. И не оскорбление, а превознесение имени ее сие есть.

А начальники-то розыскные хороши: ведь Семену Салтыкову московскому, что запрос прислал и, пока бумага ходит, на гноевище людей содержал, сам Василий Кириллович в феврале тридцать первого года песнь подносил. Знал ведь, что не поклеп, а испугался — разряд



дела шибко важный,— вот и заслал в столицу. Андрей Иванович тоже не спешил, да еще и отписку попросил, что дело закрыть. Людей пообещался не неволить, глянул хитро на прощанье и отпустил с миром.

А ведь могло бы... Страшно подумать!

### 33

*Из письма И. Ильинского — А. Кантемиру от 18 июня 1736 г.*

*«Ныне работаю по домам, а наипаче тридневно по вся недели и по утру и по полудни в Академию броднею весьма отягощены: работа состоит в переводах летописцев на латинский язык, а бродня в установленных конференциях, где всяк свой русской перевод читает, а прочие все обще для лучшей чистоты разсуждать и исправлять должны, и потому малейшее нас число собранием наречено...»*

### 34

*Санктпетербургские Ведомости № 9*

*В четверг, генваря 29 дня 1736 года*

*«...Вчера праздновали здесь высокий и всерадостный день рождения Ея Императорского Величества нашей Всемилостивейшей Самодержицы следующим торжественным порядком: Ея Императорское Величество изволила в придворной церкви слушать божественную литургию, при окончании которой говорил Преосвященный Феофан Прокопович Архиепископ Новгородский преизрядное поздравительное слово... По совершении Божия службы... возвратясь в свои покои, в одиннадцатом часу пред полуднем, изволила Ея Императорское Величество при учиненной с крепости и адмиралтейства пушечной пальбе принять всенижайшия поздравления, как от чужестранных и здешних министров, так и от знатнейших обоего пола в пребогатом убранстве бывших особ. Потом учинен от поставленной на льду Невы реки, перед Императорским домом, Гвардии и других полков троекратный беглой огонь, после сего изволила Ея Величество подняться на новопоставленную, 60 шагов длины имеющую и богато украшенную Залу, к убранному золотым сервисом столу, за которым... кушать соизволила. По обеим сторонам в длину залы накрыты были для нескольких сот персон наподобие сада зделанныя и везде малыми оранжереями украшенныя столы. На столбах между окон и на стенах в зале стояли в больших сосудах посаженные померанцовые древа, от которых вся палата подобна была прекраснейшему померанцовому саду. Вверху на галерее стояли Virtuозы, Кастораты и певицы, которыя переменою своих изрядных концертов и кантат Ея Величество при столе забавляли... В третьем часу пополудни изволила Ея Величество из-за стола встать, а после четвертого часу начался... бал. В начале ночи дан был несколькими ракетами знак к зажиганию иллюминации, по которому прежде со всей крепости из пушек выпалено, а потом как сия фонарями украшенная крепость, так и стоящая на театре фейерверков машина вдруг иллюминирована. После семи часов учинен ракетами вторичной сигнал к пушечной пальбе, и по последнему выстрелу учинено начало сего великаго и славнаго фейерверка, зажжением большаго впереди стоявшаго плана, и двенадцати по обеим сторонам поставленных малых щитов. По совершенном и благополучном окончании трех действий сего фейерверка бал в помянутой зале до десяти часов ночи продолжался.*

*В сей торжественный день соизволила Ея Императорское Величество Камергера Князя Куракина Обер-Шталмейстером, а господина*

*Генерал-Маиора Волынского в Обер-Егермейстеры всемилостивейше пожаловать. Ея Императорскому Величеству учинено всеподданнейшее поздравление от Академии наук печатною Одою...»*

## 35

Стройные, как смоль, вороные красавцы: ноги-тростинки, нервные ноздри, гордые головы на дивных шеях — крепких, мускулистых и благородно вытянутых, — здесь все на подбор, все удалцы и, гордясь собой, чуть поводят взором, двигают от нетерпенья ушами, перебирают ногами, месят песок, выставляются перед своими соседями по строю, и верно — вместе и вовсе они божественны, а чернота их прекрасна, как драгоценная дамасская сталь; переливами отдает в синеву, каждая ложбинка, каждый бугорок заметен на тончайшем природном сафьяне: вспыхнет белая звездочка, мелькнут белоснежные чулки над легковесными копытами, но все разом — сладостная и страстная черная персидская ночь!

— Ать! — проносится первый громовой окрик командира.

И развернулись по кругу, растянулись, все вмиг зарысили. В так копыта стучат по утопанной тропке так, что топот тонет в ушах, а песчаные струйки обдают и скребут барьер у дорожки.

Вновь равнение по невидимой ниточке посередине манежа — шаг артистически точен, — лишь гривы нестриженные и хвосты, не затянутые в узел противно уставу (кони пока не приписаны к кавалерийским казармам), развеваются, как танцующий табор, и... врыли ноги с разлета, замерли строем. Гордые лошадиные глаза глядят дружелюбно, тепло (будто заранее их так обучили!) — весь ряд неотрывно смотрит в сторону герцога с императрицей. Чудеса! После долгой скачки кони свежи — усталости ничуть не бывало, ни хрипов, ни фырканы, ни брызг пены с мундштуков, лишь капельки застыли на лоснящихся бабках.

Браво! Браво!

Российских персианцев вывел Артемий Петрович Волынский — недаром пожалован обер-егермейстером двора. Трижды виват!

Манеж рукоплещет. Бирон рад всех больше: вот они — Кони... От волнения он глубоко вздыхает и глядит победоносно — это он повелел преобразовать российскую конную породу!

Ай да господин кабинет-министр! Виданное ли дело — сам дает команды, руководит экзерцициями! Но он всегда все делает сам — так Волынский! О! Он умеет пустить пыль в глаза!

Кони и впрямь заслуживают восторгов — вновь кажут они чудеса грациозности и жгучего темперамента. Наездники им под стать: Миниховы казаки, ряженные буйными запорожцами — в трепещущих рубашках и шальварах, подпоясанные разноцветными кушаками. Так и мелькают цвета по манежу: львы, львы, а не кони, орлы на них, а не всадники!

Флейты и барабаны из левого угла издают торжественный шум.

Наверное, один он здесь не рад, не доволен, затаил обиду в груди. Почему так не любит Артемия Волынского? Давно, с давних, юношеских лет, когда еще Салтыков расписывал боевую удаль молодого офицера царю, когда приблизил Артемия Петр. И потом — всегда он следил за взлетами и падениями государева любимчика, этого вепря, рвущегося тараном под убийственный огонь и чудом всего спасающегося, уползающего в чашу, зализывающего раны и являющегося свету в обличье непобедимого гордого индюка и грубого льстеца.

Князь Александр Борисович Куракин почти с нескрываемой ненавистью смотрел на представление в манеже.

Как бы ни был умен и начитан Волинский — в нем нет лоска, это ум наемника, ландскнехта: хитрый, изворотливый, кровожадный. Он любит лишь грубые удовольствия: езду, стрельбу да охоту. Тут он мастак — травли оленей за призы в Екатерингофе получаются у него картинно: вот на взгорке, на желтой залысине стерни, появляется разодетый в ливрею раб, подносит к губам блестящую улитку рога, и несется вся разноцветная кавалькада, улюлюкает, свистит, гаркает, хохочет — в буйном зрелище есть свой задор, своя старинная прелесть. Он бесстрашен, Волинский, надо отдать ему должное — когда идет на вепря, не сомневается в победе — глаза острые, злые — одной внутренней своей силой, кажется, способен завалить зверя. Но зарвется, зарвется, обложат и его. . .

«Нам, русским, не надобен хлеб, мы друг друга едим и сыты бываем», — любит повторять он свою присказку.

Но Волинский не достоин назначения, думалось неотступно князю, но как, как донести до императрицы, вернее до Бирона, что им же порожденный фаворит может со временем восстать против своего покровителя?

Прав был Павел Иванович Ягужинский, когда пророчил, говорил, что знает-де Артемия: тот всех сперва улестит, всех вокруг пальца обведет и в кабинет-министры пролезет, а от петли все ж не уйти ему — таков человек!

Первая половина пророчества сбылась — дело за второй осталось. Значит, надо ждать. А пока императрица забавляется — видит, что оба ее любимца терпеть друг друга не могут, и возвеличивает их одинаково — в один час обер-шталмейстером и обер-егермейстером назначила. Александр Борисович стал управлять всеми дворцовыми делами — это и понятно, он с давних еще пор, с воцарения, великий знаток и устроитель интимных вечеров, камерных увеселений — самый надежный и близкий друг — всегда под боком, всегда во дворце; Волинскому достались дела внешние, так сказать, — охоты, конские заводы и конюшенная канцелярия, — словом, прямое развлечение герцога.

Тредиаковский — молодец, сочинил недавно комическую песенку про рьяного охотника, за своей пагубной страстью весь свет позабывшего. Василий Кириллович, естественно, так высоко не метил, но уж Куракин постарался, даже до императрицы песенка дошла и много ее позабавила. Все, конечно, поняли намек, а Волинский, донесли, с трудом гнев сдержал, чуть не поколотил Петриллу, когда шут императрицын ее невинным детским голосочком затянул. Смех смехом, но куплетцами его не изведешь, только больше растрaviшь. На людях Александр Борисович и Артемий Петрович раскланиваются, приличие блюдут, стараются только обходить друг друга, а как случится сойтись — оба само доброприятство.

Александр Борисовичу вспомнилась судьба обер-шталмейстера графа Карла-Густава фон Левенвольде, который через своего брата Рейнгольда уведомил Анну о решении верховного совета, передавшего власть в ее руки. Императрица услуги не забыла — до смерти немец пребывал в большом фаворе, а поскольку был статен, красив и своеволен, то будил в Бироне ревнивые подозрения. . .

О! Наконец-то князя осенила счастливая мысль!

Александр Борисович радостно вскинул глаза и сделал несколько похвальных замечаний — теперь казацкое умение продемонстрировали лихие наездники, так что лавры скорее адресовались Миниху.

Внушающих опасение соперников Бирон оттирал втихую, как Корфа, например, коего заткнули на никчемное место в Академию, где он лишен влияния и не опасен. Но такого человека, как Левенвольде, унести могла только смерть, что, к счастью, и случилось. Отозвали с

дипломатической службы Павла Ивановича Ягужинского и сделали его кабинет-министром — сподвижник Петра мыслился герцогу противовесом изворотливому и коварному Остерману, но вскоре Ягужинский скончался. Разделив конюшенное ведомство, герцог с императрицей решили, не обделив, еще более приблизить и князя, и Волынского, но вот, со смертью Ягужинского, Волынский обскакал Александра Борисовича и ныне — кабинет-министр. Бирон видит в Волынском единственный способ держать в узде Анниного «оракула» Остермана, но хитрец недаром вице-канцлер, он тут же пустился приручать новоиспеченного соперника-соратника. Волынский в себе уверен — ведет себя так, словно всю жизнь был у кормила власти — наглеет с каждым днем и в ус не дует. Анне это нравится. Пока. Заметил ли это герцог? Если не заметил, то следует сделать так, чтоб заметил, — Волынский не Левенвольде, его свалить можно и при жизни.

И вот под литавренный бой закончились экзерциции, и казаки, спрыгнув с коней, повели их в последний круг по манежу. Артемий Петрович подлетел к барьеру и склонился в поклоне перед императрицей. Затем он отбросил поводья подоспевшему берейтору и, прямо подойдя к Ее Величеству, свежий, дышащий полной грудью, глядя ей в глаза, горделиво произнес: «А ведь они хороши, не правда ли, Ваше Величество? Надобно сказать Куракину, пускай припишет к дворцовым конюшням, жаль отдавать таких красавцев в строй».

Александр Борисович улучил момент, приобнял герцога за локоть и, отметив, что тот по-прежнему пребывает в восторженном настроении, подпустил вполголоса: «Наш сегодняшний герой по праву получил должность покойного Левенвольде. Он старается походить на своего предшественника, глядите — он галантен, как истинный царедворец, и прям, как непобедимый воин. Если все свои обещания он станет выполнять столь же скоро и точно, как и в случае с персидскими иноходцами, то несомненно вмиг прославится не только как устроитель конных заводов!»

Бирон утвердительно кивнул головой, но затем, видно, понял скрытый намек — улыбка сползла с его лица. Кабинет-министр спиной почуял неладное и бросился улаживать своего покровителя. Как ни в чем не бывало, Александр Борисович включился в общий разговор.

Итак, семья брошена и пало на благодатную почву. Князь Куракин вновь ощутил жгучий интерес к жизни — по природе он тоже игрок, но с другим, нежели Волынский, темпераментом.

## 36

### Наставление XII

*«Хотя Ты и Государь, но должен отбегать от всего того, что дорого стоит, чего и другие, равно же как и ты, иметь захотят... Принцы крови Вашей восхотят делать то же почти, что Вы делаете. Вельможи будут стараться подражать принцам, дворяне вельможам, откупщики же превзойдут и самых вельмож, и все мещане захотят следовать степеням откупщиков, которых они видели из подлости происшедших. Никто умеренности не следует и о себе право не рассуждает. И так от одинаго к другому роскошь переходит, яко не чувствительная тень, от знатнейших даже до подлейших людей. Носите ли Вы шитые кафтаны, то вскоре и все их будут носить. Единой же способ вдруг пресечь роскошь есть подать собою пример, какой Святой Людовик подал великой простоты, и подали ль Вы во всем сей столь нужной пример?.. Еще повторяют, толика есть сила государского примера, что один мо-*

*жет умеренностию своею возвратить на путь здравого рассудка собственные свои народы, так же и соседственные. И понеже он может, то, конечно, и должен исполнить. И исполнили ль Вы сие?»*

*Наставления для совести Государя, к поучению Людовика Французского Герцога Бурбонского, сочиненные господином Франциском Солииаком де ла Мотом Фенелоном.*

## 37

Небо затянуло облаками, и полная луна лишь на мгновения проклевывалась из-за низких туч, но света было предостаточно — он взмывал вверх, желая прожечь низкий небосвод колкими искрами: багровое, дикое пламя заливало близкие окрестности.

Первый испуг прошел, и быстро царственно-жестокое зрелище окрутило, привадило — не оторвать уставших глаз от слепящего огня. Мария с сыном и Василий Кириллович приросли к обочине Большой Морской, крыльями обтекала их толпа, тоже впившаяся в огонь; полмешка с книгами, шкатулкой, где болтались две памятные монеты, да ворохом рукописей и старых перьев, что успел смести со стола, ненужным комом мятой крашенины валялись под ногами. Горел дом Третьяковского. Жар кидался с ветром на людей, прижигал, заставлял пятиться: горело сильно, уже и два соседних дома занялись, и слева и справа в сине-багровой ночи поторапливали резкими матюгами, просили воды и снега, и печально и, кажется, излишне натужно по такому огню звякали в ответ редкие ведра, да ржали и стучали копытами выгнанные прямо на улицу лошади.

Перед восходом солнца ветерок сорвал тучи с лунного насеста, и холодно-лимонная луна ненадолго заткала блеклым светом пожарище; оно умирало в полном уже одиночестве, дотлеvalo, полуутопленное в лужи стаявшего снега, помеченное, словно часовыми-брандмейстерами, по краям поглоченными огнем, порушенными батогами, но чудом отбитыми у пламени, обезлюдившими соседскими строениями. Улица под утро вымерла, окончательно успокоившись.

Вслед огню пришла неизвестная ранее унизительная и беспросветная погорельческая маета: трактирное житье, долги — бесконечная, не успокаивающаяся, как зубная боль, долговая кабала. Стесненность в средствах отдалила от дворца — стихотворец Ее Величества не имел возможности даже одеться прилично роскошному придворному укладу. Как всегда, правда, немного выручил Куракин, да и Шумахер не обошел вниманием — распорядился выдать вперед академическое жалованье. Если учесть, что Академия деньги своим членам вообще платила крайне неохотно и нерегулярно и что большинству профессоров и адъюнктов и за тридцать шестой прошедший было не додано, то деловая поддержка Иоганна-Даниила, официально называющегося теперь советником академической канцелярии, оказалась спасительной, и Третьяковский почувствовал себя еще более обязанным своему старому охранителю и почитателю.

Во дворце теперь прочно угнездился академический стихотворец Штелин — сплетаемые им немецкие оды ласкали слух герцога и его окружения, Василию Кирилловичу заказывались только их переводы, что он исправно и совершал.

Деньги! Вот что требовалось для новой жизни. С отчаянья он решился самолично, на собственный страх и риск, издать переведенную книгу. Такого не знала пока молодая российская словесность, средства к печатанию обычно предоставляла типографии Академия наук, выплачивая творцу лишь малую толику дохода. Умерший в прошлом году великий Прокопович успел перед кончиной благословить на сей давно

замысленный труд; еще с Иваном неоднократно было говорено о пользе «Истинной политики знатных и благородных особ», сочиненной знаменитым дюком Камбрейским — Фенелоном. Иван, как и Роллень, особо выделял господина де Салиньяка де ля Мот Фенелона из всех французских литераторов, поэтов и философов. Мудрец из Камбре был великим педагогом, воспитателем и наставником праведной жизни; его фолиант — кодекс правил, руководств в честной жизни — несомненно должен облагородить российское читающее общество, спасти его от затягивающего омута злой, нечестной, лихой жизни, растекшейся по вельможным домам России, да и по всей России вообще. Иван и Тредиаковский возлагали на перевод надежды, уверенны были, что книга вмиг раскупится и, вытянув из кабалы ее переводчика, послужит еще одному благу делу.

Но Иван книги не увидал — он умер неожиданно от второго горлового кровотечения.

Труд как подвиг, как лекарство, как слепящая повязка на глаза: в два месяца он перевел «Истинную политику!» И в августе просил у Корфа дозволения к печатанию тысячи двухсот экземпляров книги. Сто тридцать восемь рублей и девяносто с половиной копеек уплачено было типографии — к концу декабря долг подполз к тремстам рублям, что почти равнялось годовому окладу. Из академической кассы он вычерпал все возможное. На слезное прошение уплатить вперед пришел решительный, но вежливый отказ — тут даже Шумахер был бессилён.

«Политика» раскупалась крайне плохо.

Он проиграл. По всем статьям проиграл. Феофан и Ильинский сошли в могилу, Адодуров, занятый выше сил и, кстати, не получивший жалованья за полгода и сам живший в долг, слабо годился в помощники и утешители, просить Куракина более было невозможно.

Марио с сыном он отправил в Москву к Сибилевым. Филипп только порадовался, звал в письме самого, но Василий Кириллович еще держался — одному много ли нужно, он пока надеялся, что начнут бойчей раскупать тираж. Помимо дел взвалил на себя архив Ильинского, готовил к сдаче в Академию, и если б не кредиторы...

Но они жали со всех сторон так, что не вздохнуть, даже самые доброжелательные начали роптать — шутка ли, столько денег задолжал. Тираж раскупался медленно, очень медленно, ничего не менялось к лучшему.

Вовремя приехал в Петербург милый сердцу Монокулос, очень вовремя. Посланец отца Петра прибыл за экземплярами панегирика, что белгородский епископ сочинил на латыни в подношение киевскому другу своему отцу Рафаилу. Тредиаковский устроил панегирик печатать в академическую типографию, и теперь отец Андрей (или по-прежнему Алешка), уяснув бедственное положение своего ученого друга, настойчиво тянул в Белгород, расписывая красоты провинциальной жизни, обещал тишину для работы, книги из библиотеки Киева и Харьковского коллегияума, прогулки, свободу.

В феврале тридцать восьмого Корф удовлетворил запрос: долги были расписаны по четырем выдачам, и академическая канцелярия обязалась выплачивать их из его жалованья в течение года. Василию Кирилловичу дарован был отпуск сроком на двенадцать месяцев с обязательным условием перевести в отсутствие «Историю» Ролленя. Уговаривать Корфа и Шумахера в необходимости издания этой книги на российском языке долго не пришлось, хоть здесь ему улыбнулась судьба.

На деле же все побуждало к бегству, а оно равноценно было признанию своего бессилия, краха, и, как бы ни успокаивал Монокулос, желанное спокойствие не приходило.

## Правило XLVIII. О благодарности

*«Самой худой человек не может не любить добрых людей и удивляться в них тому, чего он сам никогда не делает. От сего происходит, что благодарные Особы бывают от всех любимы, не выключая из того и неблагодарных. И как благодарность природная есть должность, то следовательно, что она необходимая. Доброе сердце чувствует великую силу естественного закона; и ежели кто прямо чувствителен к благодеяниям, то всегда таковой бывает благородного и великодушного сердца».*

*Из книги «Истинная политика знатных и благородных особ», ошибочно принятой В. К. Третьяковским за творение Фенелона и увидевшей свет в 1737 г.*

Полозья летели по схваченному морозом блестящему глазурированному настилу дороги, словно не касались его — отдохнувшие с ночлега лошади рады были здоровому солнечному утру, колкому ледку под подковами, не скользкому, а молодому, хрусткому, облегчавшему бег, и рвали крупным галопом: ехалось плавно, не убалтывало, как случается частенько при полубеге утомленных ямщицких клячонок, — белгородский епископ лелеял и холил своих лошадей. Монокулюс залез и не вставал, словно ночь не ночевал в Колокольцевском постоялом дворе на угретых «для отца эконома» грелками простынях, — глубоко вполз под тяжелую волчью полость, в самый угол под кожаный верх легкого дорожного болочка и сопел из поседевшей норки младенчески покойно.

Василий Кириллович бодрствовал: мимо неслась равнина с дальним зеленым лесом, убегали из-под ног склоны меловых гор, мелькали излучины подползающих к горам оврагов. Природа стояла безмолвная под морозом, сияющая в лучах солнца, заключившая себя от их блеска в прозрачную броню чистых голубоватых сосуллек. Единственным живым теплом в той белизне была пересекающая ее тройка с возницей и двумя седоками, да редко-редко над полями ныряли в воздухе мелкие пташки, но не чиликали, не заливались, а пролетывали молча, словно берегли дыханье, обогреваясь им на лету, рыскали в поисках более укромного и теплого местечка.

— Глупцы питают тщетные надежды, и сновидения баюкают их, — вспомнилось давнее вещание Малиновского. — Обольстишься ли ложными мечтаньями? Не лучше ли простирать руки за тенью или гнаться за ветром? Лишь знаки, не более, видим во снах; лишь собственный образ предстает человеку.

Пал несокрушимый и так легко ранимый, железный лишь с виду, Василиск — Малиновский. Само время опрокинуло его, отвергло. Но и его, Третьяковского, шагающего в ногу со временем, тоже отбросило в пропасть. Чего же ради тогда стараться, выбиваться из сил, если простой пожар лишил кредита, сделал никому не нужным? Выходит, он — точка неприметная, пешка при чужой игре, скоморох, Арлекин, развлекающий наподобие мерзавца Петриллы! Нет, не соглашалась душа — людская черствость не есть закон, а случайность... Но где правда?

Нет, нет, это обстоятельства, а не закон, это уловки Фортуны... но его воспитательная миссия... и она...

Сначала была «Езда», а затем они с Васятой правили плохо пе-

реведенного Волчковым Грацианового «Карманного оракула», теперь издана «Истинная политика». Все три книги — сладкое чтение душеполезное, долженствующее открыть глаза, воспитать добродетельного придворного человека, а через них и монархию. Но даже с мертвой точки не сдвинулось дело...

Василий Кириллович поглядел на спящего друга, и тот улыбнулся во сне, будто подтвердил: «Да, я доволен, я счастлив, я хорошо и праведно живу».

Вот Алешка ушел в монахи и счастлив — он совсем не отрешенный от жизни иннок, нет, он просто живет в своем далеке и поглядывает оттуда на мир. Просто живет, оберегаясь от греха.

— Ты знаешь, я всем доволен, — признавался ему Монокулюс. — Мне, наконец, спокойно в Белгороде, у меня есть время подумать, а у вас в столице так все галопирует, да еще держи ухо востро... Нет, светская жизнь не по мне.

Нет, я не лишен честолюбия, но, знаешь, редко мечтаю об епископской кафедре, например. Да и рано мне пока, я еще только эконоом. Я бы не отказался, будь мне предложено, не глупец же в самом деле, знаю, что могу больше, чем просто секретарствовать моему дорогому господину, да там видно будет, не мы решаем.

— Ты чувствуешь, ты ощущаешь себя на месте? — не унимался с вопросами Василий Кириллович.

— Конечно, — добродушно улыбался Монокулюс.

Он всегда был при ком-то: при нем, при отце Петре, — язвительно помыслил Василий Кириллович и вдруг со вспыхнувшей невесть откуда нежностью прибавил шепотом: «Счастливчик» — и, смахнув сбившуюся на лицо слипшуюся прядь волос, погладил чистый розовый лоб спящего.

Нежность породила воспоминанье давнего предательства. Когда-то он предал друга, согрешил, пусть и случайно, против желанья своего, но согрешил. Казалось, что ради нужного дела предавал, ради спасения, и вроде бы спас: Монокулюс счастлив, доволен, а сам он — нет. Вспоминать об этом смешно и грустно, но и противно как-то: тешит он себя своей правотой — измена ведь изменой и остается, как преданность Алешкина не меняется с годами. Почему же так судьба несправедлива, почему же вечно должен он страдать за других? Или за себя?

Дело в том, что честолюбив, честолюбив, как и все вокруг при дворе, и это грех, главный грех, ибо он жаждет славы, ему нужна слава. Даже сейчас, в Белгороде, в Харькове, куда едет и где его почитают, любят его стихи. Отчего так происходит, он не может понять, но знает — без славы жизнь не в жизнь, он понял это еще в Париже, когда, прочитав князю Куракину стихотворение, ощутил, что способен теперь ее заслужить. А может быть, честолюбие само по себе не так уж и плохо? Но отчего же со внутренним стыдом связано желание славы? Вероятно, хочет он стать равным вельможам, где-то там, внутри, хочет, и стыдно себе признаться?

Да, хочет! Да, ибо как же иначе доказать им, что лишь разум возвышает человека! Ведь верил же Петр в равенство людей, верили Феофан и старый Кантемир — люди разные по крови. То же проповедует и Роллень. А теперь, по смерти императора, как-то стали об этом забывать. Нет, верно, ничего страшней отрицающего равенство вельможного чванства, боярской спеси. Ведь чуть-чуть до страшной катастрофы не дошло, когда скончался император Петр Второй. Клика Долгоруковых и Голицыных хотела всю власть в своих руках зажать. Нет, Феофан, Кантемир, Татищев, Куракин, Волинский и другие, немногие мужи достославные, помешали временщикам, провозгласили самодержицей Анну, и единая власть положила предел раздорам. Теперь князь Куракин в узком кругу друзей обличает кабинет-министра



Волынского в желании стать надо всеми. Волей-неволей и Василий Кириллович оказался втянутым в их борьбу и, осуждая ее в душе, вынужден принародно поддерживать мнение Куракина.

Лошади вынесли на верх горы, и вдруг распахнулась внизу такая красота, такая дивная красота, такой простор необозримый, что он зажмурился от ударившей в глаза белизны и заорал истошно вознице: «Стой! Стой, черт подери!» Тот испуганно обернулся и натянул поводья — весь вид расхристанного, машущего руками Третьяковского подействовал на ямщика сильнее слов.

Внизу тенью на снегу пролегла подо льдом речка, петляющая по бескрайней равнине, и перелески стояли, как облачка, и разбросало их по земле, и крохотная, в одну улочку, приютилась в самой середке у дороги деревенька с часовней на кладбище, и дым из труб поднимался точно вверх, в голубое, глубокое небо. Солнце, бившее из-за его головы, красило все в желто-розовые, искрящиеся, юные тона.

— Да вставай же ты, медведь, — закричал он вдруг на Алешку.

— Отстань, дурень, — буркнул тот спросонья как-то по-мирски и, протирая слипающиеся глаза, все глубже и глубже вжимался в жаркий, нагретый щекой и удобно намятый ею мех. Затем он резко скинул с себя полость, вскочил и, потягиваясь и, по обыкновению, щуря глаз и расправляя затекшие руки, вздохнул всей грудью, вбирая в нее молящий мгновенно воздух. Потом поглядел хитро на Василия Кирилловича и отметил радостно:

— Полегчало, я чай, дурь-то быстро выветрилась. Я тебе что и говорил — тут, брат, природа сама лечит. — И, гогоча, облапил Третьяковского и, совсем уже по-школярски завалив на волчий мех, стал рукавицей натирать ему и без того красные щеки. Погоняй, погоняй, милый, нам бы к ночи сегодня доехать, раз дорога, как зеркало, — бросил он вознице через плечо.

Лошади рванули с горы. Монокюлос стоял на коленях над поверженным другом и как-то по-отечески тепло и с многозначительным прищуром оглядывал своим единственным глазом его счастливое, горящее лицо. Оглядев и, как лекарь, удовлетворенно крикнув, он снял рукавицу и по монашеской своей привычке мелко перекрестил над ним чистый морозный воздух.

## 40

1738 года августа 3

*Из письма (так и осталось неизвестно, к кому именно—Остерману, Волынскому, Черкасскому или Ушакову).*

*«...Уже шесть лет содержусь под караулом кроме всякия моей вины, а свидетель тому сам Бог и совесть моя; да и по делу уже явилась неповинность моя, о чем я и от вашего превосходительства имел счастье слышать, что в свободе моей только остановилось за докладом Ея Императорскому Величеству. Того ради всепокорнейше прошу, ради самого Бога, показать со мною, неповинно страждущим, в скорейшем докладе Ея Императорскому Величеству высокую свою милость. А покамест счастливаго сего много мощным вашим милостивым представтельством дождусь по тому делу крайняго решения, прошу всепокорно приказать меня отпустить на мою квартиру по-прежнему, ибо в том никакия важности не находится: что я здесь под караулом, то и там такими же мерами содержан буду. А по слабости здравия моего, ежели долго мне содержаться в крепости, то непременно от единого здешняго тяжелого воздуха и от других беспокойств могу прийти в неисцелимую болезнь, а особливо головную, понеже я уже давно там безмерно стражду, о чем вси знающие мне известни. Что когда все, особли-*

*вым вашим ко всем бедным милосердием, я получу желаемое, то и вас, и наследия вашего Бог, всех милосердных любитель, желаемыя вам вечная и временная сподобить получитьи благая. О сем прося пребываю и пребывать по жизнь мою должен вашего превосходительства всегдашний богомолец и слуга, низжайший архимандрит Платон Малиновский».*

И вот, казалось бы, умер уже преосвященный Феофан Прокопович, раскиданы по окраинным монастырям и каменным крепостям прошлые его недруги, и многие уже скончали свой век в тюремных казематах; казалось бы, откликнется, должна откликнуться неведомая, щедро посулившая заступничество рука, должна она помочь, высвободить обессилевшего и раскаявшегося бывшего синодального члена отца Платона Малиновского. Но нет, не забыто недавнее прошлое, и все суровее становятся наступающие дни — через четыре месяца после прощения, в один день с Феофилактом Лопатинским, Платон Малиновский был лишен архимандрического сана, священства и монашества и под именем Павла Малиновского выведен на кандалный путь в далекую Сибирь. В ссылку. На веки вечные. Но никто не может знать грядущего. Несчастный, обескровленный старик вернется еще в Москву вопреки своему страстному желанию окончить жизнь в Киевском монастыре и даже повластвует там, получив обратно свой высокий церковный сан. Но это случится не скоро, за границей нашего повествования, во времена государыни императрицы Елизаветы Петровны.

Пока же Аннино царствие на дворе.

## 41

Годичный отпуск он просрочил на восемь дней — сидел бездельником в Ясной Поляне, что под Тулой, пережидая положенный карантинный срок — летом по югу опять гуляла злая болезнь. Но Петербург простил вынужденную задержку — по нему соскучились и встречали ласково, особенно Куракин и Шумахер. Вмиг, словно и не было ничего: пожара, нищеты, белгородского затворничества, — навалилась работа: Академия требовала присутствия, развалившееся было Собрание вновь пунктуально сходилось в положенные дни — спорило, слушало, зачитывало, выносило свои суждения, и голос Тредиаковского не последнюю играл роль в им же порожденном сообществе высокоученых членов.

Он успел перевести только первый том Роллена — выполнил не более предписанной канцелярией нормы и теперь с увлечением работал дальше — еще девять фолиантов поджидали на полке. Получив сравнительную свободу и узаконив свое настоящее, Василий Кириллович целиком погрузился в прошлое; оно завлекало не менее романа — под строгим пером парижского мыслителя оживали деяния великих полководцев — судьбы целых миров заключены были в броню крепких переплетов. Переводя и путешествуя по извилистым лабиринтам людских судеб, отмечая взлеты и падения копыеносных держав, постигал он законы сущего; но и разум творца не в силах, сколь бы он ни стремился, все объять, и многое, многое протечет сквозь решето повествования. Переводящий, переноса на бумагу слова и, казалось бы, подчиняясь идеям автора, на деле не слепо потворствует его замыслу, сам отбирает в уме ему одному показавшиеся нужными мысли и уж после развивает их, уносясь порой в неведомые, далекие пространства и времена.

Роллень излагал лишь факты, и он следил за становлением рода людского, за поступательным движением событий. Завершается один круг, но на смену приходит иной, зародившийся в недрах предшествующего, и даже случаи гневной вспышкой отжившего безумия не властны

побороть стремления вперед: тирания сменяет демократию и наоборот, а все ж мчатся, мчатся они навстречу торжеству всепросвещенного разума.

Неожиданная встреча лишь укрепила его в справедливости этого. Удивительная встреча.

Большой и грузный, чернобородый, в чалме, по-прежнему хитроглазый, скорый теперь только на движения пламенных азиатских очей, предстал перед Василием Кирилловичем Сунгар Притомов. Важный и солидный, прибыл он в Санкт-Петербург по делам процветающего торгового дома и в первый же день разыскал и навелит давнего своего астраханского приятеля, Чүдно, чүдно, что свиделись, — оба были рады, не скрывали нахлынувшего чувства. Позже, когда первые восторги и обычные вопросы поулеглись, они разговорились.

Моровое поветрие не захватило Притомовых — старик Венидас пожелал вдруг вернуться на родину, и сын сопровождал отца в длительном путешествии. Через два года он вернулся в разоренную Астрахань, здоровый, полный сил, и сразу прибрал к рукам всю тамошнюю пошатнувшуюся от эпидемии индийскую торговлю. Годы разительно переменили не только облик, но и взгляды Сунгара — он превратился в настоящего индуса, склонного в свободное время к миросозерцанию, к раздумьям, что, впрочем, не мешало возрастанию оборотов его компании. Одно четко отграничивал Сунгар от другого.

— Я, признаться, вовсе не читаю теперь ваших книжек, — сказал он ТрEDIAKовскому. — Каждому народу должно быть присуще свое, так что не обижайся.

— Раньше, помнится, ты был большим охотником до чтения, что изменилось?

— Раньше я не был в Индии и плохо знал наши легенды. Там, на родине, вовсе не обязательно уметь читать, чтобы знать их, — на то существуют ученые-пандиты, они и пересказывают священные книги слушателям, и недостатка в интересующихся никогда не бывает. Каждый индус знает свои легенды почти с рожденья, и при этом у нас нет творцов, подобных тебе, придумывающих все новые и новые сочиненья.

— Но разве не надоедает слушать одно и то же?

— Надоедает ли тебе читать священную Библию? В наших священных книгах заключено все знание, изначально данное и изначально присутствующее в мире, — их можно читать от начала до конца, а можно брать отрывки, перекладывать их на музыку и петь, или изобразить в лицах, превратив в драму, или изучать, разбирая слова, оценивая тонкости языка и законы грамматики, а то и постараться вникнуть в значения самих слов, постигнуть их тайный смысл, тщательно отделяя главное от второстепенного. Мне непонятны христианские трагедии, они мелки, авторы в них вечно спешат, добиваясь к концу скорой развязки. В индийских же преданиях зло всегда наказуемо, пускай и через сотни лет, тысячи лет, какая в том разница? Главное, что добро неизменно побеждает, ведь время и пространство безграничны. Услышав любую из ваших драм, индус скажет: «А что дальше?» Нелепость их для него очевидна. Страдание и сострадание неизбежны, лишь поскольку неизбежно действие, они оправданы, ибо любой ценой, подчас весьма тяжелой, можно искупить вину, но ведь все предопределено заранее, и конец есть лишь начало нового. Творец Вселенной погружен в себя. В первую половину небесных суток он создает мир, во второй же половине разрушает его, но божественный день столъ бесконечен, что и не стоит проростому человеку задумываться о недоступном его пониманию. Все мы умрем в конце концов и возродимся в новом обличье, и каждый полурит то, что заслужил по делам своим.

Спорить с Сунгаром было бесполезно.

Увлеченный переводом Роллена, убеждался в верности своих суждений Василий Кириллович: отрешенный ли от мира в своем кабинете, заседающий ли в Российском собрании Академии, развлекающий высокородную публику на вечерах у Куракина — всегда был он предан великой цели, предан заветам своего кумира и, выполняя их с трудолюбием и упорством, забывал о минутных сомнениях, о мелочном честолюбии — извечном угрызении совести, и гордо нес свою, начинающую серебриться под кудряшками парика, гордо посаженную большую голову с чуть печальными, изучающими мир большими карирами глазами. Он, лишенный пока звания, ощущал себя в такие часы профессором, знатоком текущей перед ним жизни, а потому так глядел на окружающее: с пониманием, с надеждой и с состраданием.

## 42

В преддверии нового, семьсот сорокового года, в декабрьский субботний полдень, Василий Евдокимович Адодуров скорым шагом вышел из залы конференции Российского собрания. Длинное лицо его, обычно непроницаемое, наискось перечеркнула презрительная гримаса, но и без нее, по решительности движений, было заметно, что господин адъюнкт чем-то сильно взволнован. Он уже принимал от подающего лисью шубу, как из-за колонны вынырнул Тауберт и напросился в попутчики — обоим вместе было идти до стрелки Васильевского. Не в силах отклонить просьбу, Василий Евдокимович властно кивнул головой, и через минуту они уже шагали по нерасчищенным ступенькам вниз: над городом с самого утра без остановки шел снег. Было странным образом не холодно для декабря, и снег был липким и тяжелым.

На заседании разразился некрасивый скандал, и Тауберт наверняка желал вызнать мнение пользовавшегося уважением в Академии Адодурова, чтоб потом в красках изложить все своему тестю. С утра слушали перевод Шваневица, в общем довольно беспомощный, с кучей грамматических ошибок и, главное, написанный чудовищно усложненным языком. Когда автор закончил чтение, даже не дав слова сказать официальному оппоненту Эмме, с кресла вскочил Тредиаковский и со всей мощью громового голоса обрушился на несчастного переводчика. Войдя в раж, он наговорил много колкостей и сел — запыхавшийся, красный, вертя головой по сторонам и гневно блестя глазами, словно выискивал: кто станет нападать на него, кто посмеет ему возразить?

Как всегда, критика его была убийственно точна, но несдержанность, а точнее — грубость прямо оскорбляла всех присутствующих, и хотя в конференциях Академии, случалось, даже переходили на личности, но в сегодняшнем выступлении прозвучало скрытое недовольство всеми, упрек всем членам Собрания сразу. Адодуров не стерпел — как никогда внутренне не терпел грубости — и вынужден был вмешаться. Помнится, проскочил в голове тогда вопрос-изумление: что ж это он так? Но тут же, вспыхнув, и погас. Он уже начал ответное слово.

Василий Евдокимович возражал спокойно, сдержанно и только против тона, но и у него невольно промелькнули нотки обидные, нехотя получилось, что он отчитывает Тредиаковского, ставит ему в вину несоблюдение приличий. Вся «перебранка» пока строилась на неуловимых, но хорошо понятных слушающим намеках.

Глупо получилось — Василий Кириллович всегда следил за своим поведением и дорожил выдержкой не менее самого Адодурова. Что же так их взорвало? — пытался разобраться Василий Евдокимович.

— Как ты смеешь мне такое говорить, ты?.. — Тредиаковский не стерпел, привскочив в кресле, и в подтверждение своему крику с силой заколотил кулаком по столу.— Ты, ты, Адодуров, от тебя я не ожидал,— он задыхался, а потому говорил с хрипотцой, глаза его полны были неподдельного ужаса, словно глаза Цезаря, получившего первый удар от Брута.— Ты лучше всех здесь знаешь, что перевод плох, так отчего же защищаешь? Ежели только хвалить, что получится?— Он уже распалил себя и не хрипел, а кричал с полной своей силой:— У нас тут не до политесу, дело делать надо, а не расшаркиваться друг перед другом, и коль меня господин Шваневец не понял, так и копейки за него не дам. От тебя, от тебя... Тебе-то что резону защищать, да еще... про приличия вспомнили. Не пойму, не пойму... какой же смысл Собранию нашему?— Он картинно вскинул руки к небесам и выбежал, хлопнув дверью, чем совершенно всех обескуражил.

Шваневец был забыт и стоял как ошпаренный, бормоча под нос проклятия. Все разом рванулись с кресел и закричали, но вмешался в дело дипломатичный Тауберт и, разливаясь соловьем с полчаса, утихомирил аудиторию. Страсти притушил. Другие оставались еще о чем-то рядиться, а Адодуров заторопился уйти— стыдно ему было перед Василием Кирилловичем— стыдно, а вместе с тем Тредиаковский был ему противен. Ему хотелось обдумать все наедине, но тут-то и подскочил Тауберт.

— Что ж это с нашим уважаемым стихотворцем стряслось?— слегка улыбаясь и не скрывая недоумения, своим заискивающим, сладким голоском спросил Тауберт.

Василий Евдокимович очень хотел бы промолчать, но вдруг сам услышал со стороны свой едкий голос:

— Попетушится, попетушится и перестанет, отойдет. Дело, я думаю, замаять следует, склоки никому на пользу не шли (он многозначительно поглядел на Тауберта, намекая на Шумахера), а что до оскорблений, так ведь взаимно. Спаси с него все равно не собьешь,— добавил он к чему-то.

Зачем так сказал? Отчего?

Да, он презирует Собрание, всех их, узколобых, рвущихся к поживе или тупо делающих свою нехитрую работу, но Василий Кириллович никак не подходит под их мерку. Он упрям— уверен, что нашел свой путь в жизни, кажется, что он твердо знает, что хорошо, а что— плохо. Везунчик, облаканный фортуной? Или глупец, кажущийся мудрецом? Его жалко, до слез жалко, ведь не видит, что творится кругом. Или закрывает глаза?

Сам Адодуров давно уже ощущал отчаяние и пытался загнать его вглубь, внутрь души, но оно выплескивалось, а сегодня так и вовсе разрушило все плотины. Ведь он всегда искал чего-то лучшего в жизни, и не для себя, мечтал сделать что-то значительное для всего человечества, для России, и тут порыв Тредиаковского был ему понятен, но в Академии он разочаровался, а все же служит и даже ругается в конференции... значит, верит во что-то? Во что? Какой смысл Собранию нашему?— мог бы и он воскликнуть.

Теперь, когда ясно видно, как рушится ими задуманное поистине великое начинание, смешно и горько наблюдать бычью упрямость Тредиаковского, старающегося, вопреки русской поговорке, плетью перешибить обух. Ильинский первый заметил крах, а они считали тогда, что он болен и оттого бурчит. Нет, прав был Иван, сто раз прав. То, что возможным казалось в тридцать первом, в тридцать шестом еще воодушевляло, а в нынешнем же тридцать девятом откровенно пугает. Время стремительно изменилось. Ни лексикона, ни риторики не сделано, ибо некому делать— кроме него с Тредиаковским, сей воз никому не по силам, академические немцы для этой цели не годны. Сам он—

математик, в первую голову математик, а вынужден заниматься всем, кроме геометрии и алгебры, и Эйлера видит, случается, раз в неделю. Обучение сенатских юнкеров грамматике и работа на Волынско-го — вот основные его занятия, а еще переводы, правки и прочее, прочее, прочее.

Ну, положим, переводчики как-то подтянутся, хотя и мало это вероятно, да ведь их же самих раз-два и обчелся: Шваневец, Тауберт, Эмме, Волчков и Адодуров с ТрEDIAKовским — вот и весь почти отряд на всю Россию. А новых русских людей не видно. В уставе записана гимназия при Академии, а где они — студенты? Всех Шумахер поразогнал. Были в тридцать шестом выписанные из заиконспасских школ способные юноши, он недолго поучил их — двоих, самых голова-стых — Виноградова и Ломоносова — отправили в Германию изучать рудное дело, а остальные сгинули, какого-либо денежного вспомоществования лишены. Некого учить, некого в замену готовить, а в одиночку... темень в душе.

Он заметил трактир и завернул в него, спасаясь от замучившего вконец снега. Сел в углу и попросил шкалик и вареных потрохов — трактир был из найдешевейших. От мерзкой белой водки сразу стало тепло, но хандра не отпускала по-прежнему, и он все размышлял, размышлял, пропуская стопку за стопкой, но только мрачнел от них еще больше.

Почему набросился он сегодня на ТрEDIAKовского? Ведь тот по сути прав, а что до оскорбления, так в запале им приходилось и не такими словами обмениваться когда-то. Когда-то — это печальное словечко завертелось в мозгу и постепенно истаяло.

Спеть захотел сбить? Да если даже и так, то все ведь от собственной гордыни случилось, а зачем, почему? Отчего вдруг подпел Тауберту? Кто-кто, а Василий Кириллович имеет право критиковать! Он же лучший в России переводчик, это любому ясно. Но что-то он такое затронул...

Если приглядеться, ТрEDIAKовского должно быть жалко. Как бы ни силен был Куракин, а он один покровительствует своему стихотворцу. Немецкие виршеплеты крепко при дворе угнездились, затирают Василия Кирилловича. Обидно, что ни говори — перевел книгу об Оттоманской Порте, а почести все урвал Штелин, что ее с италианского на немецкий пересочинил. Да и оды Штелины теперь все больше в ходу. А ведь было и наоборот — Юнкер гданскую песнь переводил... Тут, понятно, вины особой за Штелином и Юнкером нет — делают, что приказано, но досадно, досадно, что в России нынче не родной язык при дворе заправляет. Он хорошо понимает Василия Кирилловича, ценит его рвение. Все ж поэзия снискала ему заслуженную славу — эксаметр новый прижился, уже и иные им оды пишут. Харьковский один пиит, протеже ТрEDIAKовского, по случаю Хотинской победы императрице свое творение поднес. В кадетском корпусе целая группа молодых офицеров-стихотворцев объявилась. На Новый год некто Сумароков от корпуса вирши подал, новым размером составленные. Так что радоваться бы должен Василий Кириллович, только радоваться-то на поверку особенно нечему.

Нет, не оттого вспылил сегодня поэт, что слух его худой перевод оскорбил, да и сам Василий Евдокимович защищать полез не за дело, а от общего душевного раздражения. Это-то и печально. Понимает ли Василий Кириллович, что крах их начинанье потерпело? Давно ведь они по душам не говорили, разошлись, видно, дорожки. Коли так петушится (верное слово подобрал), наскაკивает, стало быть, воевать ему еще охота — ТрEDIAKовский не из тех, кто сразу сдается. Ну и пускай воюет, а он устал. Кругом ложь да обман. Шумахер доедает Эйлера. Профессор держится, крепится, а как если уедет,

ведь не выдержали же Шумахеровой травли Бильфингер и Бернулли. Если Академию покинет еще и Эйлер — конец науке, настоящей науке, а не пустословию, все более и более захватывающему Академию. Случьись такое, к власти придут Амман и Тауберты. Куда тогда ему, Адодурову, деваться? Если не с Эйлером, так куда, с кем? Искать защиты у Волинского, проситься в службу?

Но не лежит душа у него к кабинет-министру. Артемий Петрович последнее время дома мрачен, не подступишься. По-прежнему доверяет ему важные документы, но сменил вдруг тон, обращаться стал как с последним слугой, а он, Адодуров, — из дворян, хоть и не из знатных, а все ж-таки. Волинский как запрется с Кикиным, Еропкиным, Хрущовым да с Соймоновым — со всей своей давней братией, Адодурова не допускает — всяк сверчок знай свой шесток, вот это и обидно. Василий Евдокимович посмел раз его крутость осудить, так Волинский наорал, потом, правда, отошел, извинился даже, но близости, как поначалу у них была, конец настал. Ну да все вновь заслужить можно, а стоит ли? Что хорошего двор Третьяковскому принес?

Но если веры нет в кабинет-министра, да и предчувствие дурное... Отдаваться, так человеку, которому веришь, перед которым душой не кривишь, которого не боишься. А он недавно поймал себя на том, что боится. Раздражительный стал Артемий Петрович и оттого, странно сказать, и грозен и жалок, что ли. Ведь Адодуров за ним не на параде наблюдает: бродит по дому, места себе не находит, ругает всех, особенно Куракина, вздыхает: «Эх, система, система...», кто б другой, а то — кабинет-министр! А с Александром Борисовичем дойдет, видно, у них до войны, давно еще Третьяковский рассказывал, что и князь зуб на Волинского точит. Вот она, жизнь дворцовая.

Нет, нет, кажется, выхода из тупика. Как, не согрешив, сохранив честь, жить дальше? Как пользу принести и не сгинуть в безвестье — ведь избран же он был адъюнктом за умственные заслуги, без протекции, без родственной поддержки, выделен из общей массы студентов? Когда это было — с той поры ни продвиженья, ни стоящего дела. Одни обиды кругом. Лучше идти служить — пойдут чины, а наука — веры нет... Тридцать один год, тридцать один, а что он такое?!

## 43

### *Санктпетербургские Ведомости*

*В Санктпетербурге в пятницу августа 8 дня 1740 года*

*«Ее Императорское Величество наша Всемилостивейшая государыня во время Высочайшего своего присутствия в Петергофе, для особого своего удовольствия: как затравить, так и собственноручно следующих зверей и птиц застрелить изволила, 9 оленей, у которых по 24, по 18 и по 14 отростков на рогах было. Шестнадцать диких коз, четыре кабана; одного волка, 374 зайца, 68 диких уток и 16 больших морских цуц».*

## 44

— Ты подаешь мне письмо с советами, как будто молодых лет государю!

Мучительно было слышать из ЕЕ уст незаслуженный упрек, точнее даже — отповедь! Слова были сказаны ледяным, презрительным тоном, каким никогда она ранее с ним не говорила, даже если изволила обижаться.

Государыня повернулась и, выходя, бросила через плечо: «Ступай и думай!» Так приبلудному псу говорят: «Пшел вон!»

Он вышел из пустой залы, незаметным прошел на улицу и теперь не находил себе места в карете, ворочался на подушках, пока не приискал более или менее пригодное положение.

Какая-то роковая ошибка струсилась, прогремела громом над ним, вонзилась в сердце леденящим перуном. Даже возможности ошибок не существовало в представлениях его о том, что он делает, — главное, что он делает, а это и было уже гарантией правильности единственно возможного пути. Что же произошло?

Всегда Анна выделяла его особо, не могла обойтись без его ежедневных, резких порой, но обстоятельных докладов...

Ему доносили: герцог ревнует, а Куракин подогревает ревность, нашептывает опасения. Но Волынский всегда презирал опасности, он любил их и теперь нарочито принялся затягивать аудиенции, перестал посещать утренние выходы Бирона, прочно вошедшие в дворцовый ритуал. Милости попасть на церемонию в приемной добивались многие, но он, обязанный стоять там по этикету, пренебрег им — кроме всего и впрямь не хватало времени (на что ссылался при случае, выражая свои извинения Его герцогской светлости). Он много работал, вершил судьбы государства, но конечно же, конечно, во все вплеталась гордыня, и он, полагаясь на любовь государыни, видно, переборщил. Но нет, секрет тут в чем-то другом.

Не в один день завоевал он нынешнее положение, он рос, как и полагалось ему, и чувство силы не покидало никогда и даже сейчас не покидает его. Будущее... О! Он, конечно, позаботился о нем — бережно и нежно обхаживал племянницу императрицы — Анну Леопольдовну, и в конце концов снискал успех, приручил застенчивую девицу. Не скрывая, радовался расстройству ее брака с шестнадцатилетним Петром Бироном, ведь так, чего доброго, курляндцы прочно утвердились бы на российском троне. Когда же юной Анне стали сватать принца Антона Брауншвейгского, он первый принялся поздравлять ее с прекрасным женихом. Вероятно, и здесь он действовал чересчур открыто, ему нашептывали: «Будьте осторожны, герцог боится...» Но Волынский, ощущая все нарастающую симпатию императрицы, глубже и глубже увязал в силках собственного могущества. Он никогда ничего не замыслил против Бирона, знал, что должен смириться с его присутствием, перестал лишь видеть в нем государственного деятеля. Слишком занесся? Артемий Петрович никогда не признавал слова «слишком» относительно дел, Им совершаемых, — на том стоял, тем жил, тем гордился!

Неужели правы были друзья? Неужели поспешил? Он жаждал свалить Куракина, Остермана, Головина, жаждал, ибо, как кабинет-министр, видел пагубу, творимую угнездившейся у трона кликой, обманывающей государыню, застилающей ее слух льстивыми речами. Он пошел на приступ, зная твердо, что императрица поверит ему, расправится с губящими государство вельможами. Но то ли Анна не захотела кровопролития, то ли герцог испугался, что следом могут затребовать и его голову, испугался и настроил Анну против Волынского, застрашил ее тиранией своего кабинет-министра. Не зря же сегодня отказался он принять Артемия Петровича, сказавшись больным. То, что курляндец приложил руку, настроив государыню, не вызывало сомнений, но что гадать попусту, важнее другое — конец это или нет?

Неизвестность хуже конца, хуже конца, хуже конца — пели колеса кареты...

Волынский готовился к решительному шагу, показал письмо к императрице некоторым влиятельным особам, желая заручиться их поддержкой. Те выразили сочувствие его замыслам, но не более. В случае



победы они первыми перейдут на его сторону, но только в случае победы...

Единственный, кто отговаривал, настойчиво отговаривал,— Васька Кубанец, но он не послушался, попер напролом. Теперь Васька сидел в другом конце кареты и упорно делал вид, что спит.

«Не хочет лезть в душу с расспросами,— решил Волынский, знает, что я этого не люблю».

Васька, как ни крути,— единственный друг, верный, как пес преданный, а кроме него, никого. Одиночество — удел политиков: в опале ли, в верхах ли — все члены домашнего кружка: Хрушов, Еропкин, Мусин-Пушкин, Соймонов — люди, так или иначе от него зависимые, и сколь бы ни был с ними откровенен, высказывая свои мечты о преобразованиях государственных, что задумал, они не стали кровно ближе, они не друзья, а содельники.

И все напрасно, все, выходит, напрасно, впустую. Видел, видел он, что немцы у трона к гибели привести Россию задумали, а с ними вместе и некоторые русские. Он один видел спасение в продолжении реформ, а потому сочинил и читал в кругу верных «Генеральное рассуждение о поправлении внутренних дел государственных». Верил, что сможет он, коли так случится, спасти в тартарары летящую империю. Бороться следует за Петровы начинанья, продолжать их, а не сидеть сложа руки.

Жаден до власти? Есть такой грех, а как же иначе — ему б канцлерство, верховное могущество, да убрать из-под ног всех остерманов да куракиных, все бы он выправил. Дал бы повольнение дворянам-шляхтичам — главной силе, костяку российскому, народ бы приструнил, пересмотрел бы налогообложение, армию понасадил по границам в новые слободы, купечеству профиту прибавил, да и много чего еще задумано: для духовенства, наконец, академии учредить, чтоб не гуляли по России безграмотные, серые попы — тут Феофан покойный прав был, пока попы не учены, не обновить государство до конца: епископ каков — такова и братия, верно говорят. Да и дворянство поучить следует, ох как следует — наиспособнейших юнцов шляхетских послать бы за границу в университеты, да побольше, всем скопом, а не как сейчас двух-трех-четырёх, чтоб своих, природных министров Россия имела, а в канцеляриях не заседали бы люди подлые и низкие.

Как это ему Андрюшка Хрушов сказал: «Почище Фенелонова Телемака книга сия станет». Вот-вот, почище куракинских слез умиления и мечтаний о самоочищении искусством, что ему скоморох ТрEDIAКОВСКИЙ напеваает. Все бы задуманное стал сам проводить и людей бы нашел строгих и преданных — с Россией ведь только кнутом и совладать: ее лупишь, а она только больше слушается — как дитя неразумное. Нет, только кнутом, только кнутом, а уж потом когда-то бы и прянику место.

Кубанец правду говорил — нет дела более сомнительного и опасного в отношении успеха, чем введение новин.

Но без напора гор не свернешь, а дела не сделаешь. Потому и решил сперва врагов свалить, а затем приступить к делам. Да не вышло, видно, пока. Кто же помешал — герцог или Анна самолично? Вот вопрос первостепенный, от него все зависит.

А может же быть и так, — пришло вдруг на ум, — самолюбие всему виной!. Он, конечно, поступил против правил, письмом своим как бы упрекнул императрицу в дурном выборе ближайшего окружения и тем бросил тень на самое — самодержицу всероссийскую.

Он опять вспомнил, как холодно, цедя сквозь зубы, спросила Анна, кого же именно имеет в виду в своем письме. А получив ответ, отрезала: «Ты подаешь мне письмо с советами, как будто молодых лет государю!»

Да, да, конечно же, он оскорбил ее, и только ее, а Бирон, зная, за-

таился, решил выждать. Вот где просчет, вот что не додумал, а Кубанец нутром почуял и предупредил об опасности.

— Ох, Васька, ну и бестия ты. Как знал — напрозорчил. Выходит, правду пишут о бабах, что изменчив их нрав и коварен, и когда показывает она веселое лицо — знай, в груди гнев затаила.

Но Васька не ответил, сделал вид, что спит. Ординарец хорошо усвоил характер господина, понимал, что тот ищет козла отпущения, и хотя на нем срывать свое недовольство не станет, но... пусть-ка лучше выговорится.

— Что это — приговор? — сказал вдруг Волынский.

— Кабы приговор, сказали бы «Ступай!», а раз думать повелели, выходит, простят, — отозвался вдруг Кубанец из своего угла.

— Ну шельма, Васька, коли так, выручай — думай!

Волынский выкрикнул уже бодрым голосом — он вмиг, как всегда, уверовал в свое спасение.

— Следовало бы, Артемий Петрович, замыслить какое-нибудь невиданное увеселение — государыня потехи любит, понравится ей, она и простит, еще и пожалует, — просто отвечал Кубанец.

— Невиданное, говоришь?

Теперь все зависело, как скоро смилостивится Анна, а то, что простит, отгадет, он уже ни на минуту не сомневался. «Вот ведь с испугу не услышал слово «думай», ну и нюх у моего Кубанца, все чувствует!» — мелькнуло в голове у Артемия Петровича.

Завтра же послать Соймонову книгу, где Адодуров писал предисловие, очень она вовремя подоспела, и если примет — ехать мириться, и так себя повести, будто и не было ничего, но дать понять, что полон раскаяния. А подспудно идею потехи искать — невиданное надо загодя готовить. Загодя. И было придумано великое зимнее действо.

...Книга была принята через два дня, и все пошло вроде бы по старому. О письме не вспоминалось — делали вид, что ничего и не происходило. Лето кончилось, двор перебрался в Петербург.

В честь заключения мира с Турцией Артемий Петрович был награжден двадцатью тысячами рублей. Волынский, почувствовав себя на коне, опять зарвался, теперь уже прямо окорбив герцога: при случае намекнул в кабинете, что Бирон без пользы кормится на российский счет.

Перемирие было шатким — стороны готовились дать генеральное сражение, торопились, стягивали силы к границам и ожидали повода...

И вот все приготовления к шутовской свадьбе почти закончены. Спешно достраивается ледяной дворец, где шутиха Буженинова и князьскоморох Голицын должны будут провести первую брачную ночь, дошиваются последние костюмы, в который раз опробуются ледяные дельфины, плюющиеся нефтяным огнем, — там что-то не выходит, но обещают все наладить непременно. Нигде не должно быть осечки. Весь Петербург, затаив дыханье, ждет карнавала.

Наступает четвертое февраля одна тысяча семьсот сорокового года — понедельник, заглавье новой, столь стремительной и столь мучительно долгой недели. День проходит в невероятной суматохе, и уже клонится к горизонту солнце и уже скрылось за ним, и только дали окрашены тревожным вечерним багрянцем, когда со слоновяного двора, незаметный, выныривает возок, и летит в нем в засыпающий город молодой кадет Криницын.

Криницын, совсем еще розовощекий и безусый дворянин, неопытный, но мечтающий стать бравым офицером, честно выполнил возложенное на него щекотливое поручение. В семь часов вечера, в понедельник,

четвертого февраля, он постучался в дверь придворного стихотворца господина Третьяковского и, немного робея, передал приказ немедленно явиться в Кабинет Ее Величества. Недовольство, сперва мелькнувшее на лице открывшего дверь хозяина, вмиг сменилось испугом; он весь побелел, стремглав бросился переодеваться и вот уже спешил назад, пристегивая на ходу шпагу и облачаясь в шубу и неуклюжей трусцой проследовал за провожатым к возку. Василий Кириллович пытался выспрашивать, однако кадет, как и велено было, хранил молчание. Но когда Третьяковский заметил, что лошади несут в другую сторону, голос его задрожал, он взмолился, решив, видно, что арестован самим страшным генералом Ушаковым. Сердце молодого Криницына дрогнуло, и добрый юноша заверил стихотворца, что к Тайной канцелярии не имеет никакого касательства, а везет его прямо на слоновый двор по приказу кабинета-министра.

Ох, не надо бы было его жалеть — ругал себя после молодой Криницын. Третьяковский, уяснив, что обманут, набросился на сопровождающего чуть ли не с кулаками.

Сразу по приезде Василий Кириллович поспешил к Волынскому, и когда кадет подошел, желая отрапортовать, то с ужасом услышал, как тот выговаривает свое недовольство самому кабинету-министру! Он похолодел — дело запахло гауптвахтой...

Но, о чудо! Артемий Петрович неожиданно отступил на шаг от негодуемого стихотворца и с криком: «Ах ты, холоп астраханский, уже и дворянина осмелился винить!», прищуря страшным огнем запывавшие глаза, ударил жалобщика наотмашь, прямо в зубы, по отвисшей от изумления губе. Затем, войдя в раж, еще бил по лицу, по уху — куда ни попадя, как в барабан: коротко, резко и сильно.

О! Криницын остолбенел: в единый миг был он спасен, отмщен, а надменный виршеплет стоял уничтоженный, жалкий, дрожащий.

— Га-а-а! — распалаясь все больше, орал Волынский и, обернувшись, заметил его; больно ухватив за запястье, подтянул к себе и выпалил прямо в лицо: — Оскорбили мы его, да, Криницын, оскорбили? Га-а! Подпевала-то забыл уже, из какой дыры на свет явился, шпагу нацепил, к князьям в гостиные вхож! Бей, Криницын, бей, дай ему сатисфакцию! Глядишь, отучится песенки паскудные сочинять!

Жалкие толстые губы, красные щеки и стремительно заплывающий синяком левый глаз — ух, как ненавистны были они кадету! Распаленный приказом, вздрагивая от криков кабинета-министра, он размахнулся и наотмашь несколько раз ударил по щекам открытой ладонью и, не глядя больше в больные, побитые глаза, отвернулся...

Кабинет-министр толкнул стихотворца на скамейку и высокомерно приказал дознаться самому у архитектора Еропкина, зачем был зван.

## 46

Полчаса Василий Кириллович просидел на скамье, застыв в одной позе: по зале сновали люди, в противном углу кто-то разучивал какие-то танцы, — он почти ничего не видел, сидел, обхватив голову руками, как контуженный солдат в глубине траншеи. Что-то оборвалось внутри, в самом чреве: грудь окаменела, вздох давился душевной болью, загонял ее под левую лопатку. Горло сжало, и только мельчкие выбегали из него с рваным выдохом стоны, истерические, полные слепого безучастия к глупому выражению навек обиженного лица.

Полковник и главный архитектор грандиозного замысла — Еропкин сам отыскал стихотворца и, вручив ему записку с примерным текс-

том, наказал к завтрашнему дню сочинить поздравление на готовящуюся шутовскую свадьбу.

— Изволь выполнять! — прикрикнул он напоследок, отпуская таким образом плохо соображающего поэта домой.

Казенный возок подвез его к самой калитке.

Дома долго не мог прийти в себя — грозный крик Волынского преследовал всюду: «Холоп, холоп!» Страх пробирал до глубины души, мерещился застенки, ужасы. Придавленный страхом, он, плохо понимая, что делает, исписал длинной здравицей лист бумаги — работа отвлекла немного, но как только стих был окончен, навалилось отупение. Остаток ночи он просидел в кресле; все тысячу раз мешалось в голове, огненными кругами бессоницы крутилось перед глазами: первый испуг, стыд, ужас бессилия, саднящая боль и неведомое донныне унижение — страшное, пугающее смертельными, возможно, последствиями, непредсказуемыми, грозными по причине вспыхнувшего и не угасшего припадку неистовства — ведь жуткий Волынский ушел в бешенстве, и кто знает, не захочет ли он в другой раз продолжить экзекуцию? Но главное, главное — бесчестье, бесчестье... и бессилие, и... страх. Что он, чином секретаря, против одного из первых вельмож государства?.. Спасения можно было искать только у одного человека — у Бирона, он один был выше кабинет-министра, он один, если б пожелал, мог оградить, спасти. Следовало утром идти в покои герцога и, найдя там Куракина, всегда присутствующего при утреннем выходе, просить князя о заступничестве перед герцогской светлостью. Без защиты, без обороны он погибнет — разъяренный Волынский, ненавидящий его как куракинского человека, ни перед чем не остановится.

Страх подгонял, и он думал о завтрашнем дне — возможно, последнем, ибо задуманный шаг мог окончиться гибельно: тюрьмой, ссылкой, но мог и спасти от всеобщего осмеяния. Смех страшил пуще казни.

Другого выхода не было. Он решился, утром пришел в герцогскую приемную... Но вместо Куракина влетел в залу стремительный Волынский — то ли донесли ему соглядатаи, то ли Фортуна направила его сюда своим перстом. Увидев Василия Кирилловича, Волынский развернул поэта лицом к себе, и бил, бил, бил, и крикнул громко, захлебываясь: «Васька! Сюда!»

И смешались дни: вторник, четверг, среда, били по телу палки, отсчитывал удары над ухом Кубанец: «сорок... пятьдесят семь... шестьдесят два...», и онемела спина, превратилась в измочаленную колоду, и он узнал, сначала вспомнил голос и испугался, а потом узнал и лицо ординарца — того страшного, бессердечного татарина-сторожа, что много лет назад, в иной жизни, бил его свистящей нагайкой на краю виноградного поля, и он шептал: «Не надо, Юсуп, не надо, Юсуп, не надо...», но никто уже не отзывался, никто не приходил на шепот в тюрьму, в комнату без окон, куда бросили его, а затем вдруг вошли, обрядили в маску, и через силу, поддерживаемый по бокам ряжеными солдатами, читал он свою дурацкую здравицу несчастному шуту и шутихе, коим тоже предстояла пытка — ночь в ледяной опочивальне, и, читая, не видел почти ничего; а потом снова была ночь в комнате-камере и кошмар неизвестности. И потом вновь подхватывали и вели его, и везли куда-то, и бросили на пол, а на возвышении, в кресле, сидел злой Волынский и смеялся в лицо, и он, проклиная свое бессилие, свою трусость, молил, скулил, плакал, просил прощения неизвестно за что, клялся в верности, целовал руки своему мучителю, а тот, торжествуя, для острастки приказал снова бить палкой, и его повели в другую комнату, где, разложив на столе, били, били палкой по кровотокающей спине, и он кричал, и Ирод был доволен и, отдавая шпагу и отпуская на свободу, грозил смертью лютой, если только вздумает он вновь идти против него, и в порыве бахвальства предлагал жало-

ваться хоть самому черту, а он только плакал бессильно, старчески, тихо, и кланялся, кланялся, кланялся, и пятился к выходу, не веря еще, не веря, что остался жив!

## 47

И вот наступила пятница, восьмое февраля. Неделя столь быстротечная, столь ужасная мчит к концу.

Василий Кириллович, немного придя в себя, несколько окрепнув и умом понимая, к чему клонится дело, послал за Иваном Комаровским, за духовником, и, причастившись, продиктовав завещание, попросил священника почитать Псалтырь. Тот с испугу было отказался, считая негодим творить над живым, что положено мертвому телу; но Третьяковский настоял, успокоил, хоть и не объяснил своей необычной просьбы. Осенив себя знамением, преклонявшийся перед своим духовным чадом Комаровский приступил к исполнению воли — начал читать распевно, привычно потягивая баском долгие гласные звуки: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалища губителей на седе...» Сладкое жужжание голоса пало на опаленную душу: слово сделало благое дело. Как объяснить отцу Ивану, что не причуды ради просил читать псалмы? Теперь, когда ничто не интересовало, ничто не волновало больше, одного хотелось — покоя, мира, и именно псалмопение, первая поэзия детства, до боли знакомая, нужна была, чтоб породить воспоминания о милом и добром прошедшем.

Но все же действительность врывается к нему, но не ранила, а наоборот, еще более успокаивала, была приятна. Он стал на путь грешников и на седалище губителей возжелал воссесть, мня себя большего достойным, — и получил за это справедливое наказание. Античные мудрецы говорили: «Каждый сам определяет свою судьбу, но сам же за это и расплачивается». Да, он понес заслуженную кару. И теперь, когда ничто не имело значения, он, смотря назад, печально отмечал ступени грехопадения: Монокулос, Малиновский, Даниэль Ури — маленький французский трубач. Верным оказалось Еврипидово учение о Роке.

Он вспоминал дико горящие глаза Волынского и крик: «Хлоп!» Он вспоминал, и ничего не переворачивалось уже внутри — просто он знал, верил, что не холоп он, но не обижался на самодурство вельможи, он был выше его. Он простил тем высшим всепрощением, о котором много слышал и которого никогда не понимал так, как понял теперь, потому что не мог прочувствовать его ранее столь глубоко.

Другими глазами виделся ему и читающий Комаровский, и комната, и разрисованное морозом стекло окошка, и служанка-чухоночка, на которую раньше так мало обращал внимания, и зашедший на минутку князь Куракин.

Он глядел на свет молча, восторженно-умиленными глазами, но немо и почти не слышал проклятий кабинет-министру, что выкликал, причитая над ним, князь; он не воспринимал обещаний отомстить, мимо ушей пропустил известие об открыто выраженном Бироном недовольстве по случаю побоев в его зале — Василию Кирилловичу не было дела до мелких, земных забот, тревог, интересов, помыслов, обид, интриг, и сокрушенный Куракин уехал во дворец с печальной вестью, удрученно качая головой, — вельможа почему-то надеялся, что Третьяковский хотя бы простится с ним.

Князь вдруг, как когда-то в Париже, после смерти отца, ощутил, что несчастный стихотворец был ему дорог: «побитый палкой Арле-

кин», — вспомнил он отцово сравнение. Да, только чересчур побитый, бессильный теперь служить по первому зову господина, печально добавил он про себя.

А Василий Кириллович упивался свободой: впервые не следовало думать о долгах, они спали с него — долг денежный на сей день не велик и как-то там разберется, а остальные... правильно он поделил: пожитки — Комаровскому, книги и спасшиеся рукописи — Академии. Были, правда, в обоих случаях небольшие исключения.

Мария теперь ни в чем не нуждалась — в Москве Сибилев пристроил ее за вдовца, за дальнего своего родственника, средней руки купчишку, и во втором замужестве обрела Мария крепкое, спокойное и столь желанное счастье. Сестре он оставлял шкатулку с двумя монетами — она верила в них, так пусть служат теперь ей, пусть напоминают о вознесенном на высокую вершину и с той вершины упавшем брате.

Он покидал этот мир гордо и безропотно, как эллинский герой Эпаминонд, произнесший перед кончиной обступившим его согражданам: «Я счастлив, что не оставил после себя дочерей, кроме Левктры и Мантиней!». Грек имел в виду знаменитые битвы, выигранные под его руководством, — память его полководческого таланта. ТрEDIAKОВСКИЙ так же не беззвучно простествовал по жизни — Способ к сложенью стихов и сами новые стихи переживают его, сохраняя потомкам вечный его голос. И все же сквозь гордость, сквозь отрешенность от мира пробилась к нему живая струя горького чувства — вдруг только оценил Василий Кириллович, как много положил он на алтарь честолюбия. Отрекшись от Федосьи, он не познал и монашеской благодати и вот засыхает, как оголенный сук, собой кончая на земле древо ТрEDIAKОВСКИХ. А грядущая слава, память... что она?

Но миг легкокрылого пареня истекал, истаявал исподволь. Он мечтал, что вот отворится дверь и войдет Адодуров, и он верил, что это обязательно случится. Давным-давно простил он Василию Евдокимовичу выступление в Собрании, но глупая гордыня не позволяла первым раскрыть объятия. Они лишь кланялись друг другу при встрече, соблюдая приличие, но в глубине души он ждал, всегда ждал примирения. Теперь, успокаивал он себя, перед скорой его кончиной, Адодуров не сможет не прийти хотя бы из чувства долга. И тогда-то он повинится, испросит прощения, а после выскажет сокровенное — последнюю волю. Да, дело, если признаться, было не в одном старом товарище. Только ему мог и желал завещать Василий Кириллович неоконченный перевод Роллена. Ибо если не будет окончен сей труд и издан, то ради чего жил?

Но Василий Евдокимович все не шел, и он на своей шкуре испытал страдания преданного, брошенного Даниэля, лишенной надежды Федосьи, оставленного отца. И он твердо понял, что наказание постигло не случайно.

Комаровский кончил чтение и, решив, что больной спит, оставил его, ушел. Василий Кириллович лежал один и, припоминая тексты псалмов, понял вдруг причину нелепой своей просьбы — он еще надеялся загореться их духом, ощутить не только печаль и бессилие, но и грозную мышцу царя Давида, гневный его голос, он хотел бы видеть врага разбитым, пусть хоть в грезах хотел поторжествовать, но не дано ему было, и лишь покаянные слова улавливало подбитое, саднящее ухо.

И немного улыбался уже, шептал запекшимися губами во сне слова примирения, но в наступившую ночь вновь приходил слон, и жег, и палил огнем, и он кричал и стонал облегченно, когда холодные прищипки Сатароша касались горящего тела.

— Все, все, кризис миновал, теперь лучше, теперь все хорошо, — шептал француз служанке, и та, умаявшаяся не менее врачевателя, бе-

жала за новым льдом в холодный коридор и, проходя столовую, бросала испуганные взоры на окошко, в котором начинал теплиться новый субботний день.

## 48

Другой день, суббота, девятое, начался визитом академика Дювернуа. Василий Кириллович лежал на животе, кругом обложенный мягкими пуховыми подушками. Он чуть приподнял голову и, узнав вошедшего, тихо сказал по-французски: «Здравствуйте, доктор, разве я уже превратился в слона, что вызвали вас?» — он криво ухмыльнулся и повернулся глазами к стене.

Дювернуа принял приветствие как должное — за свою многолетнюю практику он привык к различным больным и давно перестал обижаться на их показную грубость и ехидство. Он, наоборот, решил было закрепить шутливый тон и сострил что-то раз-другой, но Третьяковский более не глядел в сторону академика и лежал как полено, уткнувшись в подушки. Понимая кивнув, Дювернуа приобнял за талию Сатароша и поспешил выйти в другую комнату: что ж, сперва он узнает историю болезни от лекаря, а затем приступит к натурному обследованию.

Академик был дотошен к любому делу, и, хотя считался признанным светилом медицины и выполнял свой долг неукоснительно, он, врач и анатом, полагал лечение пациентов делом нужным, но не главным в своей жизни.

Правда, в истории с Третьяковским была примешана политика, а, как всякий ученый, Дювернуа политики чурался и взялся за поручение только по необходимости, подчиняясь прямому указу президента фон Корфа. После удачно завершеного праздника Артемий Петрович Волынский, как никогда, впал в фавор, и в эти дни, когда «дело Третьяковского» получило огласку и уже обросло легендами, никто не отваживался лично посетить побитого стихотворца. Получив завещание Василия Кирилловича, Корф, смекнув, что комедия грозит перерасти в трагедию, решил направить к больному Дювернуа, что оправдывалось вполне естественной заботой о подчиненном и не казалось выражением нелояльности к кабинет-министру.

Умница Корф вовсе не желал раздувать неприятную историю и, хорошо зная на собственном опыте придворного, как изменчивы порой бывают обстоятельства, приказал Дювернуа требовать с большого обстоятельный рапорт о состоянии здоровья. Василию Кирилловичу, ежели он действительно собрался отойти в мир иной, подобная процедура ни навредит, ни поможет, а он же на всякий случай окажется во всеоружии. Конечно, не могло быть и двух мнений, Иоганн-Альбрехт был до крайности возмущен попранием достоинства вверенного ему подчиненного, но он хорошо умел скрывать чувства и улыбался или негодовал во дворце в соответствии с настроением персоны, с которой приходилось обсуждать взволновавший всех инцидент. Поговаривали, что герцог разъярен и не желает спускать Волынскому наглого бесчинства, учиненного в его покоях, умалявшего, без сомнения, достоинства его светлости в глазах собравшихся на церемонию иностранных дипломатов. Но Артемий Петрович словно и не замечал недоброжелательных взглядов и вел себя все более вызывающе — Анна с восторгом вспоминала ледовую потеху, и кабинет-министр чувствовал себя всемогущим за ее державной спиной. На вопросы любопытных фон Корф отвечал, что он знает меньше всех (что было сущей правдой), и в Академии пресекал любые разговоры о больном Третьяковском. Снабдив Дювернуа указаниями, он передал ему напоследок письмо, пришедшее в канцелярию из Германии от одного из академических студентов.

— Василий Евдокимович Адодуров настоятельно рекомендовал

Тредиаковскому, если тот в силах, ознакомиться с сей премудростью. Там что-то касательно стихосложения,— сказал он медику, передавая увесистый пакет. Президент, так же как и Адодуров, считал, что проявляет тем истинную заботу о пострадавшем.

Явившись к стихотворцу, доктор внимательно оглядел раны и, не найдя в них ничего смертельного и похвалив лечение Сатароша, прописал для поднятия настроения и улучшения тока и горячности крови пить подогретый рейнвейн с пряностями. Поскольку больной так и не пожелал с ним говорить, то, передав ему приказ президента и положив письмо на столик у окна, господин профессор вскоре удалился, справедливо считая свою миссию оконченной. Дювернуа, не разобравшись в состоянии душевной болезни пациента, был все же немного шокирован оказанным приемом, но, как и всякий воспитанный француз, не подал виду.

Досада вылилась на бумагу, когда, придя домой, он начал сочинять отчет Шумахеру, просившему известить его в подробностях об обстоятельствах осмотра. «...На квартиру к помянутому Тредиаковскому ходил, который, лежа на постеле, казал мне знаки битья на своем теле,— выводило перо.— Спина у него в те поры вся избита от самых плеч далее поясницы; да у него ж под левым глазом было подбито и пластырем залеплено; а больше того ни лихорадки, ни другой болезни в то время у него не было...».

Пожалуй, правы утверждавшие в Академии, что завешание — лишь тонкий политический ход придворного стихотворца,— решил профессор. Но в политику и в опасные придворные интриги он никогда не вступал, а потому долго и не раздумывал об этом. Правда, по привычке подбирать «за» и «против», успел отметить странную немоту пациента, но, поняв, что таким образом продолжает анализировать не касающуюся его ума, лишнюю фактов и полную домислов политическую историю, легким усилием воли приказал себе забыть о ней и не выносить окончательного вердикта. Доказателен только факт или эксперимент — твердо уяснил с молодости профессор Дювернуа и уясненных принципов всегда придерживался в жизни, считая их спасительными.

В оставшуюся часть дня он заперся в кабинете, приказав никого не пускать, опасаясь многочисленных любителей сплетен.

## 49

Только в воскресенье, десятого, вспомнил Василий Кириллович о письме. Вчера он не обратил внимания на слова Дювернуа и теперь, почувствовав себя лучше, не в силах побороть любопытства, развернул, принялся читать. О! Это вовсе не обычное было письмо — это был удар по нему, Тредиаковскому. Признаться, он готов был к критике, но вот сейчас... Да и не спорил автор, а предлагал, и ни мало ни много — Новый способ стихосложения, содержащий критику его трактата! Деша пришла в Академию на адрес Собрании, и, видимо, Адодуров или Тауберт, осознав всю важность изложенного, переслали ему. Печать была сорвана, выходит, письмо читали, но что обидно, читавшие не приложили даже записки, может, побоялись быть заподозренными в сношениях с опальным поэтом? Он поймал себя на такой страшной мысли, но прогнал ее прочь.

Рассуждение свое предлагал вниманию ученых мужей студент Михайло Ломоносов, обретающийся сейчас в университете Фрейберга. По сути, автор и не скрывал, что взял за образец «Новый способ» Тредиаковского, но перекроил его, да как!

Василий Кириллович не мог припомнить молодого человека, хотя однажды, по просьбе Адодурова, читал им лекцию как раз о новом



своем стихосложении. И вот результат — юноша, решив разобраться в законах построения стиха, выдал свои правила. Правила безусловно оригинальные, дерзкие, что и свойственно молодости, но порочные, до конца ошибочные, ибо строились отнюдь не на законах родного языка. Восставая против здравого смысла, студент предлагал считать не хорей, а ямб главным размером нового российского стихосложения. Оно понятно — наслушался и начитался дробных немецких стихов и, переняв их звучание, решил привнести на родную землю чужеродный размер. И надо же, облек в форму закона: «Российские стихи так же кстати красно и свойственно сочетаться могут, как и немецкие. Понеже мы мужеские, женские и тригласные рифмы иметь можем, то услаждающая всегда человеческие чувства перемена оные меж собою перемешивать пристойно велит, что почти во всех моих стихах чинил. Подлинно, что всякому, кто одне женские рифмы употребляет, сочетание и перемешка стихов странны кажутся; однако ежели бы он к сему только применился, то скоро бы увидел, что оное толь же приятно и красно, коль в других европейских языках».

Последнее, конечно, против него выпад. Подлинно... Да кто ж право дал такое, не разобравшись, сразу утверждать?! Сказано ведь четко было, что и ямбом писать можно, и разные рифмы применять, да только не в героическом стихе, понеже музыкальное его звучание хуже всего для российского уха слышится. И вот — нате, еще и примеры приложены.

«Наивный юнец! Считает, что можно просто и безболезненно перенести законы одного языка на другой, и убеждает еще, что не во вред русскому! Вот где оплошность!» — он прищелкнул языком от досады, принялся декламировать вслух:

Весна тепло ведет,  
 Приятной запад веет,  
 Всю землю солнце греет;  
 В моем лишь сердце лед,  
 Грусть прочь забавы бьет.

Верно он подметил, непривычно звучат вирши — пример его ямбического триметра: скучно, однотонно. Тарáтарá-тарá... он отстучал вялый ритм. Неубедительно — слух, слух не улавливает высокой гармонии. А ведь тут же сам Ломоносов приводит хорейские или совсем уж прекрасные дактилические строчки:

Вьется кругами змиа по траве, обновившись в расселине,— высокопарно, тягуче и образно, точно и звонко, и метко — так, как только и следует писать: нечего мудрствовать!

Бесспорно, Ломоносов не лишен дара, и со временем может стать из него стихотворец, ежели прекратит ставить свои эксперименты. Он схватывает образ, рисует его упрямо, дерзко, и это многое значит, но стих, стих не поется, стучит, как кувалда по наковальне, — после каждого слова хоть цезуру ставь:

Восторг// внезапный// ум// пленил,  
 Ведет// на верх// горы// высокой,  
 Где ветр// в лесах// шуметь// забыл;  
 В долине// тишина// глубокой...

Мелко нарублено, стучит, что твоя таратайка по камням, и это называется «Ода на взятие Хотина»! Уж как несовершенна была одноименная ода Витынского, но, написанная хорейми, она взмывала вверх, возносила сердце в пиитическом восторге, необходимом для героического стиха, а здесь же, сколько ни пиши «восторг», «верх», «высокой» — прячется героиня в мелкой траве общей словесной вязи, тонет звук фанфар в барабанной переключке созвучий. Оду харьковча-

нина, правда, он сам дотягивал, правил корректуру, но получилась в конце-то концов! Ибо соответствовала великому событию торжественным звучанием истинно одических строк. А здесь...

Не откладывая дела в долгий ящик, забыв про болезнь, Василий Кириллович бросился сочинять ответ юному наглецу. Следовало его проучить, научить, заставить думать глубже, а не скользить по поверхности. Беря немецкое за образец, следует подумать и о русском, а не прикрываться одними бойкими фразами — прав был Телеман: каждый язык свой напев имеет, его-то и надо уловить молодому стихотворцу.

Он не очень стеснялся в выражениях — на подвернувшегося под руку студента вылил всю горечь, всю обиду, накопившуюся в душе. Как это он посмел даже не упомянуть о своих предшественниках, о нем — Третьяковском, признанном мастере нового стиха? Дерзок, дерзок сей Ломоносов, ну да ничего, получит ответ, авось одумается!

Он не мог остановить гневную руку и изливал, изливал раздражение, и письмо получилось длинное, сбивчивое, обидное, но, как ему казалось, ставящее молодого человека на отведенное ему место.

Перво-наперво наказал служанке завтра же поутру идти в Академию и, разыскав там Василия Евдокимовича Адодурова, передать ответ во Фрейберг. Конверт нарочно не запечатал, надеялся, что Адодуров прочтет и либо напишет, либо сам пожалует. Дело-то важное, всех членов Собрания касаемое.

Ох, как нужен был сейчас ему Василий Евдокимович, очень нужен — полемический задор горел в груди, и не погасить его было отпиской юному виршпелету. Он верил, что теперь-то Адодуров откликнется и явится наконец к стародавнему приятелю, страдающему хуже, чем от побоев. Уже не как продолжателя Ролленевой истории ждал он Василия Евдокимовича, а как верного, нужного друга — видит Бог, дело пошло на поправку, и с переводом он сам справится. Первый раз подвергся он столь грубой критике и, хотя совершенно был уверен в своей правоте, нуждался, остро нуждался в собеседнике. И одиночество, вынужденное затворничество терзало хуже Юсуповых палок.

Снова и снова перечитывал он оду, и вновь и вновь не принимало ухо ямбов:

Не Пинд ли под ногами зрю?  
Я слышу чистых сестр музыку!  
Пермесским жаром я горю,  
Теку поспешно к оных лику.

Скоро, слишком скоро, — повторял он. Не зря же утверждал в «Способе», что ямб — самый неудачный размер. Нельзя так писать оды, был окончательный приговор.

Он ждал Адодурова, по-прежнему ждал.

Но неделя кончилась, началась другая, а тот все не шел.

## 50

Служанку Третьяковского Василий Евдокимович разглядел у самых дверей Академии на лестнице. Девка переминалась с ноги на ногу — грелась, но в здание входить не решалась и, признав его, поспешила навстречу.

— Меня ждешь? — спросил он и, поймав утвердительный кивок и увидя письмо, понял и поинтересовался сочувственно: — Давно стоишь тут?

— Да уже вся замерзла, — отвечала та, передавая письмо, и, уло-

вив сочувствие во взоре, взмолилась. — Только мне назад не велено без ответа, так ты уж, барин милый, постарайся.

Василий Евдокимович замешкался, проглядывая письмо, и момент был утерян — единственный момент, когда бы мог он на словах передать свою озабоченность. Но миг был упущен — словно желая все расстроить, объявился на лестнице Тауберт и сразу кинулся выспрашивать:

— Ну, как он там у вас?

— Ничего, — конфузясь совсем незнакомого господина, отвечала девка, — Бог даст, оправятся. Нынче вставали уже.

— Ну и хорошо, передай, что все мы ждем и выздоровления скорого желаем, поняла? Ну, ступай, ступай, — он подтолкнул ее решительно, и девка, оглядываясь, начала неуверенно спускаться по ступеням.

Соврал ведь и глазом не моргнул, — изумился про себя Василий Евдокимович и поймал робкий взгляд уходящей служанки.

— Так что передать? — спросила она повторно.

— Передай вот, что господин Тауберт наказал, — отрезал он вдруг строго. — Все хорошо будет...

Что будет хорошо, он и сам не знал, бросил, чтоб отвязаться, повернулся и вошел в здание.

Проклятый Тауберт (не задумываясь, он легко перевалил часть вины на чужого), как фискал законоспасский, всюду нос сунет. И точно, как по мановению ока, зять Шумахера, замешкавшийся было на пороге, оказался с ним рядом.

— Это что же, ответ Ломоносову? Ловко, ловко... позвольте мне, вы ведь уже проглядели, — он буквально вырвал письмо и, развернув, прежде чем прочесть, сказал с хитрым прищуром: — Нам говорили, что он помирать собрался, ан, глядь, на пяти страницах ответы строчит.

Тауберт вновь ухмыльнулся и доверительно, шепотом поинтересовался у Адодурова:

— Ну как, от Артемия Петровича нет ли новостей насчет нашего стихотворца?

Это была полушутка-полунамек — все знали уже, что Волынский вновь полюбил Адодурова и даже брал его с собой в карете во дворец.

— Нет, я ничего не слыхивал, а ты, сударь? — грубо отбрил Василий Евдокимович.

Вопрос был что ни на есть гадкий, Тауберт всегда особым чутьем улавливал перемены и, вот так подольстившись, мог больно задеть за живое. На прошлой неделе в пятницу, как и все в Академии, потрясенный известьем и было уже собравшийся навестить Тредиаковского, Василий Евдокимович вдруг был вызван к Волынскому. Кабинет-министр отнесся к переводчику по-старому ласково, усадил с собой за стол, а после, немного подиктовав письма различным немцам, принялся вдруг допрашивать, любит ли его Адодуров, предан ли ему?

С замершим сердцем отвечал Василий Евдокимович — он и боялся, и радовался допросу — чуял, не зря вынает Волынский, что-то замыслил. Он отвечал, что предан и любит.

— Ну-ну, я и не сомневаюсь ничуть, — добродушно отвечал вельможа. — А что Академия — кипит, небось, улей? Не отвечай, — милостиво опередил приказом, — я понимаю, да по мне так — пускай возмущаются. Смотри ты, за правило взяли дерзить и недовольны. Велика персона — стихотворец... Мне передавали, ты с ним дружен? — спросил он неожиданно, смотря прямо в глаза.

— Теперь нет, ваше превосходительство, — не соврав и не отвел глаз, но и правды не выдав, отвечал Адодуров.

— Ну-ну, гляди сам, я ведь любя тебя спросил, я ж тебе в буду-

щем добра желаю,— он доверительно похлопал Адодурова по плечу.— Теперь у нас новые времена наступают!

Тогда-то и велел ехать с ним во дворец — не на бал, конечно, Вольтинский собирался работать во дворце, но работы не случилось — императрица зазвала кабинет-министра к себе, и Адодуров, забытый, просидел полночи в отведенной ему комнате.

Вольтинский с очередным взлетом стал явно к нему более расположен. Такая близость будила надежды, заглушая прежнее чувство неприязни. Он мысленно сдался, убедив себя, что оказался в западне, связанный милостью вельможи, и раз выхода не было — оставалось только подчиниться силе.

Если б не Третьяковский... Хотел же сходить, проведать, извиниться, а теперь вот и нельзя, не имеет он права, да и фарс этот с завещанием... фарс ли? Говорят, Василию Кирилловичу здорово досталось. Ну да говорят много, а точно знает один Дювернуа, да молчит — боится. Все боятся, и он в первую очередь. И правильно: береженого — Бог бережет. Кабинет-министр умеет нагнать страху.

Как назло, случилась теперь история с письмом. Сказать по правде, в рассуждениях Ломоносова есть определенный резон. Студиозус по-юному настойчив, пишет, чересчур прямолинейно отстаивая свои открытия; разбил все на правила — ясно, он копирует стиль «Способа», но ни слова не говорит о предшественнике, о Третьяковском, наоборот, даже задевает местами, не называя имени, а это неуважительно, не достойно настоящего ученого. И все же сами стихи Ломоносова за себя говорят — прекрасная ода, прекрасная! Да и Василий Кириллович хорош, верно, всю накопившуюся досаду выплеснул на оппонента. И куда девалась былая сдержанность? Как и в истории с Шваневцем — от колкостей к прямым упрекам и грубостям переходит, поучает, словно одному ведомо истина. А истина-то, кажется, от него ускользает, чересчур она однобока получилась, тот и другой размеры хороши — это оба стихотворца доказали, но вот чтоб один лучше другого? Ломоносовский взгляд более свеж — тут ему не откажешь... А доказательства? Оба их целые столбцы приводят, оба упирают на *свою* правоту, но руками махать не дело — время рассудит или помирит.

Тут как раз Тауберт дочитал и от возмущения даже прихватил задумавшегося Адодурова за рукав.

— Что же это, только ругань плодить, в самом-то деле? — развел он руками.— Василий Евдокимович, я считаю, нельзя *такое* письмо посылать!

— Согласен,— поддакнул Адодуров (ему и впрямь казалось так лучше)— Приедет Ломоносов, пусть доложится Собранию. В его рассуждениях есть свой резон. Совместно и решим, кто прав, да и, глядишь, они и сами поостынут и договорятся,— добавил он поспешно.

— А ода? — улыбнулся Тауберт.— Ода-то вам хоть понравилась?

— Звучная вышла,— как можно более нейтрально ответил Адодуров и подумал про себя: «Черт тебя знает, когда ты сам думаешь, а когда под дудку Шумахера пляшешь?»

Они постояли еще недолго и, сойдясь в мнении, что следует письмо Третьяковского не отсылать, дабы не плодить бессодержательных споров и не тратиться на почтовые сборы, порешили никому из ученых о переписке не докладывать, не порождать излишних сплетен.

Правильно сговорились — убеждал себя ввечеру Адодуров, возвращаясь мысленно к прошедшему дню. «Все хорошо будет» — вспомнил свой ответ девке, и снова стало мутно на душе, но он быстро прогнал это чувство. В конце-то концов он поступил по справедливости!

А что до оды, так ода великолепна, ей суждено большое будущее, он знает наверняка. Нова, как... как стихи парижанина Третьяковского

десять лет назад. Он невольно содрогнулся сравненью: десять лет... Когда-то покойный Феофан Прокопович сокрушенно заметил по поводу успеха молодого Тредиаковского: «Что ж, время берет свое неумолимо. Десять—пятнадцать лет назад можно ли было думать о таком стихе, и вот он — есть! Так было и так будет: будущее всегда восстает на прошлое, а прошлое, не желая быть пожранным, борется против истребляющего натиска будущего. История есть трагическая схватка разрозненных времен: будущего и прошлого, и миг между ними — настоящее — призрачен и стремителен. Так смерть одолевает жизнь, чтоб, обратав, уничтожив, породить новую жизнь, коей с первого мига суждено вступить в заведомо обреченное, но прекрасное единоборство».

Неужто окончилось счастливое время для Тредиаковского? Неужто письмо Ломоносова — предвестник конца? Он вспомнил строчки ломоносовской оды и с наслаждением прочел их вслух:

Корабль как ярких волн среди,  
Которые хотят покрыти,  
Бежит, срывая с них верьхи,  
Претит с пути себя склонити,  
Седая пена вокруг шумит,  
В пучине след его горит,  
К российской силе так стремятся,  
Кругом объехав, тьмы татар;  
Скрывает небо конский пар!  
Что ж в том? стремглав без душ валяются.

Что ж поделаешь... Ему стало вдруг жаль Василия Кирилловича, но тут же почему-то ощутил он прежнюю неприязнь в душе к бывшему другу. Будущее покажет, покажет — спор только разгорается, подсказывало внутреннее чутье. Но Адодуров слишком возбужден был, чтобы разбираться в тонкостях собственного настроения, — он лишь снова убедил себя в правоте избранного пути, а мелочи, бывшие ссоры, все, казалось, уладится. Он пойдет за Волынским, и наступят, наконец, желанные перемены, и тогда...

Василий Евдокимович ждал перемен, и они наступили: ужасные, всем ходом событий вызванные, но поскольку непонятны были скрытые, тайные пружины, их породившие, то большинству людей случившееся казалось преддверием катастрофы и пугало грозными, непредсказуемыми последствиями.

## 51

Весна семьсот сорокового года не несла счастья Василию Кирилловичу Тредиаковскому — душа оттаивала медленнее петербургских снегов, насылала тягостные раздумья, не давала отвлечься от ощущения ненужности, заброшенности, сковывала волю. Ржа ест железо, а печаль изъязвляет ум человеческого, как говорится. Доколе ж можно печалиться? Весь февраль, весь март просидел он дома, не являясь на заседания Академии, залечивал раны, и постепенно, постепенно начали они затягиваться, рубцеваться: разум находил лекарственные доводы, а душа — душеполезные помыслы. Взятся было за перевод Ролленевой истории, но дело почти не продвигалось. Многое перегорело в сердце. В эти дни он полюбил созерцание — часто доставал из заветной шкатулки монеты, в охранительную силу и удачливость которых теперь не верил, и бездумно играл ими, бренчал, катал в сложенных лодочками ладошках, рассматривал их, любуясь нехитрыми завитками рисунка. Голландский червонец ничего уже не говорил ему — Гага, Лебрюн покоились далеко, в закутках памяти. Другое дело — имперский рубль, новенький, чуть

потускневший серебряный кружок — на нем изображена была императрица, ее чеканный профиль. Случайно пришло ему на ум сравнить его с портретом на только что выбитой монете. Он поразился: даже медальер не в силах был скрыть черты одряхления — жирный подбородок ниспадал на обвисшую, столь ранее величественную грудь. Анна постарела, Анна стала иной, переменилась.

Игра с монетами только расстраивала, бередила наболевшее...

Но он выжил и пережил страшный урок, поднесенный ему судьбой. Он переменится теперь, станет терпимее к людям и скрытнее, никогда более не позволит себе вступать в никчемные споры, не будет кричать в Академии, как кричал на Шваневича. Никому не даст повода быть им недовольным и тем обережется от новых врагов. Не нужна ему теперь и любовь Адодурова, главное — делать свое дело. Двор, несомненно, позабудет о нем, и это хорошо, наконец-то станет он заниматься одной наукой. В одиночестве, самопогруженный, достигнет небывалых высот и станет, станет, наконец, профессором элоквенции и красноречия русского, станет учить новому языку молодежь и так послужит России. О! он еще свершит задуманные грамматику и риторiku, и коли появятся высочки, подобные Ломоносову, он сумеет спокойно и доходчиво отстоять свою правоту. Зря, зря погорячился в письмо, пусть и написанном неизвестному и малознатному человеку.хлопоты политики, суета живущих сегодняшним днем не для него. Он должен осмыслить совершающееся, преподать людям урок — он еще напишет свой эпос, свою героическую песнь, подобную Вергилиевой «Энеиде», ибо что может быть звучнее, понятней и серьезней исторической поэмы?

Так мечтал в своем заточении, но по-прежнему никто, кроме князя Куракина, не навещал его дома. Боялись гнева Волынского или презирали, смеялись над его бесцельем? Он устал от догадок и домыслов, но не спешил выходить на люди, а точнее — опасался.

Александр Борисович, верный своему джиованне поэта, не переставал ругать Артемия Петровича, предсказывая ему скорую гибель, но, кажется, пророчествам не суждено было сбыться.

И вдруг, вдруг, вдруг двенадцатого апреля могущественный кабинет-министр пал! Посажен был под ДОМАШНИЙ АРЕСТ! Началось СЛЕДСТВИЕ! Страшное неожиданностью своей, скоростью и грозными мерами — Артемия Петровича уже поднимали на ДЫБУ!

Крах кабинет-министра принес оправдание, возродил к жизни новую — незамедлительно превратился Василий Кириллович в ЖЕРТВУ коварного заговорщика. Сразу о нем вспомнили, его превозносили за муки, что претерпел от злодея. Но ему-то, ему вовсе не стало от того легче. Хотя...

Все же был он человек и слаб был, как слаб бывает человек, волею обстоятельств вытасканный на свет из глубокой тюремной ямы и вмиг вознесенный. Он радостно улыбался, поводил распрямившимися сразу плечами и гордо смотрел на тех, кто вчера еще боялся подать ему руку. И забыл, казалось, обо всем, что передумал, будучи изгоем; опять увлек его поток жизни, и весна за окном стала сразу полна таинственного, многообещающего смысла, и хотя Василий Кириллович никогда не был, как он считал, безрассудным человеком, но тут целиком отдался своему торжеству, неожиданному торжеству, а оттого более действительному, опьяняющему, ошеломляющему, лишаящему собственной воли и трезвой мысли. Опять был он зван во дворец, опять предстал пред очами высокой, великой, венценосной Анны, и никто, никто! не смеялся над ним, все только сочувственно шептались, когда он целовал руку на выходе, и миг вновь был, как и десять лет назад, велик и неповторим!

Затем, в последних числах апреля, предстал он, по велению свыше, перед судебной комиссией и изложил и написал все, как было на самом деле. Судьба еще раз, теперь-то в последний, столкнула его с

Артемием Петровичем Волыньским. Он не понимал, что и теперь, как всегда до этого, был он пешкой в сложной закулисной игре — он просто выполнил гражданский долг, не злорадствуя, но и не испытывая сострадания к поверженному деспоту.

Всего два основания было у следствия, чтоб возбудить дело. Первое — записка, поданная Артемием Петровичем Волыньским в Петергофе императрице, расцененная как донос на лиц, приближенных к престолу. Тут требовали от арестованного по закону, зная заранее, что не сыскать ему доказательств подлинных преступлений против короны, свершенных оговоренными персонами. И второе — личная жалоба Бирона — истинного губителя, поскольку побои секретаря Третьяковского казались ему, да и большинству иностранных дипломатов, присутствовавших при безобразной сцене, оскорблением, нанесенным владетельному герцогу. Здесь вопросы личной чести смыкались с интересами государственного престижа.

Фортуне вольно было свести два этих основания, два этих пункта обвинения, как и двух главных свидетелей; и если один — Третьяковский — не имел никаких поводов опасаться гнева следственной комиссии, то другой, имевший непосредственное, хотя и косвенное касательство к написанию столь опасного документа, посчитал себя погибшим. То был — Василий Евдокимович Адодуров.

## 52

Ничто, ничто, казалось, не могло уже спасти. Василий Евдокимович, вызванный в страшные стены Тайной канцелярии, не чаял выхода из них. Странно было лишь, что не арестовали, а наказали явиться. Он просчитался в одном — следствию важно было ОБЛИЧИТЬ Волыньского, а личности столь ничтожные, как Адодуров, привлекались как свидетели сооружаемого судебным комитетом и не существовавшего в реальности государственного заговора. Посему, когда предложено было описать все, что доподлинно известно, вдруг в тоне приказа блеснул Василию Евдокимовичу лучик надежды. Все силы собрал он в кулак и написал обстоятельные и правдивые показания.

«В июле месяце, — писал он, — приказал помянутый Артемий Петрович Волыньский перевести мне в своих покоях с русского на немецкий язык челобитную к Ея Императорскому Величеству, в которой предлагал он свое оправдание против поданных на него пунктов от некоторых от конюшенных заводов отставленных персон и просил себе награждения под претекстом своей крайней бедности, и что он себя по своему чину содержать весьма не может; а притом приобщил на особливом листу и свои рассуждения о бываемых при дворе поступках. Все оное, т. е. как челобитную, так и соединенное с оною прибавление сочинял он сам, в чем я, кроме переводу, не имею никакого участия. И хотя я перевел тогда с подъяческой руки, однако ж он всегда русское свое сочинение вновь переправливал и почти ежедневно в оном делал перемены, которые потом и в немецком переводе переправливать надлежало. Впрочем, не можно мне ныне ни всего содержания оной его челобитной, ни имен тех персон, против которых он себя тою челобитной оправдать надеялся, совершенно упамятовать и, следовательно, здесь обстоятельно того описать, потому что я всегда и перевод и оригинал принужден был оставлять в его доме; а когда оной перевод уже окончан и по его приказу мною ж и переписан был, то взял он как черное, так и белое все опять к себе и повез с собою в Петергоф, где тогда Ея Императорское Величество с своим двором находится изволила».

Конечно же, в точности содержание документов он не помнил, но

имена забыть не мог и все же понадеялся на удачу, ибо понял, точно понял, что требовалось подтвердить лишь сам факт писания, а потому облакал показания свои в расплывчатые фразы, основной упор делая на свою невинность. Он правильно почуял и точно потянул за спасительную ниточку. В конце, как бы подводя итог и не преминув выразить верноподданнические чувства, еще раз упомянул о подневольности своего труда.

«В заключение по совершенно чистой совести доношу, что я, кроме вышеобъявленного, ничего для Артемья Петровича Волынского не переводил и не сочинял, а к нему в дом приходил не токмо по его собственному приказу, но и по повестке из академической канцелярии. Что ж касается до находящихся у меня вышеозначенных книг и переводов, то оные немедленно там представить не премину, где веле-но будет; и во всем вышеобъявленном, что оное с самою истинною совершенно согласно, подписуюсь».

Его отпустили, но скоро, когда у следствия оказались в руках неопровержимые «доказательства» заговора и ближайшие сотоварищи Волынского были схвачены, от него потребовали новых, более прости-ранных показаний. Бирон торопил комиссию, мечтая поскорее разде-латься с опасным соперником, и даже пошел ради его гибели на со-юз все с тем же ненавистным вице-канцлером, терпеливо дождавшем-ся часа своего торжества. Розыскная машина работала неустанно, но все же, все же желательны были более определенные свидетельства, и нашелся, наконец, иуда, выложивший даже более, чем от него тре-бовалось,— самый верный, самый дорогой в прошлом Волынскому че-ловек — личный его ординарец, возвысившийся недавно до дворецкого, Василий Кубанец. Спасая свою шкуру, указал он на постоянно при-сутствующих на домашних «заседаниях» единомышленников. Он же, видимо, обратил внимание и на близость Адодурова к делам своего опального господина. Столь рьяное усердие Кубанца было вознагра-ждено по закону: с него сняли обвинения, выпустили на свободу, а также, согласно указу, посчитав его оскорбленным, наградили деньга-ми. И вот, по вторичному навету, Василий Евдокимович опять пред-стал перед комиссией и опять вынужден был писать оправдательную. Но теперь, умудренный первым, удачно сошедшим, опытом, он снова написал обстоятельно и, присовокупив небольшое количество новых данных, умудрился не назвать ни одного имени на бумаге,— он хоро-шо осознал, что молчанье — единственная надежда на спасение.

«По сущей правде и совершенно чистой совести, чрез сие всени-жайше доношу,— сообщал он,— что Артемий Петрович со мною ника-ких советов и рассуждений ни о ком никогда не имел, и я, кроме того, что в первом моем известии обстоятельно показано, ни в чем не имею ни малого участия. Ибо, когда я и бывал в его доме, то или сидел над переводом помянутой челобитной в одном из его покоев, или был при нем, но только всегда при многих других, а временем и знатных людях, которые многократно к нему приезжали. И так он разговаривал всегда с теми персонами, а со мною ни о каких делах, ни же о персонах не говаривал. Однако ж между всем оным време-нем, когда я бывал в его доме, случилось однажды поутру, что он, пересматривая и переправливая частопомянутую свою челобитную, сказал, что я уже-де не знаю, как и быть: двое-де у меня товарищей, да один из них всегда молчит, а другой только-де меня обманывает. Но понеже в то время, кроме меня одного, при нем ни посторонних, ни домовых людей никого не случилось, то я в том, кроме моей непо-рочной совести и сердцевидца Бога, ни на кого не могу послатца. А что опричь сих при таком, всякого человеческого свидетельства лишенном случае произнесенных от него слов он со мною ни тогда, ни прежде, ни после, никаких рассуждений и разговоров, до каких-либо дел или



персон касающихся, не имел, оное доношу по самой истине и несомненной совести».

Он был маленький человек, его простили. В Академии, взамен переводческой работы у Волинского, подыскивали ему другое занятие, поставив учителем арифметики и геометрии при гимназии в главном немецком классе. Но то, к чему когда-то он стремился всей душой, теперь не радовало. Он стал замкнут, нелюдим, да и его сторонились, пока шло скорое следствие.

А ведь как безоблачно и удачно все начиналось... Неужто это наказание за предательство общего дела, что замыслили когда-то с Третьяковским и Ильинским? Он не устоял против соблазна, польстился на посулы Волинского, коего никогда не любил, и через то погиб?

В книгах любимых классиков искал он ответа на мучившие вопросы, пытался доискаться до основы, вывести закономерность случившегося. Однажды на ум пришла лекция Малиновского, читанная в давние годы в словенской академии, и, припомнив ее, он бросился к античным риторикам и нашел, наконец, точное всему объяснение. Древние мудрецы знали, как неотрывно связаны судьба человеческая и история — словно про него писано было рассуждение о том, как следует строить трагедию главного героя.

«Герой в трагедии не может быть безукоризненно чист, откуда бы тогда рождались страсти? По крайней мере герой живет посередине между добром и злом, ведь для возбуждения большего накала следует устранить то, что действует неприятно. Вина героя должна быть наиболее прощительная, зиждящаяся не на его испорченности и злой натуре; под влиянием другого лица или противоположных качеств, или в силу страсти, чрезмерного влечения, совершает он роковую ошибку. Например, может он заблуждаться в том, что считает благом, поэтому вина его кажется мнимой. Но она есть и влечет за собой несчастье. Чтобы впечатление было более действенным, проникало в душу, следует сперва провести героя через счастливые, удачливые годы. Падение, крах — перемена судьбы не должны быть случайными и обязаны вытекать из изложенных выше опрометчивых поступков».

— Верно, как верно, — шептал он, содрогаясь.

Поучение древнего ритора все объяснило — не следует искать причины краха, падения в обстоятельствах — они вытекают из поведения человека. Сам он был творцом своей трагической судьбы, сам вылепил ее, своими руками. И жизнь показала вдруг словно списанной с древней книги, построенной по четким, как математическая формула, законам — лишь раз ошибившись, спутав плюс с минусом, он перечеркнул ее, разрушил, содеял трагедию. В том же, что жизнь его — трагедия, он не сомневался. Он лишь ждал развязки.

Не потому ли двадцать седьмого июня против собственной воли потянуло его на Сытный рынок — небольшую, огражденную сараями и магазинами торговцев площадь около Петропавловской крепости? Он пришел рано, боясь опоздать. Страх и какое-то необъяснимое чувство, многократно сильнее обыденного любопытства, гнало его сюда, к эшафоту, к концу, кровавому окончанию истории, невольным соучастником которой он оказался. Он пришел и, забравшись на высокий прилавок, издали все разглядел.

Публичные казни в те поры в Петербурге были редкостью. Обычно все совершалось в тиши крепостных стен, а посему зевак собралось неисчислимое множество. Кроме того, любопытных подстегивала важ-

ность ожидаемой экзекуции. Хотя поименно «некоторые важные злодеи», приговоренные манифестом, публично читаемым накануне, не были названы, все знали громкие имена несчастных: глава заговора — обер-егермейстер и кабинет-министр Артемий Петрович Волынский, гоф-интендант Петр Михайлович Еропкин, обер-штер-кригс-комиссар Федор Иванович Соймонов, президент Коммерц-коллегии граф Платон Иванович Мусин-Пушкин, советник Берг-коллегии Андрей Федорович Хрущов и два секретаря: Эйхлер и де ла Суда.

В восьмом часу, когда утреннее солнце вовсю уже светило над городом, из ворот Петропавловской крепости потянулись подводы с государственными преступниками. Осужденные сидели по двое на подводе. Караул гвардейцев верхами окружал это медленно приближающееся шествие. Сразу же по всезнающей толпе прокатился слухок, что старика Мусина-Пушкина, страдающего подагрой, в последний момент велено было оставить в крепости. Там ему лишь урезали язык и отнесли в каземат дожидаться последующей участи. Шестерым же предстояла публичная казнь.

Приговоренные были измождены пытками — чистые белые рубахи, надетые перед выездом из крепости, лишь усиливали резкий контраст с землистыми, отрешенными лицами. Но особенно страшным казался облик главного зачинщика, в недавнем прошлом еще наводившего трепет на многочисленных подчиненных. Рот его был затянут толстой холстиной, из-под которой по подбородку на шею и на лишенную ворота рубаху непрерывно сочилась тяжелая темная кровь — в крепости Артемию Петровичу отрезали язык.

Толпа замерла, когда его первого повели на эшафот. Он шел сам, но глаза, казалось, не разбирали дороги. Лишь когда услышал приговор, судорогой свело страшный багряный рот его и дико выпученные глаза устремились куда-то в толпу.

Сперва отсекали правую, безвольную руку и сразу же, нечеловечески мычащего, бросили на колени и обезглавили. Хрущов и Еропкин удостоились лишь отсечения головы. Затем, в другом конце эшафота, растянули дрожащего Соймонова. Его и Эйхлера били кнутом, а после, в самом конце действия, выдрали плетью наименее провинившегося де ла Суду. Оставшихся в живых загнали на те же подводы — теперь каждому досталась своя собственная, словно был тут определенный, заранее просчитанный умысел. Телеги отправились в обратный путь, сопровождаемые вдвое уменьшившимся эскортом — часть гвардейцев еще час охраняла бездыханные тела, выставленные на всеобщее обозрение, после чего они были положены на специальный катафалк и свезены на Выборгскую сторону. Там, в ограде церкви Самсония Страстоприимца, без надлежащей церковной церемонии были они преданы земле. Церковь выбрали не случайно — двадцать седьмое июня приходилось на день празднования тридцатилетия Полтавской баталии, в честь которой и заложена была Петром Великим эта, одна из самых первых петербургских церквей.

## 54

Василий Евдокимович глядел до конца. Он прирос к столбу своего прилавка и, раз вцепившись, не мог уже разжать рук. В заговор он не верил. Письмо? Так ведь хорошо же помнил его содержание — перевод на немецкий предназначался лично герцогу. Почему же Бирон так жестоко расправился с Воынским? Вдруг ненавистны стали и Куракин, и Головин, и Остерман, и все, все, приложившие руку к свержению кабинет-министра. Только что, еще утром, клял себя за связь с Артемием Петровичем, казнил за то, что пошел за ним, поддавшись честолю-

бивым замыслом, но теперь, преисполненный сострадания к мукам, вдруг принялся в душе проклинать его губителей. О! он глядел на толпу и ее готов был растерзать, спокойно расходящуюся по домам, обсуждающую, смакующую кровавые подробности истязания. И вдруг, вдруг среди голов мелькнуло знакомое, широкоскулое лицо Кубанца. Он был здесь, он смотрел на последние минуты своего господина, друга, как называл его в минуты наваливающегося одиночества Артемий Петрович Волынский. Не побоялся, пришел, проследил до конца, и Василий Евдокимович был сражен низостью, подлостью этого человека.

Почему, почему, в который раз задался он вопросом, не настигла кара предателя? Как может такой ходить по земле? И он отрекся от стройной теории, объясняющей трагедию его жизни. Если возможно такое, а такое возможно, он самолично видел Кубанца на площади и не ошибся, то все, все построения древних рассыпаются в прах, остаются лишь рассуждениями, которые равным счетом ничего не объясняют. Быть может, потом, потом воздастся ему... Адодурову страстно хотелось в это верить.

Он не помнил, как добрался до дому и, упав на кровать, забылся в тяжелом, глубоком сне, в котором не было ничего, кроме пугающей, давящей черноты.

Утром пришлось идти в Академию, и на следующий день, и после, и после...

## 55

Не один Адодуров размышлял о низости Кубанца. Василий Кириллович Тредиаковский не раз вспоминал своего мучителя, дважды вставшего на его жизненном пути, и жгучая обида терзала похуже татарской нагайки. Кубанец, получив полное оправдание и немалую сумму денег в придачу, исчез. Сказывали, вовсе уехал из Петербурга — здесь больше делать ему было нечего. Удивительно, поверенный во всех делах своего господина, умудрился выйти сухим из воды и при этом был еще и восстановлен в гражданских правах, как ПОСТРАДАВШИЙ! Российский закон предусматривал вознаграждение невинно оскорбленному, но в данном случае свершилось откровенное беззаконие — Кубанца не оправдали, а наградили за донос. Из века в век, видно, суждено было повторяться истории с тридцатью серебряниками, — Василий Кириллович и думать бы долго о ней не стал, если б не одно, и весьма важное, обстоятельство.

Апрельская волна почестей быстро схлынула, и снова переменялось отношение к нему окружающих. Многие, втайне сочувствующие казненным, стали теперь вменять ему в вину его показания на следствии. Конечно же, приличия, соблюдались, но даже в Академии почувствовал он нарастающий холодок. Память людская коротка, зависть всеильна. На несчастного, поникшего Адодурова глядели с большим состраданием, нежели на вновь обретшего славу и покровительство двора Тредиаковского. Кровь казненных черным пятном ложилась на его не восстановленную до конца репутацию. Ни один указ официально его не обелил. В манифесте о побоях сообщалось лишь как об оскорблении, нанесенном лично герцогу, — им же пренебрегли, о его поруганной чести позабыли. Произошла ужасная подмена, как в детстве, когда плеть Кубанца, наказав за ничтожный проступок, вызвала несправедливый гнев домашних, как в случае с Петриллой — итальянским скоморохом, вновь был он выставлен на всеобщее осмеяние. Большинство придворных воспринимало Тредиаковского как забавника Арлекина, радостно и с улыбкой принимающего шутовские оплеухи от господина, и если б не смертная казнь, все вскоре забылось бы, остался в памяти лишь смешной эпи-

зод, но теперь честь была замарана еще и страшным подозрением — доносительством. Правда, Куракин, которому он пожаловался, убеждал в обратном, советовал успокоиться и, не придумывая химер, не волноваться понапрасну. Хорошо было ему так советовать, недоступному для пересудов толпы, сразу взлетевшему после гибели извечного врага-соперника.

Нет, мир непостоянен, зол он на самом деле, грязен, холоден, обманчив, гадок, груб, недоброжелателен и лют, и люди, населяющие его, по большей части завистливы и человеконенавистны. Получалось, что равняли его с иудой Кубанцем, с шутом Петриллой, с ряжеными скорморохами на ледовой свадьбе, коим, арестованный и избитый, читал он дурацкое приветствие, вопреки собственной воле написанное. Он вспоминал рассказы деда, вот так же когда-то отведавшего славы и почестей, а затем вмиг уничтоженного наветами клеветников, погубленного жестокой столицей, выброшенного на окраину империи доживать свой век в безвестности. История, сделав грандиозный круг, грозилась повториться, и он никак не желал быть принесенным в жертву ее неумолимым жерновом. Нет, нет, время переменялось, заверял он себя. Он искал спасительную соломинку, не хотел сдаваться без боя. Следовало немедленно что-то предпринять, как-то оправдаться. Единственный оставался выход, последний, но самый внушительный, способный заткнуть глотки недоброжелателям и завистникам, напугать их, силой заставить подчиниться закону, — писать на Высочайшее имя, и если вспомнит о нем Анна и в который раз защитит, обережет, возвысит, то он спасен и снова, и уже навсегда останется в глазах всех лишь жертвой, достойной сострадания и уважения. О! он верил в императрицу, верил, что какие б ни бушевали там, наверху, бури, она — главная заступница и охранительница, пребудет до скончания дней своих справедлива. Он заставлял себя ТАК верить, иначе была бы лишена смысла вся его жизнь.

Месяц терзался он в сомненьях, месяц после казни, полный недоумков, показательного дружелюбия, вельможного презрения, месяц столь знакомого, но мучительного одиночества. И, наконец, решился. Написал прошение, официальное, как и полагалось по законам государства. Пускай Анна докажет, что он не доноситель, а невинно оскорбленный. Просил он и о награждении, но то были не тридцать сребреников иуды, а пеня за кровь, бесчестье, еще с библейских времен полагающаяся пострадавшему, очищающая его, признающая его право на месть, дарующая ему торжество; с давних пор так повелось: «Око за око, зуб за зуб», он лишь просил о справедливости, ведь иначе, подобно фон Корфу, например, недавно дравшемуся на дуэли из-за женщины, не мог он восстановить свое поправное человеческое достоинство. Письмо было последней его надеждой.

«Всепресветлейшая державнейшая Государыня Императрица Анна Иоанновна Самодержица Всероссийская!

Бьет челом вашей Императорския Академии Наук Секретарь Василий Тредиаковский, а о чем мое всеподданнейшее прошение, тому следуют пункты:

Сего 1740 года апреля в 27 день бил челом я нижайший Вашему Императорскому Величеству в генералитетской комиссии на бывшего кабинетнаго Министра Волынского, о насильственном, и следовательно Государственным правам весьма противном, его на меня нападении, и также о многократном своем от него на разных местах и в разныя времена не стерпимом безчестии и безчеловечном увече, а притом и о наихудшем страдании и в самых Вашего Императорского Величества апартаментах. Оное мое всеподданнейшее прошение толь праведно явилось, что и Манифестом Вашего Императорского Величества опубликованным в народ, между прочими его Волынского злодейскими

преступлениями, объявлено и подтверждено, хотя и не именовав меня нижайшего.

2

А по силе Вашего Императорского Величества прав, претерпевшим напрасное безчестие и безвинное увечье, каково я нижайший и до смерти уже чувствовать принужден, хотя коль много на излечение мое не употребил иждивения, положено за всякой раз вдвое против их окладов удовольствие с обидителей. Но мой жестокий мучитель и безвестно злой обидитель Воынской уже казнен смертью за свои ужасные преступления, а имение его движимое и недвижимое все отписано на Ваше Императорское Величество.

3

И дабы по всемилостивейшему Вашего Императорского Величества указу повелено было из оставшихся после Воынского пожитков учинить мне, паки припадающему к правосуднейшему и всемилостивейшему Вашего Императорского Величества монаршему престолу, милостивейшее наградительное удовольствие, чтоб и мне бедному и беззаступному, и толь мучительски изувеченному сподобиться высочайшия и неизреченныя Вашего Императорского Величества милости, к совершенному моему порадованию и ободрению при службе Вашего Императорского Величества верных подданных всеблагому и всещедрому Богу, котораго здесь на земле Ваше Императорское Величество нам истинный образ и совершенное подобие, за высочайшее Вашего Императорского Величества здравие, и всяя Вашея Императорския фамилии.

Всемилоостивейшая Государыня Императрица! прошу Вашего Императорского Величества о сем моем всеподданнейшем прошении милостивейший указ учинить. Июля 29 дня 1740 году.

Прошение писал я, Академии Наук Секретарь Василей ТрEDIAKовский и руку приложил».

Ответ на прошение пришел уже после неожиданной и скоро последовавшей смерти императрицы в кратковременное регентство Бирона. Первого ноября 1740 года сенат постановил: «...ТрEDIAKовскому за бесчестье и увечье его Артемием Воынским в награждение выдать из взятых за проданные его, Воынского, пожитки и имеющих в рентрей денег триста шестьдесят рублей».

Ответ был важен, очень важен — честь была спасена, он был наконец-то обелен в глазах соотечественников, и не только живущих, но и будущих, о памяти которых он так заботился. Но не дано было знать ему, как превратно истолкуют его поступок потомки, судя с позиций своего времени; большинство из них не в силах будет оценить его поведение с точки зрения того века, когда он отважился написать прошение императрице.

Он был прощен окончательно, но не сенатский указ повлиял в конце-то концов на восстановление прежних отношений, просто прошло время, и постепенно стало забываться случившееся в прошлое правление. Шумахер, стоявший в стороне, когда разворачивалось само дело, теперь вновь проявил к нему любовь и заботу, верно, вспомнив вновь о его близости с Куракиным, и поддержка академического управителя пришла всяма кстати — сочлены по Академии вновь приняли его в свою семью, и ничто больше не напоминало о пережитом. Аннино царствие кончилось, и Петербург волновали теперь куда более важные заботы — все напряженно ждали, что произойдет далее, и, готовя к долготму Биронову регентству, верили и не хотели верить в него.

Василий Кириллович же, обеленный от клеветы, легко глядел теперь в будущее — с новыми силами решил он приняться за тяжелую, но благородную работу ученого и стихотворца. Он верил, что, посеяв семя, станет теперь бережно и кропотливо возвращать его, и оно принесет плоды. По праву гордился он возложенным на него долгом, зная, что добьется своего, станет, наконец, профессором, академиком, великим поэтом, принесшим России новую музу — «Новый и краткий способ к сложению российских стихов»!

Но он не знал, не мог знать, что кончилось самое счастливое время его жизни, что, как и любой живущий, подверженный главному закону мироздания, обязан он уступить дорогу приходящим, сам оставаясь в плену у времени, его породившего, а будущее, грезившееся прекрасным, уже существовало, и он, лишенный дара ясновидения, не сумел разглядеть его в дерзком студенческом письме, присланном из зарубежного Фрейберга. Пока же, в краткий, ускользящий от него миг, он по-прежнему был главным российским стихотворцем.

День, когда пришел ответ сената, пускай и запоздавший на несколько месяцев, стал днем победы справедливости над кривдой и злом. Много раз перечитывал Василий Кириллович спасительную бумагу и в волнении шагал и шагал по комнате; раскрытый перевод Роллена лежал на столе, но он, не привыкший попусту тратить драгоценное время, не мог заставить себя сосредоточиться на работе. Необоримое тщеславие распирало грудь — он был один, а потому позволил себе принять надлежащую случаю актерскую позу и, глупо и заносчиво улыбаясь почти детской своей игре и внимательно разглядывая свое отражение в настенном зеркале, все же подумал, как порадовался бы сейчас вместе с ним простой священник астраханского собора Живоначальной Троицы Кирилла Яковлев.

## Эпилог

### 1

*«Мы все трудимся для бессмертия. Философы и не признававшие другого мира хотели, однако, укрепить за собою твердо владение сим светом. Желание к непрерывному себя возрождению, к бесконечной славе и к нескончаемой бытности своей, повсюду есть написано: торжествование брачных законов, титлы благородства, и самые надгробные надписи, ничего не твердят другого...»*

*Когда вы совет должны подать Государю, то подавайте наставления ваши под именем древняго Автора или в общественных рассуждениях, кои совесть делает всегда собственными тому, кто в них имеет нужду».*

*Житие канцлера Франциска Бакона. Перевел с французского на российский Василий Тредиаковский, профессор и член Санктпетербургской Академии наук. 1760 г.*

### 2

*«Словесность наша — дар божественный. Она тому научает нас, чего прежде мы не знали: она и Увещательница, и Преклонительница, и Утешительница, и Ободрительница, и законов Положительница, и от зверския нас жизни Отвратительница».*

*Из Предупреждения к первому тому «Римской истории» Роллена, переведенной и изданной Василием Кирилловичем Тредиаковским в 1767 г.*

Армейский полковник очень скоро надоел Адодурову. Знакомы они были весьма шапочно и давным-давно не виделись, но Василий Евдокимович не мог отказать ему в гостеприимстве, да и, отлученный от Петербуга, надеялся порасспросить гостя о последних новостях, — Москва хоть и была вторым городом империи, многие сведения попадали сюда с заметным опозданием.

Новости оказались с бородой, и Адодуров совсем было заскучал, как вдруг упоминание близкого ему имени заставило невольно выказывать интерес. Журнал Новикова, в котором издатель полемизировал со «Всякой всячиной», выпускаемой самой императрицей Екатериной, не попадался пока Василию Евдокимовичу на глаза.

— Так вы считаете, что Новиков защищает «Тилемахиду» вовсе не из любви к недавно скончавшемуся Тредиаковскому, а лишь из желания досадить самой императрице? — поддержал беседу Адодуров.

Страшно польщенный, что испрашивают его компетентного мнения, Криницин побагровел и с жаром бросился объяснять:

— Помилуйте, Василий Евдокимович, да кто ж может любить сии странновучащие, мягко сказать, вирши? Нет, тут бравада и непочтенье к Ее Императорскому Величеству. Утверждать, что поэма Тредиаковского нечто весьма интересное и значительное... Увольте меня, я, знаете, с радостью соглашусь со «Всякой всячиной», советуя читать гекзаметры выжившего из ума педанта как вернейшее снотворное средство. Мне казалось, что господа Ломоносов и Сумароков весьма наглядно доказали на деле, что его так называемые открытия суть бред ученого зануды. Позвольте, позвольте, — не давая встрять Адодурову, поспешно продолжал Криницин, все более распаляясь, — расскажу вам, как нынче заведено веселиться при дворе. Мой приятель, состоящий в гвардии, имел удовольствие потешаться со всем двором над несчастным товарищем по службе, допустившим невинную оплошность в несении караула. Ее Величество подметила ошибку офицера и наказала его милым образом. В соответствии с установленными правилами, отлитыми на золотой доске, то есть провозглашенными навечно, беднягу заставили выпить стакан ледяной воды и без запинки прочитать сорок строчек «Тилемахиды». Офицер, сконфуженный присутствием Ее Величества и всей свиты, вконец опешил и запнулся в первых же строках. Принесли еще стакан с ледника, и... осечка! Понимаете, и дома-то, в тишине, не всяк сразу прочтет сию абракадабру, а тут горло сводит, кругом — придворные, вельможи, начальство! В общем, накачали бедолагу водой презрительно, пока не осилил, потом — чуть душу Богу не отдал от простуды. А вы говорите — «Тилемахида»... да в ней и сам черт ногу сломит, сплошные «ж», да «жде», да «же», да «толь», да «так», как мака в сдобе напихано — язык сломаешь, а не выговоришь.

— Ну насчет языка, насчет так вас покоробивших усилительных частичек да наречий и их чрезмерного использования, здесь я с вами не согласен. Не ради сохранения размера они замышлялись — Василий Кириллович человек был весьма образованный, филолог от Бога, и это я вам утверждаю, сам не далекий от этой науки. Сие есть лишь попытка представить уху российскому подобие слога великого Гомера. Здесь-то и сказалось тонкое знание и умение блестящего переводчика (кстати, никогда не заявляйте больше, что труд этот легок), жаждавшего в русском языке отыскать сходные с греческими усилительные частицы, украшающие повсеместно текст эллинского гекзаметра. Что же до слога, до слов и их подчас неверной расстановки, так на то и традиция, на то и эпический размер, и читать стихи следует напевно, высокопарно, тягуче, протяжно, неспешно.

— Бог с ними, со стихотворными тонкостями,—отмахнулся Криницын,—кто старое помянет — тому глаз вон, как говорится. А все ж в таком случае и мне захотелось вспомнить. Теперь-то можно, много годов утекло, да и память об Артемии Петровиче Волынском переменялась. Дело случилось за несколько дней перед шутовской свадьбой. Да вы ведь должны все хорошо знать, сами, кажется, тогда пострадали. Так вот-с, сударь мой, сколько б вы ни выгораживали Третьяковского-поэта, а человек-то он был взбалмошный, спесивый, гордец не по чину. Я же тогда видел, как его на свою беду проучил Артемий Петрович. И что же — донес, а после еще и вознаграждением воспользовался, ну не срам ли? Оно и понятно, он ведь из поповичей, не дворянского был происхождения, а всю жизнь о чести и доблести в книгах разливался. Не без его, согласитесь, участия казнили Артемия Петровича, тут уж я как очевидец могу засвидетельствовать.

— Так и годы были какие, вам немного тогда, почитай, лет было,—вглядываясь в собеседника, мрачно сказал Адодуров.

— Согласен,—кивнул Криницын,—годы были невеселые, но на них-то нельзя ВСЕ валить, что ж, выходит, человеку ВСЕ простительно? Вот нынче у нас самый что ни на есть расцвет, и государыня просветительница, я счастлив, что дожил до таких времен. И тем более всем бы и сплотиться вокруг нее, а не как господин Новиков... должен был бы ценить монаршее отношение, понимать, что лишку берет, ан нет — оригинальничает,—повторил не без удовольствия понравившееся словцо полковник.—Воистину долготерпелива наша государыня, или неправду я говорю? Вам, впрочем, лучше знать, вы ее в молодости учили.

Адодуров согласно зажмурил глаза, но разговора не поддержал. Да, он успел изучить характер ангальт-цербтской принцессы. Нет, не зря сразу же невзлюбила юную Екатерину императрица Елизавета. Ангальт-цербтская красавица с самого начала показала характер, о! она лишь делала вид, что смиренна и тиха, буйные страсти клокотали у нее в груди! Пока училась русскому языку, пока приглядывалась, изучала неведомую доселе ей страну, она была добра с Адодуровым, внимала его наставлениям, как примерная ученица, но тогда уже, уже тогда почувствовал Василий Евдокимович всю силу ее честолюбия, всю глубину и мощь потаенную хитрого, изворотливого и смелого до безрассудства ее ума. О! Екатерина могла быть только первой либо, по крайней мере до поры до времени, равной самой Елизавете. Завела вокруг себя СВОИ кружок доверенных лиц, противопоставив его большому двору, и, преданные ей, они славили свою госпожу и совместно мечтали. Что за чудное время это было — надежды, мечты... Они говорили о просвещении российском, о перемене нравов, и она, Екатерина, поощряла своих философов, сама была зачинщицей всех споров. Тогда казалось...

Казалось...

Иностранные послы, вельможи, весь свет взирал на нее с затаенным обожанием, и лишь немногие осмеливались открыто славить юную прелестницу, опасаясь гнева царствующей императрицы Елизаветы. Но Екатерина была умна, слишком умна, она позволяла себе смеяться лишь над прошедшим царствием, лишь над Анной Иоанновной потешалась она открыто. Не тогда ли уже воспевавший ее Сумароков, коего она обладала и возвеличила нарочито в противовес придворному стихотворцу Ломоносову, не тогда ли сумел Сумароков заронить ей в голову неприязнь, презрение, насмешку к своему литературному противнику и предшественнику Третьяковскому? Сумароков — поэт поистине талантливый, но неуживчивый, непримиримый. Так, видно, и следует поступать, отстаивая свой взгляд, но все же, все же как быстротечно оказалось время, немилосердное время...



И Ломоносов, и Сумароков использовали свою силу, свою славу, дабы втоптать в грязь имя почтеннейшего филолога, и смех, и шутки, и эпиграммы — оружие разящее, сиюминутное — оказались как нельзя кстати — ибо осмеивалось недавно прошедшее.

И вот теперь Криницын и иже с ним, сути не постигая, хохочут, хохочут, и грешно их судить. И грешно, и больно... Больно, ведь сам состоял тогда при принцессе, сам смеялся, сам согрешил. Да, да, согрешил, ибо верил ей, видел в ней надежду, видел и видит, хочет видеть и теперь.

Только ей, нынешней императрице, обязан он своим сегодняшним положением. Она вспомнила сразу, лишь воцарившись на престоле, вспомнила и вызволила прошлого своего учителя из оренбургской ссылки, куда попал он в елизаветинское время из-за близости к опальному канцлеру Бестужеву-Рюмину. Теперь Адодуров возвеличен императрицей Екатериной, теперь он — куратор Московского университета, Президент Московской Мануфактур-коллегии. Он призван просвещать юношество, он на своем, наконец, месте...

Но беспокойно было на душе, беспокойно, муторно... Слишком уж вольно началось это новое царствие, слишком уж вольно, и говорят...

Слухи о неожиданной смерти императора Петра Третьего ходили самые зловещие, и Василий Евдокимович не верил в геморроидальную колику, якобы скончавшую земные дела бывшего супруга нынешней императрицы. То, что государственной властью, ЕЕ властью, повелевали предать память Третьяковского осмеянию... Все это лишь подтверждало его опасенья.

Василий Евдокимович, конечно же, увидал в «Тилемахиде» строчки, порицающие правящего венценосца, через кровь супруга захватившего престол, и знал он, как не по душе пришлись они Екатерине. Нынешняя вседержительница, поощряя свободу, была слишком умна, слишком коварна. Мстила тонко и изощренно. Проклятый полковник сумел зацепить самую большую рану, и Адодуров понял, что заснет сегодня не скоро.

К чему все труды, вся вера его в государыню-преобразовательницу, если кровь невинноубиенного помазанника лежит на ней? Он проклинал себя, что ввязался в разговор с Криницыным. Третьяковский смешон для таких, как он, потому что все вокруг смеются над днем вчерашним, и полковник способен лишь повторять бесчисленные анекдоты о прожившем поистине печальную и под конец полную невзгод жизнь Третьяковском.

Ведь вот и он, Адодуров, не может похвастаться счастьем, но лишь покоем относительным и достатком, хотя, казалось бы, теперь он достиг большего даже, чем мог пожелать в молодости. Пожалуй, это даже хорошо, что он отдален от трона, вряд ли смог бы он ужиться в столице, навряд ли... Получается, что он хуже Криницына — он знает, но молчит... А вот Третьяковский, тот всегда оставался верен себе, трудился, несмотря на невзгоды, несмотря на то, что подвергался постоянному осмеянию со стороны собратьев-поэтов, всего света, Академии, из которой на склоне лет ушел в никуда, и даже влача существование отставного профессора, живущего на скудные литературные заработки, не побоялся, отважился открыто выступить с порицанием свершившегося на глазах у всех царевбийства. Правда, он запрятал свои мысли в поэме, одел их в античные одежды, но оттого не потерял брошенный вызов остроумия, и многим, многим, умеющим читать между строк, стал понятен...

Василий Кириллович знал свое дело, всегда знал и упорно, пускай даже педантично, трудился, трудился, невзирая ни на что. Непонятный, сложночитаемый стих, неудачные новации в правописании, непо-

нятные собратьям-академикам рассуждения о начале русской истории... Что ж, когда-то наступит черед, и история, которой он был предан беззаветно, во всем, во всем разберется. И мысль эта, лишенная застарелой зависти, неожиданно согрела его, ободрила, вселила надежду.

## 4

*Завещание Императрицы Екатерины Второй  
по делу Артемия Волынского 1765 года*

*Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел. Императрица Анна своему кабинетному министру Артемью Волынскому приказывала сочинить проэкт о поправлении внутренних государственных дел, которой он сочинил и ей подал; осталось ей полезное употребить, не полезное оставить из его представления. Но напротив его злодеи, кому его проэкт не понравился, из того сочинения вытянули за волос, так сказать, и возвели на Волынского изменнический умысл, будто он себе присваивать хотел власть Государя, что отнюдь на деле не доказано. Еще из того дела видно, сколь мало положиться можно на пыточных речей, ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили всё, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческого пришло на ум, лучше утвердительно верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодной кровью. Всякой питанной в горячке и сам уже не знает, что творит. И так отдаю на рассуждение всякому имеющему чуть разум, можно ли верить пыточным речам и на то с доброй совести полагаться. Волынской был горд и дерзок в своих поступках, однако не изменник, но напротив того добрый и усердный патриот и ревнитель к полезным направлениям своего отечества. И так смертную казнь терпел, быв невинен. И хотя бы он и заподлинно произносил те слова в нарекании особе Имп. Анны, о которых в деле упомянуто, то бы она, быв Государыня целомудрая, имела случай показать сколь должно уничтожить подобныя милости, которая у ней отнимали ни на вершок величества и не убавили ни в чем ея персональныя качества. Всякой Государь имеет неизчисленныя кроткия способы к удержанию в почтенье своих подданных. Есть ли б Волынской при мне был, и я бы усмотрела его неспособность в делах государственных и некоторое непочтение его ко мне; я бы старалась всякими для него неогорчительными способами его привести на путь истинной, а есть ли б я увидела, что он неспособен к делам, я б ему сказала, или дала разуметь, не огорчая его: Будь щастлив и доволен, а мне ты ненадобен. Всегда Государь виноват, есть ли подданные против него огорчены. Изволь мериться на сей аршин. А есть ли из вас кто, мои дрожайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожении, так ему более в свете, и особливо в Российском, щастья желать, нежели пророчествовать можно.*

*Екатерина*

## 5

Дождливым сентябрьским вечером тысяча семьсот семидесятого года весьма еще эффектная, хотя и несколько погруневшая сорокалетняя женщина сидела за столом рабочего кабинета в Зимнем двор-

це. Отпустив секретаря, Екатерина пребывала в некотором бездумье и потому перебирала всевозможные записки, рассыпанные веером на темном сукне. Приятно было вот так просто сидеть, и хотя, по обыкновению, она не любила тратить время попусту, но сейчас то ли скучная, дождливая непогода за окном, то ли дневная усталость вызвали в душе безмятежное спокойствие, полное удовлетворение собой.

Императрица Анна, рассказывали ей, в последние годы жизни часто скучала от такого вот одиночества, не умела ценить всю прелесть подобных мгновений и разгоняла тоску, требуя увеселений, любила гам, толчею кривляющихся шутих или оглушала себя громкозвучными концертами — не представляла себе дворцовой жизни без постоянного маскарадного мельтешенья перед глазами. Что ж, она была государыня бездельная, во всем послушная мнению своего окруженья, исподволь, из-под полы наживающегося на беспечности монархини. То же, впрочем, можно сказать и о Елизавете Петровне.

Последнюю Екатерина не любила вспоминать. При ее дворе чувствовала себя всегда скованно и жила своим, обособленным мирком, чем только раздражала и без того настроенную против нее самодержицу. Но она не могла иначе — слишком деятельная, с кипучей кровью, она рано почувяла вкус власти и не выносила подчинения. Прodelки и интриги Екатерины до поры до времени прощались, но только до поры до времени, она знала это и, втайне боясь всего больше быть отосланной с позором из России, не могла тем не менее вести себя соответственно законам двора. Оказавшись здесь, она сразу поняла, что Провидение посылало ей небывалый шанс, и мелкая ангальтцерптская принцесса ухватила за него и победила! О! она хорошо успела изучить СВОЮ великую страну и теперь, восемь почти лет царствуя над неисчислимыми ее подданными, многого добилась. И большего еще добьется, не зря зовут ее просвещенной монархиней, она понимает нужды СВОЕЙ страны и от выбранного пути не отступится.

Нет, не кровью, а лаской, деньгами, чинами, посулами следует управлять Россией. По той же причине, что и Дашкову, не приблизил к себе снова Адодурова. Она крепко запомнила его высоко нравственные уроки и, вытащив из оренбургской ссылки, подыскала ему достойное его больших способностей место — пускай служит ей и ее России, но в Москве, подальше от двора.

Она как бы оберегала их от самой себя, знала, что будь они вблизи, дело может кончиться печально — ничьих советов она не потерпит! Она много передумала, сильно изменилась с тех пор, а посему — война прошлому, ее волнует теперь только сегодняшней день и будущее! Назад возврата нету, как бы они ни вспоминали прошедшее. Она знает свой путь, ратует за бескровное правление, а посему поспешила узаконить свои принципы, написав в шестьдесят пятом году завещание потомкам по делу Волынского: старалась и для сегодняшних придворных, и для будущих поколений — пускай запомнят ее такой! Тут и еще есть одна цель — порицая Анну, она порицает все ее время, с ним ничего общего иметь не будет! Казнь кабинет-министра весьма еще памятна россиянам, и Екатерина хорошо сознавала силу документа, силу слова запечатленного.

Вовсе не из честолюбия одного предается она своим литературным забавам, но они и не простое развлечение. Она тайно поощряет полемику с ней Новикова, ей нравится его смелость, и главное, полемика — наглядный пример невиданных ранее в России свобод. Не следует лишь преступать запретной черты.

Что до господ сочинителей, то они пока не вредны ей — с покойным Ломоносовым был заключен полный альянс. Он, поначалу отстраненный от Академии, вскоре был прощен и даже поднес ей оду, и се-

годня, понимая все значение ИМЕНИ, она готова превозносить память о Михайле Васильевиче до небес — что и говорить, случай весьма удачный: русский, академик, вышедший из крестьян, достигший всемирной славы! Другого же, отзвучавшего почти поэта — Сумарокова, наградив, конечно, генеральским чином, она сумела вежливо оттеснить с Парнаса, безболезненно отстранить от двора. Он был годен тогда, в елизаветинское время. Со своими чудными песенками, стишками, басенками, драмами и трагедиями, Сумароков украшал ее полуоупальный кружок, противостоял официальному певцу Елизаветы — Ломоносову. Но новому времени — новые песни, как бы жаль ни было, Сумарокова постигла участь им же осмеянного Третьяковского. Сегодня ей нужен новый поэт, молодой, способный воспеть ее, как некогда Третьяковский — Анну, Ломоносов — Елизавету, Сумароков — ангальт-цербтскую принцессу. Василий Петров, пекущий нынче парадные оды, хоть и признан придворным стихотворцем, на сию ответственную роль не годится — она и сама видит в нем лишь скромного подражателя Ломоносову. Чтец он, действительно, отменный, Екатерина привыкла к его голосу, но поэт... Новиков не зря глумится над его творениями.

Вот Новиков — писал бы стихи, можно б было его приручить, но, увы, стихотворством не занимается, од не подносит, а лишь высмеивает. Что ж, это его качество пока ей на пользу, она, как никто, знает цену смеху. Не зря же, не из простого желания повеселиться ополчилась она на «Тилемахиду» Третьяковского. Отставной профессор элоквенции, порвавший на склоне лет с Академией, рассорившейся со всем почти Петербургом, в шестьдесят девятом году был днем позавчерашним в российской поэзии. Он олицетворял прошлое, мерзкое Аннинское время, и тем еще был ей ненавистен. Сколько б ни восхищался его ранними сочинениями Адоуров, даже он признавал мощь и силу ломоносовского стиха. О Третьяковском ходило много анекдотов, и маска Арлекина прочно привязалась к отставному профессору, а его литературные противники, Ломоносов и Сумароков, мастерски сыграв на его слабостях, на вспыльчивости, самолюбии, своими эпиграммами лишь добавили красок к портрету ученого-неудачника.

По сути, отставной профессор был бы только ей полезен — в «Опытах» Бэкона, в предисловиях многотомной истории Роллена, им переведенных, он ратовал за просвещенную монархию, то есть за идеал, который она воплотит здесь, в России. Но он отважился на критику, так, во всяком случае, нашептывают ей придворные — в своей поэме он описал не только добродетельного монарха, но и историю Пигмалиона, умерщвленного узурпировавшей власть его наложницей Астареей. Не очень-то она верит наговорам, но если появилось такое сомнение, значит, следует разделаться с поэтом, тем более что он ей самой смешон, непонятен — уроки Сумарокова не прошли даром. Если заметили придворные, значит, и Новиков не пропустил сей истории, не пропустил и наверняка связал ее с необычайно скорой кончиной Петра Третьего. Подобная критика — дело политическое, дерзость неслыханная, и хотя Василий Кириллович, вот уже год как покоившийся в земле, не посмел высказаться прямо, а лишь намекнул на главную тайну ее царствования, она поспешила расправиться с неудобной книгой. Ну право же, «Тилемахида» нелепа, несуразна, ее чудовищный язык лишь на руку Екатерине. Во всех почти своих трудах Третьяковский восхвалял труд поэта, работающего для приобретения вечной славы. Что ж, он ее заработал, поистине достойную его творений!

Загоревшиеся ироническим блеском глаза императрицы упали на листок с упражнением. Она любила выписывать различные варианты одного понятия — при сочинении реплик в комедиях достаточно было взгляда, чтоб отыскать нужно слово. Она прошлась глазом по написанному столбцу:

Безмерной смех.  
 Улыбка.  
 Улыбка надменная.  
 Глупой смех.  
 Улыбка от привычки.  
 Улыбка от учтивости.  
 Улыбка неприятная.  
 Улыбка приятная.  
 Смех.  
 Приятной вид.  
 Насмешка умная.  
 Насмешка глупая.  
 Смех от радости.  
 Смех от досады.  
 Лицемерной смех.  
 Лукавой смех.  
 Злостной смех.  
 Удержанной смех.  
 Принужденной смех.  
 Досадной смех.  
 Насмешка мстительная.  
 Насмешка досадительная.  
 Насмешка невинная.  
 Смех от гордости.  
 Смех от самолюбия.  
 Хахатание.

Она особенно отметила последнее слово — хахатание. Вспомнилось, как надрывались придворные над «казнимым» — человек, давясь от страха и от судороги, сводящей горло после стакана ледяной воды, пытался прочесть страничку «Тилемахиды». Хохот да умная насмешка — вот память, достойная дерзкого поэта, вознамерившегося поучать и критиковать ее — первую просвещенную государыню всероссийскую!

## Послесловие автора

Летит время, летит. Исчезает давно прошедшее, уходит в небытие минувшее, и лишь неизменно парит над миром — необъяснимое, но величественное, столь нужное в пути каждого человека — Время. Парит, несется, течет неспешно — движется. И в нем, в потоке его, в глубинных водоворотах и омутах назревает и каждые двадцать пять — тридцать лет вырывается на поверхность свежее, юное течение, омолаживающее лик живущих, стремительно захлестывает отцов, и буйный весенний напев его приглушает уже спокойно-философический голос породивших его родителей. Часто новый шквал набегаёт высокой волной, и не сразу, но все же сраженные в конце-то концов под напором потомков старики, громогласно и торжественно заявляя о принятии в свой клан сынов своих, на деле тайно оплакивают подступающее бессилие и стараются, обманув время, отстоять былое, убедить окружающих в своей, уже непонятной современникам правоте. Лишь немногим дано вдохнуть свежего, чистого воздуха и не наставником уже, а равным примкнуть к рядам легконогих и стройных новобранцев. Большинство же седовласых, еще живущих, еще горящих прежним задором, ретируются и, оттесненные во второй ряд, храня предания минувшего, становятся самой историей, еще не осознанной глядящими в будущее сыновьями. Постепенно, постепенно затухает голос родительский, а дедовский и прадедовский и вовсе слышится сквозь туманную пелену надвинувшейся эпохи приглу-

шенным и исковерканным, ведь парадокс истории — времени без будущего — в том и заключен, что вновь пришедшие, благоговейно вспоминающие о заветах и наставлениях развешанных по стенам портретов, не по желанию своему, а законным образом бунтари и ниспровергатели, и близко лежащее кажется им зачастую смешным курьезом, коего следует, соблюдая, конечно, приличия, стыдиться. Потому-то скорее вспомнят пра-пра или пра-пра-пра-пра-пра-творивших и, вспомнив, подивятся их с легка наивным, но все же чем-то привлекательным для теперешней жизни исканиям и, черпая из старого кладезя, невольно замкнут круг, еще одно кольцо, бесконечно и бесконечно наслаивающееся на стержень вечности, и будут горды приобщенностью к заветам рода, и станут, наверняка станут похваляться предбывшими, ведь только причастившись духа своей истории, и можно обрести уверенность в совершаемом сегодня — только настроившись по древнему камертону, дано обрести свой новый голос.

Так и герой мой, с которым, поверьте, нелегко мне расставаться, окончил свой жизненный путь в тысяча семьсот шестьдесят девятом году, но почил, кажется, только лишь для того, чтобы вечно не умирать. Многочисленные пророчества его насчет памяти грядущих поколений — защита от чересчур взыскательных современников, живущих уже в другом времени, а потому не понимающих, не признающих его вмиг устаревших открытий — сбылись, но сбылись не совсем так, как ему мечталось. Слишком мощен был напор пришедших на смену, слишком силен голос, в особенности Михайлы Васильевича Ломоносова — великого Ломоносова, поэта, ученого, гражданина, коего после смерти сразу же подняли на щит, вознесли, а потому не забыли, а, наоборот, лишь усилили уже традиционное осмеяние памяти Тредиаковского, и многие, многие еще поколения довольствовались привычными представлениями, пока, наконец, не восторжествовала историческая правда.

«На что плох Тредьяковский, но и того помнят», — вздохнет однажды мечтающий о почестях и славе чеховский обыватель. Да! вплоть до века двадцатого, лишь постепенно затихая, тянется эта традиция осмеяния, непонимания, презрения, высокомерного отношения к памяти Тредиаковского. Надобно было пройти двум столетиям, прежде чем о нем наконец-то заговорили без ухмылки, серьезно, пытаясь понять, оценить по заслугам.

Сегодня Василий Кириллович Тредиаковский возвращается к нам — все больше и больше выходит работ научных, посвященных его неисчислиленному пока до конца, сложному и лишь на первый взгляд противоречивому творчеству. Противоречия эти во многом возникли от слабой изученности, ибо не было и нет до сего дня детальной академической монографии, освещающей становление его личности в целом, в полном объеме. Только такая работа сможет, наконец, высветить белые пятна в его жизни, прояснить «неожиданные» перемены, о которых любили и до сей поры любят говорить иные исследователи его творчества. Но подобная реконструкция биографии — дело специалиста.

Задумывая роман — историческое повествование о жизни моего героя, я шел от документа. Страницы архивных дел — живые свидетельницы минувшего, исписанные порой невероятно сложными, незнакомыми современному глазу, витиеватыми почерками переписчиков, вельмож, поэтов, священнослужителей и академических чиновников, выцветшие коричневые или черные чернила, буквы — размашистые или мелкие, как бисер, нервные или привычно отмеренные писарские строчки, удивительно ухарские по замысловатой неповторимости виньетки подписей, имена, детали, объявления, названия, сама бумага — толстая, с неровным краем, с проступающими на просвет водяными знаками, остатки восковых печатей и случайных сальных пятен — все это создавало эффект соприсутствия, — и долго не покидали меня сложнозакрученные

обороты отзвучавшей речи, жили во мне, лаская и поражая своими красотою мой слух. И все же, все же что-то главное, неуловимое не давалось, ускользало, пока однажды волею случая не пришлось присутствовать на выступлении консерваторского хора, исполнявшего забытую и вновь возрожденную стараниями его дирижера музыку, творцом которой был мой Василий Кириллович Тредиаковский. И вот, когда я услышал, когда наполнилась маленькая зала взволнованными голосами, плетущими великолепную, панегирически пронзительную барочную вязь мелодии, тогда лишь, когда я прикоснулся к ожившему языку, громкозвучному голосу эпохи, мне показалось, что я сумел уяснить, прочувствовать, наконец, и тайну голоса моего героя. Первая нота была найдена, заглавная нота мотива.

Роман о поэте обязан быть музыкальным, во-первых, потому, что любой поэт рождается из музыки, во-вторых, потому, что любая проза, по сути своей, тоже имеет свою мелодию, порой только едва различимую, и, в-третьих и в основных, потому, что донести до современного тебе читателя голос почти не понятного теперь, архаичного автора можно только, на мой взгляд, настроившись на музыкальный лад его творений. Иначе язык его, доступный, близкий, понятный его современникам, будет нем сегодня, покажется скучным, а значит, и смешным.

Время изменяет язык, изменяет быстро и неумолимо, но это не значит, что мы имеем право забывать его. Он всегда с нами, и стоит лишь повнимательней прислушаться, повнимательней взглядеться в давно написанное, сродниться с текстом, и вот происходит на глазах волшебство — снова оживают, казалось бы, забытые струны, и очаровывает, захватывает, покоряет их звучание, потому как подлинный, непридуманный, родной, с молоком матери впитанный язык всегда прав, всегда прекрасен. Еще в 1922 году о подобном чуде, предостерегая, писал Осип Эмильевич Мандельштам: «Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство — именно: язык. Столь высоко организованный, столь органический язык не только — дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка... Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории».

Я не ставил себе специальной задачей обелить память Василия Кирилловича Тредиаковского, и если это получилось, то невольно. Мне лишь очень хотелось, чтоб звучание его песеносного языка, музыка его времени на те недолгие минуты чтения его стихов завладела благосклонным читателем, чтоб трагическая судьба его, незначительно дополненная воображением и оборванная в миг наивысшего подъема (и заката) его славы, стала более понятна на фоне удивительного века, на который я пытался взглянуть изнутри, глазами героя.

Да, именно воображение вело перо, подсказывало образы, дополняло лакуны его биографии, и именно, повинюсь тут перед взыскательным историком, воображение в некоторых случаях позволило дополнить (но незначительно, ни в коей мере не меняя основы) некоторые свидетельства времени, как случилось, например, с записками Корнелия Бруина, зовомого в России восемнадцатого столетия Лебрюном. Писатель, и тут я уверен, имеет право на вымысел, он не реконструирует биографию, но лепит ее, отталкиваясь от документа, исторического факта.

Тщетно стал бы искать досужий историк и некоторых героев данного повествования в документах восемнадцатого столетия — и аббат Тарриот, и Монокулюс (хотя такое прозвище встречается в списке уче-

ников Законоспасской академии), и иезуит Шарон — образы скорее собирательные, образы эпохи.

Человек, в давние еще времена, приступая к описанию прошедшего, оказывался перед сложной моральной и этической проблемой — как, не согрешив против правды, донести ее до читателя. Проблема эта осталась и встает всякий раз перед любым, пишущим на историческую тему. Посему закончу словами Плутарха, открывающими его «Сравнительные жизнеописания»: «Подобно тому как историки в описаниях Земли все, ускользающее от их знания, оттесняют к самым краям карты, помечая на полях: «Далее безводные пески или дикие звери», или: «Болота Мрака», или: «Скифские морозы», или: «Ледовитое море», точно так же и мне, в работе над сравнительными жизнеописаниями пройдя чрез времена, доступные основательному изучению и служащие предметом для истории, занятой подлинными событиями, можно было о поре более древней сказать: «Далее чудеса и трагедии, раздолье для поэтов и мифографов, где нет места достоверности и точности...» Я бы хотел, чтобы сказочный вымысел подчинился разуму и принял видимость настоящей истории. Если же кое-где он со своевольным презрением отвернется от правдоподобия и не пожелает даже приблизиться к нему, просим благосклонного читателя отнестись со снисхождением к этим рассказам о старине».

КОНЕЦ

---



---

---

## ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

---

---

*К 100-летию со дня рождения*

Георгий Иванов

### ЗАКАТ НАД ПЕТЕРБУРГОМ

*Продолжаем публикацию произведений Георгия Иванова (1894—1958), великого русского поэта, чье творчество наконец-то возвращается на Родину. Как уже сообщалось (см. «Согласие», 1993, № 6), Акционерным обществом «Согласие» подготовлено к изданию первое в мире Собрание сочинений Георгия Иванова в трех томах, где «последний классик «серебряного века» представлен читателю с максимально возможной полнотой, произведения текстологически выверены и подробно прокомментированы.*

*«Закат над Петербургом» — последнее из опубликованных Г. Ивановым эссе мемуарного характера (журнал «Возрождение», Париж, 1953, № 27). В нем он подводит некий итог, осмысливает роль Петербурга в русской культуре начала века, совмещает историческую ретроспективу северной столицы с картиной ее заката. В России печатается впервые.*

«Блистательный Санкт-Петербург» — был, в пору своего расцвета, в самом деле — блистательнейшей столицей. Расцвет этот длился примерно от царствования Екатерины Великой до цареубийства 1-го марта.

Его наивысшей точкой была первая половина XIX века. Это и была та эпоха, о которой не кто иной, как Поль Валери, записал в своем дневнике: «Три чуда мировой истории — Эллада, итальянский Ренессанс и Россия XIX века!»

...Былое сопротивление «порфиноносной вдовы»<sup>1</sup> — Москвы окончательно выдохлось. Ее либерально-барская и староверски-купеческая оппозиция стала чем-то вроде безвредной старушечьей болтовни. Все, что в бывшей столице поднималось, так или иначе, над безличным обывательским уровнем, будь то Растопчин, славянофилы или даже Чаадаев, — блистало отраженным светом Петербурга. Об «остальной», бескрайней, России — нечего было и говорить. Там, после последней вспышки подспудного пламени — Пугачева, воцарилась «всерьез и надолго» пресловутая «вековая тишина»<sup>2</sup>. Ее нарушали лишь сентиментальные вздохи кисейных барышень, аккорды усадебных клавесинов, зычные дьяконские «многолетия» да еще барабанная дробь и «смирнаа!» военных поселений.

С «дней Александровых прекрасного начала»<sup>3</sup>, вплоть до Севастополя, имперские замыслы Петра Великого торжествовали полную победу. Олицетворением этих замыслов, олицетворением «Российской Империи», занявшей место «матушки Руси», — был Петербург. И в Петербурге, как в фокусе, сосредоточилось российское «все».

Отвлеченное определение идеи и материи, для наглядности иллюстрируемое образом цветущей яблони и тенью (этой яблоней отбрасываемой), яблоня — идея, тень яблони — материя, — это определение могло, пожалуй, характеризовать взаимоотношения Петербурга и Рос-

сии. Петербург — идея, остальная Россия — только тень Петербурга, только материя, воплотившая идею.

Петербург, сто лет тому назад почти не существовавший, стал теперь мозгом и сердцем страны. России оставалось только повиноваться и, посылно, подражать ему. Все большие дороги русской жизни перекрещивались в одном «невралгическом центре» — Петербурге. Казалось, что все, чем отличается полнота живой жизни от растительного существования, стало привилегией петербуржцев, принадлежало только тем избранным, кто жил в прекрасной столице и дышал ее туманным воздухом.

...За окном, шумя полозьями,  
Пешеходами, трамваями,  
Таял, как в туманном озере,  
Петербург незабываемый<sup>4</sup>.

Незабываемый? Да, именно незабываемый. Восхитительный, чудеснейший город мира. Для петербуржцев, вздыхающих по нему, как по потерянному раю? — Конечно. Но не только для одних петербуржцев. Значит, и для всех русских? Не знаю, для всех ли, во всяком случае, для очень многих и — как это ни удивительно — для многих иностранцев. Очарованных Петербургом иностранцев не перечесть: «Город-мечта, волшебнo возникший из финских болот, как мираж в пустыне»... «Версаль на фантастическом фоне белых ночей»... «Соединение Венеции и Лондона».

...О Венеции подумал  
И о Лондоне зараз...

«Стеклянные воды каналов» и туман, туман... Ни одно описание Петербурга не обходится без тумана.

Но это не лондонский туман. Туман Петербурга совсем особенный, ни на какой другой не похожий. Он — душа этой блистательной столицы.

Невы державное течение,  
Береговой ее гранит<sup>5</sup>,

мосты, дворцы, площади, сады — все это только внешность, наряд. Туман же — душа.

Там, в этом призрачном сумраке, с Акакия Акакиевича снимают шинель, Раскольников идет убивать старуху, Лиза бросается в ледяную воду Лебяжьей канавки. Иннокентий Анненский в накрахмаленном пластроне и бобрах падает с тупой болью в сердце на ступени Царскосельского вокзала в

Желтый пар петербургской зимы,  
Желтый снег, облипающий плиты<sup>6</sup>,

которые он так «мучительно» любил.

Туман, туман...

На Невском он прозрачный, кружевной, реющий над «желтизной правительственных зданий» и благовоспитанно стусшевывающийся перед сиянием дуговых фонарей. Фары «Вуазенов», звонкое «берегись!» лихачей, гвардейцы, садящиеся в сани,

Широким жестом запахнув шинель<sup>7</sup>.

В витринах Елисеева мелькают ананасы и персики, омар завивает во льду красный чешуйчатый хвост. За стеклами цветочных магазинов длинные стебли срезанных роз, розы расцветают на улыбающихся лицах женщин, кутающихся в соболя...

Может быть, того густого, тяжелого, призрачного тумана и не существует больше? Нет, он по-прежнему тут. В двух шагах от этого

оживленья, света и блеска — унылая пустая улица, тусклый фонарь и туман, туман...

...Ночь, улица, фонарь, аптека.  
Бессмысленный и тусклый свет.  
Живи еще хоть четверть века —  
Все будет так. Исхода нет<sup>8</sup>.

Все будет «так» или почти «так».

Над Невую многоводной,  
Под улыбкою холодной  
Императора Петра<sup>9</sup>.

Все всегда будет так. Никакие перемены невозможны. «Игра продолжается». Исхода нет. И быть не может.

Но это только казалось.

\* \* \*

Ущерб, потускнение, «декаданс» Петербурга начался незаметно, как незаметно начинается неизлечимая болезнь. Сперва ни больной, ни его близкие ничего не замечают. Потом лицо больного начинает меняться все сильнее... И наконец, перед смертью, оно становится неузнаваемым...

В 1918—1919 году Петербург стал неузнаваемым. После разгрома белых армий Петербург умирал.

...Зеленая звезда в холодной высоте,  
Но разве так звезда сияет?  
О, если ты, звезда, воде и небу брат,  
Твой брат Петрополь умирает...<sup>10</sup>

Бывают сны, как воспоминания, и воспоминания, как сны. И когда думаешь о бывшем «так недавно и так бесконечно давно», иногда не разбираешь, где сны и где воспоминания.

Ну да, была последняя зима перед войной и была война. Был Февраль и был Октябрь... И то, что после Октября, тоже было. Но если взглянуть пристальнее — прошлое ускользает, меняется, путается.

...В стеклянном тумане висят мосты, две тонких золотых иглы слабо поблескивают, над гранитной набережной стоят дворцы,

И мчатся узкие санки  
Вдоль царственно-белой Невы...

Какие-то люди ходят по улицам, какие-то события совершаются.  
А как же:

Живи еще хоть четверть века —  
Все будет так. Исхода нет.

Нет, исход есть. И какой еще исход. «Живи еще хоть четверть века». Но четверти века жить не пришлось...

Вот молодой Блок читает стихи, и вот уже он

Спохватился — сорок лет...  
Хвать похват, а сердца нет<sup>11</sup>.

Разве, правда, нет у него больше сердца? Или просто:

...Земное сердце уставало,  
Так много лет, так много дней,  
Земное счастье опоздало  
На тройке бешеной своей?<sup>12</sup>

И он:

Наконец смертельно болен?..

И вот уже хоронят «испеленного» Блока.

...Вот крещенский парад — урра! «Боже, царя храни!» И вот вместо оранжево-черного императорского штандарта — красная тряпка над Царскосельским дворцом. И в одном из окон, отрекшийся, арестованный —

...Странно царь глядит вокруг  
Пустыми, светлыми глазами<sup>13</sup>.

...С начала царствования Александра III «ликвидация» бывшего величия Петербурга шла уже вовсю, «на всех парах», во всех направлениях. В начале XX века она «дошла до точки».

В этом «планомерном» сведении на нет всего, что было в Петербурге исключительного и неповторимого, что делало из него подлинный мозг страны, не было — да и не могло быть — чьей-нибудь сознательной злой воли. Напротив, люди, так или иначе способствовавшие вырождению Петербурга, лично — невинны. Никто из них не отдавал себе отчета в деле своих рук. Каждому — от царя и его министров до эсеров, охотившихся за ними с бомбами, — искренне казалось, что они не пилят сук, на котором сидят, а, напротив, предусмотрительно окапывают тысячелетние корни «исторической России», удобряют каждый на свой лад почву, в которую эти корни вросли. Столица мельчала, обезличивалась, вырождалась — и люди, которые в ней жили, распоряжались, строили, «охраняли основы» или старались их подорвать, — тоже мельчали и вырождались. Никто уже не мог ничего поправить, никто не понимал безвыходного трагизма обстановки. За всех действовала, всем руководила судьба... если угодно, Рок.

Как бы там ни было, Петербург все быстрее и неудержимей катился по наклонной плоскости туда —

Где нас поджидала Чека...<sup>14</sup>

\* \* \*

...Главный фасад — на Неву — восхитительного здания Адмиралтейства застроили безобразным театром Неметти и другими уродливыми доходными домами. Должно быть, Морское ведомство великой страны никак не могло обойтись без этой жалкой «доходной статьи»... На Невском, как грибы, выросли одно за другим «роскошные» здания — настоящие «монстры», вроде магазина Елисеева или дома Зингера.

В последнем, между прочим, обосновался журнал, как нельзя более соответствующий и стилю здания и вообще захлестывавшей Петербург предреволюционных годов безвкусице. Вл. Крымов, издававший «Столицу и усадьбу»<sup>15</sup>, не мог пожаловаться на неуспех. Продавалась она нарасхват. Петербургские псевдоэстеты были в восторге от ее внешности, «роскошной» меловой бумаги, рекламных репродукций и столь же «роскошного» содержания, где разные «Юрочки» Беляевы<sup>16</sup>, Агнивцевы<sup>17</sup> и сам «редактор-издатель», нововременец второго разряда, изошрялись в одеколонно-парикмахерском снобизме.

Подзаголовок «Столицы и усадьбы» — «Журнал красивой жизни» — действительно не обманывал. Уже с объявления о подписке «красивая жизнь» властно вступала в свои права: «Контора: в лифте на четвертый этаж. Редакция — Каменный остров, собственная вилла!»

Знамение времени: в гостиных и кабинетах светских петербуржцев, где теперь искренне наслаждались этим, с позволения сказать «художественным», изданием, в 80—90-х годах лежал замечательный сомовский «Вестник изящных искусств»<sup>18</sup> — предтеча «Старых годов»<sup>19</sup>. Теперь же «Старые годы», шедевр вкуса и знаний, расходился в ста эк-

землярах и существовал исключительно благодаря меценатству Вейнера. Тут уместно напомнить о трагической судьбе этого большого знатока искусства. Еврей по крови, он — большая редкость! — окончил Александровский лицей. И за эту «привилегию», которой очень гордился, заплатил жизнью: расстрелян большевиками как «глава» фантастического «заговора лицестов».

\* \* \*

Каменноостровский соединил Марсово поле с островами. Лучшего сочетания для гармонического расширения столицы нельзя было и придумать. Все было заранее «дано» — только не портъ. Элегантно выгнутый Троицкий мост соединял оба берега в самом широком, самом царственном месте Невы. За мостом обширная Петровская площадь и за ней — прямая, как по линейке прочерченная, линия проспекта — петербургские Champs-Élysées\*!..

Но получилось не Champs-Élysées, не новый Невский, а какой-то средней руки берлинский «Dammt»\*\*, вдобавок еще в отличие от этих Dammt'ов, как кишка, узкий. «Каменные нечистоты» — выражение Марселя Пруста — запаковали места, которые должны и могли бы стать одними из красивейших в столице.

Слева, между Петропавловскою крепостью и Кронверкским садом, вырос скульптурный ублюдок — памятник миноносцу «Стерегущему». Два бравых матроса с сусально-героическим выражением лиц стоят в натянутой позе натурщиков у открытого кингстона, из которого «бурно хлещет» бронзовая вода. На другой стороне площади — ее хуже. Рядом с очаровательной старинной церковью, вперемежку: «дворец» Николая Николаевича — серый цементный ящик, недоброй памяти кружевная, плюгаво-роскошная дача Кшесинской<sup>20</sup> и позади их, поодаль, всех цветов радуги... мусульманская мечеть — не нашлось для нее другого места! И все это, именно вперемежку, вкось и вкривь, как чемоданы на вокзальном перроне...

\* \* \*

Мне могут возразить: ну, так что же? Разве все это мешало Петербургу оставаться одной из прекраснейших столиц мира? Ведь уродовали и продолжают уродовать на все лады тот же Париж, к которому, кстати, и относится саркастическое выражение Марселя Пруста о «каменных экскрементах». Ведь все это не касается сути, а лишь наносные неудачные подробности, на которые и внимания обращать не следует.

Согласен. Петербург не изменился от этих «неудачных подробностей» и безвкусиц. Он остался по-прежнему прекрасным. Но не обращать на них внимания все-таки трудно. Дело с Петербургом обстояло несколько иначе, чем с Римом, Лондоном или Парижем. Повторяю, Петербург был на всю Россию, столь же бескрайнюю, как и бесформенную, — единственным городом имперски-великодержавного стиля. Петербург как бы являлся доказательством, что Россия, возглавляемая *такой* столицей, перестала быть Скифией или Московией — т. е. гигантской деревней, что она раз и навсегда свернула с ухабов своей былой проселочной дороги на широкий имперский тракт<sup>21</sup>.

Так понимал значение Петербурга и *тот*, кто, его основав, «рукой железной Россию вздернул на дыбы», и *другой*, произнесший не в уп-

\* Елисейские поля (фр.).

\*\* Здесь: «проспект» (нем.).

рек, а в похвалу гению «саардамского плотника» эти слова. И поэтому каждый шрам пошлости, каждая болячка, безвкусица ощущались болезненно, как роковой симптом: «железная рука» разжимается, натянута узда слабеет...

\* \* \*

Смутное сомнение в стойкости и Петербурга и всей Петровской России зародилось одновременно с их основанием. И сомнение это вошло составной частью в русское мироощущение. Пушкин был только более — не по-славянски — сдержан, чем остальные. Но достаточно вспомнить «Медного всадника»...

Добро, строитель чудотворный,  
Ужо тебе...

Памятники и дворцы, колонны и золотые купола... Император, двор, гвардия, двуглавый орел со скипетром и державой в когтистых лапах. Одним словом, «красуйся и стой»...

Но фундамент всего этого великолепия? Достаточно ли он укреплен, чтобы выдержать огромную тяжесть гранитной глыбы с Медным всадником в лавровом венце? Рука царя простерта в историческую даль, лицо обращено к заливу, к западу, к «окну в Европу». Но под копытами вздыбленного коня вьется змея. Раздавлена ли она навсегда? Вопрос. А если только придавлена! Если, на самом деле:

...Царь змею раздавить не сумел,  
И прижатая стала наш идол<sup>22</sup>.

Если эта змея (косности? азиатчины? былого «черного передела» и «красного петуха»? «грядущего сталинизма?»), притаившись, ждет только случая выскользнуть из-под копыт

...И нашу славу и державу  
Возненавидеть до конца!

И тогда не «стоять и красоваться» — предстоит «блистательному Санкт-Петербургу», а быть ему «пусту».

Но — странное дело. Пока петербургская империя «стояла и красовалась», пока она расцветала и крепла — крепло и рожденное вместе с ней сомнение в ее будущем. И, напротив, когда она стала все быстрее и быстрее катиться к катастрофе — сомнение это начало бледнеть, улещиваться, исчезать...

Как раз перед самым концом и те, кто еще держал «по инерции» узду империи, и те, кто готовились перехватить — или вырвать — ее из ослабевших, неумелых рук, неожиданно прониклись какой-то оптимистической самоуверенностью. И трон Николая II и председательское кресло ненавистного царю «толстяка Родзянко»<sup>23</sup>, уже готовясь вместе провалиться в тартарары, — вдруг стали казаться тем, кто на них восседал, весьма устойчивыми. Ни «с высоты престола», ни с «высоты думской трибуны», ни из комфортабельных кабинетов главарей кадетской партии, ни из-за немытых стекол эсеровских конспиративных квартир не стало видно смертельной опасности, нависшей над ними всеми, всеми вместе взятыми. Враждую между собой, власть, легальная или полулегальная оппозиция и революционное подполье — в годы войны, в сущности, благодушно совпадали в ощущении «непоколебимой стойкости» и столицы и взнузданной ею навсегда «матушки России».

...Наши чудо-богатыри, разбив вероломных немцев, осуществляют «заветную народную мечту» — Крест над св. Софией — и все само собой уладится, войдет в берега, все станет опять как при «миротворце-роди-

теле»: «когда русский царь ловит рыбу», Европа — да и Россия, само собой разумеется, — «может подождать»...<sup>24</sup>

Или вариант того же самого, но либерально-оппозиционный: «...наши доблестные войска в дружном единении с великими демократиями Запада... исторические права России на проливы... Николая с царицей уберут. Михаил Александрович — конституционный регент. И все устроится, уляжется, все пойдет, как в Великобритании...»

Или же революционный вариант: «...освободившись от гнета самодержавия, свободный русский народ с удвоенной энергией... до победного конца... без аннексий и контрибуций... и все устроится: «хозяин земли русской» — Учредительное собрание, избранное прямым, всеобщим, тайным... провозгласит республику: Марк Вишняк<sup>25</sup> будет председателем Палаты...»

\* \* \*

Архитектурное совершенство Петербурга из года в год все больше искажал эклектический «разнобой», хотя город все еще продолжал оставаться чарующе прекрасным. Еще зловеще-быстрей шел процесс распада и дезориентации во всех областях духовно-общественной жизни столицы.

Бурный напор этой жизни нисколько не падал, напротив, он все увеличивался. Но, как и застраиванье Петербурга роскошной безвкусицей, — все эти лекции, диспуты, премьеры, «литературные суды» — ярко свидетельствовали, что Петербург не расцветает, а дегенерирует, свидетельствовали о непрерывном ослаблении и чувства меры, и эстетического чувства, и ответственности, и нравственного здоровья...

Театры были всегда переполнены. В большинстве из них, кроме казенных «императорских», шли «передовые» пьесы. В одном — «Черные маски» или «Анатэма»\*, где действовали «души до рождения», «некто в сером» и «некто в черном». В другом — «Ставка князя Матвея»\*\* , где этот князь, правда, «за сценой», но весьма натурально кого-то насиловал. В третьем — «Забава дев»\*\*\*, где распевались куплеты:

Лебедь, рыба, рак, осел  
Ищут все прекрасный пол.  
Ах, зачем же нам даны  
Лицемерные штаны!

В студии Мейерхольда — и актеры и актрисы играли с огромными лиловыми приклеенными носами. Журнал театрального искусства, издававшийся этим знаменитым режиссером, назывался — правда, по Гоцци, — «Любовь к трем апельсинам».

На ежедневно происходившие диспуты тоже ломилась толпа. Мест не хватало для желавших узнать «Куда мы идем?», «Виновата ли она?», «Любовь или самоубийство?», и т. д., и т. д. И так вплоть до остро шекочущего нервы зрелища на вернисаже выставки «Мира искусства». Там однажды нарядная публика «всего Петербурга», забыв о картинах, теснилась, напирая друг на друга, вокруг гладко выбритого элегантного господина с красной гвоздикой в петлице. Это был Борис Савинков, глава «боевой организации», заочно приговоренный к повешенью. Бесстрашие? Еще бы — и какое! Но можно ли представить себе в такой роли, скажем, Каляева? Невозможно! Так же, как нельзя вообразить Каратыгина играющим «князя Матвея». Или Льва Толстого, ведущего в «Религиозно-философском обществе спор о святости пола» с Мережковским и Розановым...<sup>26</sup>

\* Леонида Андреева (здесь и далее курсивом выделены примечания Г. Иванова).

\*\* Сергея Ауслендера.

\*\*\* Михаила Кузмина.

Кстати, как раз имя Розанова — пожалуй, самое характерное из прославленных «имен» предреволюционной эпохи. Были писатели более знаменитые широкой и всероссийской знаменитостью, но ни Леонид Андреев, ни Горький, ни Мережковский все-таки не имели розановского влияния и обаяния. Его одного постоянно называли гениальным. В книгах Розанова самые разные люди — особенно молодежь — искали и находили «ответы» — которых до него не нашли ни у Соловьева, ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у кого.

Безо всяких сомнений — Розанов был писателем редкостно одаренным. Но что, в конце концов, он утверждал? Чему учил? С чем боролся? Что защищал? Какие выводы можно сделать, прочтя его всего — от «Детей лунного света» до «Апокалипсиса нашего времени»? Ничего, ничему, ни с чем, ничего, никаких! Любая его книга с тем же талантом и находчивостью «убедительно» противоречит другой, и каждая страница любой из этих книг с изощренным блеском опровергает предыдущую или последующую страницу... Остается впечатление, как будто Розанов неизменно руководился советом одного из персонажей «Le gouge et le poig\*»: «Если вы хотите поражать людей — делайте всегда обратное тому, чего от вас ожидают». Но стендалевский «grinse Cogasoff\*\*», наставляя так Жюльена Сореля, имел в виду великосветских денди своей эпохи — занятие невинное. Розанов, пользуясь, как отмычкой, тем же приемом, овладевал и без того почти опустошенными душами, чтобы их окончательно, «навсегда» опустошить. Делал он это с поразительной умственной и литературной изобретательностью. В этом и заключался, пожалуй, «пафос» розановского творчества — непрерывно соблазнять, неустанно опустошать. Он был, повторяю, большим талантом и искусником слова. Но и был настоящим «профессионалом разложения» — гораздо более успешно, чем любой министр... или революционер, подталкивающий империю к октябрьской пропасти.

\* \* \*

...В семнадцатом году, еще не понимая,  
Что с нами будет, что нас ждет,  
Шампанского бокалы поднимая,  
Мы весело встречали Новый Год<sup>27</sup> —

тот самый год, о котором пророчествовал Лермонтов:

...Настанет год, России страшный год,  
Когда царей корона упадет...<sup>28</sup>

Обыкновенно люди не ценят того, что им дано, — банальное —

Что имеем, не храним,  
Потерявши, плачем.

Но кому выпало счастье жить в «волшебном городе на берегах Невы», ценили его, гордились им и любили его —

Любили, как еще любили...<sup>29</sup>

Анна Ахматова, сжимая тонкие руки под своей знаменитой «ложно-классической шалью»<sup>30</sup>, читала взволнованным, хватающим за сердце голосом:

...И ни на что не променяем пышный,  
Гранитный город славы и беды,

\* «Красное и черное» (фр.).

\*\* «князь Коззав» (фр.).



Широкие, сияющие льды,  
Торжественные черные сады  
И голос Му—ы, еле слышный...<sup>31</sup>

Ни на что... Ни за что... отзывалось во взволнованных сердцах слушателей.

«Еле слышный голос Музы», поющей о неизбежной гибели и беде, с годами начинал звучать все явственнее, прозрачная тень грядущей катастрофы, ложась на дворцы, площади и сады, все зловеще и ширилась и сгущалась. Быть может, никто не слышал голоса Музы, не видел зловещей тени так ясно, как поэт, предостерегавший:

...О, если б знали, дети, вы  
Холод и мрак грядущих дней...<sup>32</sup>

Но пророческое предостережение казалось тогда только удачно найденными строками. «Дети страшных лет России»<sup>33</sup> не верили ему. Никогда еще жизнь не казалась такой восхитительной, скользкой, ускользающей, нигде не дышалось так упоительно, так сладостно-тревожно, как в обреченном, блистательном Санкт-Петербурге.

...И этот воздух смерти и свободы,  
И розы, и вино, и холод той зимы  
Никто не позабыл, е, я уверен...<sup>34</sup>

В те последние зимы

...От легкой жизни мы сошли с ума...<sup>35</sup>

Да, несмотря на предчувствие гибели или, может быть, именно от этого предчувствия. Ведь

...Все то, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы насажденья...<sup>36</sup>

Очнулись только

...В черном бархате советской ночи...<sup>37</sup>  
...В трезвом, беспощадном свете дня...<sup>38</sup>

— советского дня.

В Петербурге мы сойдемся снова,  
Словно солнце мы похорнили в нем.

Или, говоря не столь поэтически, словно в нем мы потеряли все, для чего стоило жить.

Петербургца Осипа Мандельштама, обещавшего нам это свидание, давно нет. О его трагической смерти известно только, что он выбросился из окна, чтобы избежать «окончательной ликвидации».

Словно звезды, встают пророчества,  
Обрываются, не сбываются...<sup>39</sup>

Не сбылось и это пророчество.

И все же —

Бывают странными пророками  
Поэты иногда<sup>40</sup>.

И слова поэтов иногда заключают в себе магическую силу. А вдруг это пророчество Мандельштама все же сбудется и

В Петербурге мы сойдемся снова?

Но кто же сойдется? Призраки? Ведь

Все, кто блистаэ в тринадцатом году,  
Лишь призраки на петербургском льду...<sup>41</sup>

Если не все, то почти все. Из всех блиставших тогда поэтов жива только одна Ахматова да еще... Я чуть было не закончил — и пишущий эти строки, — но вовремя спохватился. Ведь сказать «я блистал» так же невозможно, как «я кушал». Известно, что глагол «кушать» спрягается так: я ем, ты кушаешь, вы кушаете...

Впрочем, «Пушкин — наше все», Пушкин, не только самый великий, но и самый петербургский из всех русских поэтов, дал нам пример обращения с этим неудобным глаголом:

...Онегин, добрый мой приятель,  
Родился на берегах Невы,  
Где, может быть, родились вы  
Или блистали, мой читатель.  
Там некогда гулял и я... —

значит, как глагол «кушать», так и глагол «блистать» спрягается своеобразно: я гулял, ты блистал, он, она, они блистали.

Заканчиваю свою фразу: из всех поэтов жива только блиставшая в Петербурге Анна Ахматова и когда-то гулявший в нем — я...

Да, как это ни грустно и ни странно — я последний из петербургских поэтов, еще продолжающий гулять по этой становящейся все более и более неудобной и негостеприимной земле.

Впрочем, если бы она и не была так негостеприимна и неудобна, вряд ли что-нибудь существенно изменилось бы для меня без Петербурга, вне Петербурга:

...Быть может, города другие и прекрасны,  
Но что они для нас? Нам не забыть, увы,  
Как были счастливы, как были мы несчастны  
В волшебном городе на берегу Невы...<sup>42</sup>

## Примечания

<sup>1</sup> Г. Иванов использует цитату из «Медного всадника» А. С. Пушкина.

<sup>2</sup> Цитируется стихотворение Н. А. Некрасова «В столицах шум, гремят витни...» (1858).

<sup>3</sup> Цитируется пушкинское «Послание к цезарю» (1822).

<sup>4</sup> Намеренно неточная автоцитата из стихотворения «В пышном доме графа Зубова...» (сб. «1943—1958. Стихи», Нью-Йорк, 1958).

<sup>5</sup> Цитата из «Медного всадника» А. С. Пушкина.

<sup>6</sup> Г. Иванов цитирует стихотворение И. Анненского «Петербург» (1910).

<sup>7</sup> Цитата из стихотворения О. Мандельштама «Петербургские строфы» (1913).

<sup>8</sup> Г. Иванов цитирует стихотворение А. Блока (1912) из цикла «Пляски смерти».

<sup>9</sup> Неточная цитата из стихотворения А. Ахматовой «Сердце бьется ровно, мерно...» (1913) из цикла «Стихи о Петербурге».

<sup>10</sup> Неточная цитата из стихотворения О. Мандельштама «На страшной высоте блуждающий огонь...» (1918). У Мандельштама первые две строки: «На страшной высоте земные сны горят, // Звезда зеленая мерцает».

<sup>11</sup> Неточная цитата из стихотворения А. Блока «Все свершилось по писаньям...» (1913) в цикле «Жизнь моего приятеля».

<sup>12</sup> Неточная цитата из стихотворения А. Блока «Она, как прежде, захотела...» (1908).

<sup>13</sup> Из стихотворения А. Ахматовой «Призрак» (1919).

<sup>14</sup> Автоцитата из стихотворения «Мне больше не страшно. Мне томно...», впервые опубликованного в нью-йоркском журнале «Новая жизнь» (1952, № 31), где в нем имелась третья, заключительная строфа, которую позже автор отсек:

... Я вижу со сцены — к партеру  
Сиянье... Жизель... облака...  
Отплывте на остров Цитеру,  
Где нас поджидала Че-ка.

<sup>15</sup> Журнал, издававшийся в Петербурге в 1909—1917 гг.

<sup>16</sup> *Беляев* Юрий Дмитриевич (1876—1917) — драматург, театральный критик, прозаик.

<sup>17</sup> *Агнивец* Николай Яковлевич (1888—1932) — поэт, в основном юморист, автор песенок. Наиболее известны его сборники «Мои песенки» (Берлин, 1923) и «Блистательный Санкт-Петербург» (Берлин, 1923) — неоднократно переиздавались.

<sup>18</sup> Название журнала, видимо, дано неточно.

<sup>19</sup> Журнал, издававшийся в 1907—1916 гг. в Петербурге под редакцией Павла Петровича *Вейнера* (1879—1931).

<sup>20</sup> *Кшесинская* Матильда-Мария Феликсовна (1872—1971) — выдающаяся русская балерина. Фаворитка Николая II.

<sup>21</sup> Ср. сходные мысли в «Философических письмах» П. Я. Чаадаева.

<sup>22</sup> Неточная цитата из стихотворения И. Анненского «Петербург».

<sup>23</sup> *Родзянко* Михаил Владимирович (1859—1924) — один из лидеров партии кадетов, председатель III и IV Государственной Думы.

<sup>24</sup> Подлинный афоризм Александра III.

<sup>25</sup> *Вишняк* Марк Вениаминович (1883—1976) — литератор, эсер, секретарь Учредительного собрания; в эмиграции — один из редакторов журнала «Современные записки» (Париж), где часто печатался Г. Иванов.

<sup>26</sup> Д. Мережковский вместе с В. Розановым активно участвовал в деятельности «Религиозно-философского общества»; в эмиграции к кругу Мережковского был близок Г. Иванов.

<sup>27</sup> Г. Иванов цитирует собственное стихотворение «В тринадцатом году, еще не понимая...» (сб. «Розы», Париж, 1931), сознательно искажая первую строку.

<sup>28</sup> Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Предсказание» (1830).

<sup>29</sup> Цитата из стихотворения А. Штейгера, которое представляется необходимым привести полностью:

У нас не спросят: вы грешили?  
Нас спросят лишь: любили ль вы?  
Не поднимая головы,  
Мы скажем горько — да, увы,  
Любили... как еще любили!...

(сб. «Дважды два — четыре», Париж, 1950).

<sup>30</sup> Имеется в виду стихотворение О. Мандельштама «Ахматова» (1914).

<sup>31</sup> Цитата из стихотворения А. Ахматовой «Ведь где-то есть простая жизнь...» (1915).

<sup>32</sup> Цитата из стихотворения А. Блока «Голос из хора» (1910—1914).

<sup>33</sup> Цитата из стихотворения А. Блока «Рожденные в года глухие...» (1914).

<sup>34</sup> Автоцитата из стихотворения «В тринадцатом году, еще не понимая...»

<sup>35</sup> Первая строка одноименного стихотворения О. Мандельштама (1913), в последних строках которого дан «портрет» самого Г. Иванова.

<sup>36</sup> Неточная цитата из «Пира во время чумы» А. С. Пушкина.

<sup>37</sup> Цитата из стихотворения О. Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова...» (1920).

<sup>38</sup> Неточная цитата из стихотворения А. Блока «Перед судом» (1915).

<sup>39</sup> Автоцитата из стихотворения «На границе свега и таянья...» (сб. «1943—1958. Стихи»).

<sup>40</sup> Начальные строки одноименного стихотворения М. Кузмина (сб. «Глиняные голубки», 1914).

<sup>41</sup> Автоцитата из стихотворения «Январский день. На берегу Невы...» (сб. «Розы»).

<sup>42</sup> Г. Иванов цитирует собственное стихотворение, опубликованное им лишь раз в 1924 г. — «Как осужденные, потерявшие души...» (1924). В раннем варианте было: «В туманном городе на берегу Невы».

Публикация, подготовка текста, примечания  
Евгения Витковского

### Анатолий Курчаткин «ПЛАЧ ПО СОЦИАЛИЗМУ»

Минувшим летом, на пороге осени, возвращаясь из поездки в Санкт-Петербург обратно в Москву, в коридоре около закрытой двери купе, где укладывалась на ночь чета иностранцев, я разговорился с другим своим попутчиком, симпатичным рыжебородым человеком лет тридцати пяти, оказавшимся директором школы в одном из окружающих бывшую невшскую столицу районных городков. Он ехал в Москву в свое министерство как возможный автор учебника по той научной дисциплине, которую преподавал, — во всяком случае, с издательством был уже подписан договор, и оставалось утрясти какие-то мелкие детали, — директором школы он стал в возрасте, в каком директорами в городских школах становятся весьма нечасто, на самой еще заре перестройки, а кроме того он был евреем по паспорту, то есть, если б не перестройка, уж точно бы не стал директором в означенном возрасте, — в общем, лично ему перестройка и последовавший за нею период реформ не просто не принесли никакого худа, наоборот, одно добро. И однако же главное чувство, которое владело им, было чувство отчаяния, и он признался, что, вероятней всего, плюнет и на свою преподавательскую карьеру, и на договор с издательством и уедет. Да нет, не в деньгах дело, безо всякого вслух заданного вопроса с моей стороны сказал он, как бы подразумевая естественность такого вопроса и оттого — необходимость ответа. Хотя, конечно, прибавилось у него, жизнь в нищете не способствует радостному восприятию жизни.

Бессмысленность жизни, ее полная, абсолютная бесцельность — вот что было причиной того чувства отчаяния, которое владело моим попутчиком. Какой я активный был, вспоминал он время конца восьмидесятых, куда только ни успевал и чего ни успевал! А сколько хотелось сделать всякого в школе! Все отрезалось августом девяносто первого. Вернее, не самим августом, а тем временем, что наступило после августа, которое окончательно отформовалось в основных своих чертах спустя полгода, к весне девяносто второго, а август девяносто первого оказался как бы водоразделом. Мне нечего делать в этой новой жизни, говорил мой попутчик. Ну, напишу учебник. А для кого? Ради чего? Кого я буду воспитывать? К чему его готовить? Так мне все было ясно и понятно до августа девяносто первого. А сейчас: вроде бы победило *твоё*, но в действительности только «вроде бы». На самом деле и люди, у которых власть, которые решают, все везде прежние, и прежняя вся структура взаимоотношений между человеком и государственными институтами, такое ощущение, что просто сброшена как отмершая, ставшая ненужной, словесная кожа, змея обновилась, оставшись неизменной в своей змеиной ядовитой сути, какие человеческие приоритеты, какое новое мышление — нет того и в помине, а ведь ради этих приоритетов, для победы этого нового мышления, пусть даже не формулируя именно этими словами, и жил всю жизнь, жил — и, казалось, победил, а когда туман битвы рассеялся, вышло — проиграл. Но, признавая, что проиграл, не принимая нынешнее положение вещей, оказываешься как бы

В одном стане с противниками нынешней власти, всеми этими так называемыми красно-коричневыми, что для тебя невозможно, и в конечном итоге выходит, что ты не с теми и не с теми, тебя размальывает между этими двумя силами, как зернышко между жерновами, получается — для тебя нет места в этой новой жизни, на этой земле, по-прежнему такой же необъятной, как тогда, когда она гордо была одной шестой частью суши...

Этот ночной разговор в коридоре грохочущего поезда все не уходит у меня из памяти, все крутится и крутится в голове подобно кольцу магнитофонной пленки, и происшедшее в октябрьские дни в Останкино и Белом доме, результаты выборов 12 декабря только усилили его «громкость». А не дают ему исчезнуть из головы всякие другие подобные разговоры, не такие долгие и исповедально-горячие, порою обрывчатые, совсем скорые — обмен репликами, — но в сути повторяющие тот почти один к одному. «Почти» — потому что не каждому есть куда уехать и слово это — «уехать» — произносится в сослагательном наклонении, а вот в остальном — действительно все один к одному.

*Плач по социализму* — так бы я назвал это чувство отчаяния, в котором, как в щелоче, варится ныне громадная, если не бóльшая, если не подавляющая, как говорится, часть подкоммунистического российского общества. И сердцевина этого чувства — вовсе не тоска по обеспеченному минимуму существования с гарантированной под занавес жизни жалкой «малогабаритной» квартиркой, о чем приходилось читать в хлестких статьях партийных публицистов «демократического» направления, а исчезновение из этой жизни МЕЧТЫ — именно так, все слово прописными буквами. Мечты, освящаемой всем обществом, мечты, признаваемой в той или иной модификации всеми его членами, мечты, движение к которой дает индивидууму ощущение смысла жизни, ее полноты, а достижение исполняет восторженной благодатью *восхождения* — подобной тому, что испытал всякий, поднимавшийся на какую-либо гору, пусть и весьма далекую по высоте от Джомолунгмы.

Человеческая жизнь без МЕЧТЫ — прах и тлен, суета сует и томление духа; без мечты, то есть без цели и движения к ней может жить лишь пустой и никчемный человек, дебил или преступник, законченный алкоголик или абсолютный вертопрах. Нормальному человеку жизнь без мечты — не жизнь, и случайно разве миру ведомо такое понятие, как «американская мечта»? Американская мечта: собственный дом, машина, счет в банке, а еще бы, лучше всего, собственное дело — мечта обывателя, убогая, приземленная, лишенная всякой фантазии, всякого полета чувств мечта, так, примерно, долгие и долгие годы писала советская пропаганда. И тут же, прямо или не очень прямо высказанная, соседствовала мысль, что вот мечта советского человека — высока по-настоящему: осчастливить все человечество. Что это, правда, такое — осчастливить все человечество, — конкретизации никогда не поддавалось, и хрущевская Программа КПСС отделилась совершенно невнятной формулой: «...все источники общественного богатства пользуются полным потоком».

Но между тем такое понятие, как «советская мечта», пусть и не названное подобным образом на манер американской, существовало. Этой мечтой были пронизаны все клетки советского общественного организма, и она оказывала мощнейшее воздействие на умы и чувства молодых людей, на всю жизнь советского человека.

*Жизнь по справедливости* — так, пожалуй, можно было бы сформулировать действительный смысл советской мечты.

Формула, выражаясь вульгарно, довольно резиновая, и если для человека из низов подобное подразумевало равномерное распределение общественного продукта, услуг и благ вне зависимости от общественного положения, то для чиновника из партийных или хозяйственных структур она же значила совершенно противоположное: раз на мне

большая ответственность, раз я больше затрачиваю психофизической энергии, то мне, по справедливости, и положено больше всяких благ. Для интеллигента, наблюдавшего непоправимое расхождение между выраженным как бы между словами духом мечты и ее практическим воплощением на деле, эта же формула означала торжество правдивого слова, торжество правдивого деяния, неотвратимость возмездия за ложь и преступление и неминуемость награды за праведность...

Советская мечта в отличие от американской действительно была невещественной, неконкретной — в общем, нематериальной.

Нематериальной — да. Но — материалистической.

Она потому и была такой нематериальной, что была материалистической, должна была заместить собой идею Божественного, опустить Небеса на землю и растворить их в земном, признав физическую оболочку человека равно источником всего и венцом. Но, кляня сейчас тот материалистический способ существования, который безвыборно был навязан советскому человеку, не должно забывать, что все это — лишь выраженное в своих крайних формах следствие всеобщего, всемирного процесса *оматериалистичивания* человеческой жизни, что столь явно наблюдается с середины восемнадцатого столетия, со времен всех этих паровых машин и обвала открытий различных физических законов. Надо полагать, сама идея социализма не вызрела бы в такой окончательной, «научной» форме, если бы не вытеснение Божественного из основ человеческой жизни, замена его, у кого на четверть, у кого наполовину, а у кого и полностью, материалистическим ощущением ее. И недаром американская мечта столь грубо материальна: она, по сути, та же самая материалистическая мечта, которая лишь, не в силах окончательно разорвать с Божественным, в ужасе от самой себя отшатывается, бежит в страхе от своей материалистичности и как бы рассекает бытие на две части: Богу — Богово, а кесарю — кесарево.

Наверное, потому возникший во Франции позитивизм сделался столь популярен в Америке. Наверное, потому в Америке так легко сосуществовают десятки и десятки разных церквей.

Возвращение церкви в жизнь советского человека — вовсе не такое простое духовное действо, каким оно видится многим и многим. Годы тотального всевластия материалистического толкования мира не прошли бесследно. Творящаяся в области Духа переместилась для советского человека в общественную жизнь, советский человек идет (если идет) в церковь, не имея в груди огня веры — пусть ослабшего, пусть еле тлеющего, как это есть в западном мире, — а лишь желая этот огонь обрести, лишь чувствуя, что без него жизнь становится пустой и холодной. Но, помимо воли, будучи человеком своего времени, он ждет от Духа воплощения в неких грубых, земных формах, он неспособен разделить Божественное и материальное, и в результате не получает земной цели своего существования, подставляет пригоршни — и они ничем не наполняются, погружает руки в неведомое, запретное до того богатство — и зачерпывает пустоту.

Разделение целей духовных и целей сугубо материальных для человека *оматериалистиченного*, познанного в своих основных физических законах мира — гениальная подсказка истории (если истории), избавление его от непосильного бремени, освобождение от недостижимого на земном пути, но с накинутаой вместе с тем на материальные, земные устремления человека прежней уздой Божественного: не укради, не убий, возлюби ближнего своего... Советский человек, утративший свою социалистическую мечту о достижении тотальной земной справедливости, мечту, соединявшую в себе цели духовную и физически-земную, оказался уподоблен путнику посреди внезапно прервавшейся дороги. Не расходящейся, разветвляющейся, а именно прервавшейся. Вот еще мгновение назад стелилась под ноги и убегала к горизонту, и вдруг —

на: чистое поле, бурьян дикой травы вокруг, и что ж теперь делать тебе с твоей жизнью?

«Делать деньги!» — услышал я как-то по телевизору от молодого, симпатичного советника российского Президента, только что ушедшего в отставку, много когда-то обещавшего, вспоминая его выступления на первых народных вече восемьдесят девятого года. Да-да, подтвердил он, почувствовав, видимо, недоумение журналиста, российский человек должен привыкнуть к тому, что, как раньше он строил коммунизм, так теперь должен делать деньги, мейк мани, как говорят американцы, ничего постыдного в этом нет.

Конечно, нет, если не отрывать эту формулу от тех целей, ради которых «делает деньги» гражданин Соединенных Штатов Америки: собственный дом, собственное дело, обретаемая независимость. «Мейк мани» — это средство, а не цель. Что, неужели того не понимал молодой, симпатичный, подававший когда-то такие большие надежды советник Президента? Судя по всему, не понимал. Как вообще не понимал того, что предлагать «делать деньги» бывшему советскому человеку, только что распростившемуся со своей поистине космической, спорившей с Небесным, земной мечтой, дававшей ему силы терпеть и ужду, и притеснения, и не просто терпеть, но и сопротивляться им, — это и безнравственно, и безответственно. Не в природе человека делать деньги. Для девятистот девяноста девяти человек из тысячи никогда не могло быть, не может быть и не будет целью «делать деньги». А тот один из тысячи, для кого это цель, смысл и сам воплощенный Бог, — всегда бывал нелюбим народом, да более того — отвратителен ему. Кровосос, кровопийца, живодер, живоглот, кулак — вот как звался этот человек, и данный синонимический ряд можно длить и длить.

Что же до реального (и реалистического) ответа на этот становящийся вечным российский вопрос — что делать? — нынешнее время, похоже на то, дать такого ответа не может. Не в состоянии. Переходность нынешнего этапа российской жизни, ее нестабильность не способствуют формированию общественной МЕЧТЫ. И оттого легко лишь тем самым пустым и никчемным людям — бери взятку, давай взятку, прожигай жизнь по ресторанам, куй деньгу и дави тех, кто слабее, — а таким, как тот мой попутчик из поезда Санкт-Петербург—Москва, каких большинство, которые основа общества, его твердь, его костяк, им тяжело безумно.

Ну, уедете, а что там, спросил я его. Чем лучше вам будет там? (До этого он сообщил мне, что собственно сионистских идей не разделяет и вообще жена у него русская, то есть дети его в Израиле не будут считаться евреями.) А буду домом обзаводиться, у меня энергии — на десятерых, торговать пойду, автослесарем могу, буду, в общем, жизнь свою так устроить, чтобы потом все, для чего жил, пощупать мог, ответил мне мой попутчик.

Налицо было не что иное, как несколько усеченная, неосознаваемая в своей первородности, но совершенно ясная в своем схематичном рисунке американская мечта. Та, видимо, единственно возможная для земного существования человека индустриального общества, что была давно уже нащупана людьми вне России и претворена в жизнь и к которой россиянин все добирается и добирается собственным опытом, а добравшись, вдруг приходит к ощущению, что на нашей бывшей одной шестой части суши осуществление ее невозможно.

Я не верю, что мне удастся в России то, к чему я сейчас стремлюсь, с безнадежностью сказал мой попутчик. В России сейчас можно быть или вором, или нищим, а я не хочу ни того, ни другого.

У меня не нашлось слов контрответа ему. Возможно, потому, что мое собственное ощущение творящейся вокруг жизни было не очень созвучно его лишь по той простой причине, что свое «собственное дело»

я всегда имел: ручка, машинка, стопка бумаги. А если б не это, то, действительно, как тогда жить?

И однако же большая часть россиян никуда не уедет, жить им и дальше здесь, на этой земле, в России, и проблема МЕЧТЫ — та насущнейшая, вопящая российская проблема, которая вбирает в себя с головой, не побоюсь сказать это, все проблемы экономические. Если такая новая российская мечта возникнет, начнет укореняться в народной толще, тогда и воз экономических тягот сдвинется с места — потому как волей-неволей и законы начнут приниматься под эту мечту, и чиновнику на эту мечту придется работать, — а если нет, не возникнет, не оформится, чем пока, и в самом деле, даже не пахнет, тогда Россию ожидают новые тяжелые испытания на прежней терновой дороге коммунизма. «Плач по социализму» — это не плач бывших партбоссов, лишившихся своих прежних привилегий. Они-то, что яснее ясного, за малым исключением все довольно успешно приспособились к новой, безыдеологической структуре нынешней российской жизни, приобретя взамен утраченных привилегий иные, новые; с социалистической мечтой не могут расстаться как раз наиболее честные, прямодушные, искренние люди, люди, усилиями которых, терпеливостью и крепостью которых держится общество, стоит государство, и в нынешней ситуации замутненности, бесцельности существования они легко становятся опорой новых беспринципных вождей, что выбрасывают лозунги, подобные по своей действенности большевистским в семнадцатом.

Народ, конечно, не стадо, которое, куда погонишь, туда и пойдет. Но слишком часто, свидетельствует история, в нетерпеливом, истерическом желании скорее выбраться на утоптанную ровную дорогу он выбирает первую попавшуюся под ноги. А то, что она ведет к пропасти, это узнается им слишком поздно. Когда уже *поздно*.

---

---



## **ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

*Вацлав МИХАЛЬСКИЙ*

---

---

### **АДРЕС РЕДАКЦИИ:**

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28  
Телефоны: гл. редактор — 235-15-56,  
редакция — 235-14-40

Технический редактор *С. М. Сурикова*

Корректор *Л. П. Яновская*

Подписано к печати 04.04.94 Рег. № 01872 от 10.12.92.  
Формат 70×108<sup>1/16</sup>. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.  
Физ. печ. л. 14,0. Тираж 3000 экз. Заказ 5607. Цена договорная

Производственно-издательский комбинат ВИНТИ,  
140010, Люберцы-10 Московской обл., Октябрьский проспект, 403



## SUMMARY

The issue 2 of the Soglasye is opened by Irina Muravyova's sketch «The pine-apples in champagne», a vivid and witty description of the soirée for the «new élite» in the Moscow Sovremennik Theatre.

A lyrical novel «In the Morning, In the Evening» is by Yury Karabtchievsky (1938—1992), a renowned prose writer of the «generation of the 60ies».

In this issue, we finish the publication of the novels «Turning to Casanova» by Vladimir Retzeptzer, a poet, essayist and actor, and «The Harlequin, or The Life of Vasily Kirillovitch Tredyakovsky» by Pyotr Aleshkovsky, a fascinating combination of history and adventure.

Anatoly Kurtchatkin, a prose writer and publicist, in his «mourning» over the grave of Socialist era in Russia suggests that it was not altogether black as it is depicted nowadays.

In the poetry section of the issue, the «intellectualistic» imagery of Svetlana Nasekina neighbours with Mikhail Tarkovsky's «earthen» songs.

We also continue our series of publications «Recollections. Documents». An essay «The Sunset over St. Peterburg» by Georgy Ivanov (1894—1958), a poet and literary critic of the «first wave» emigration, a friend of N. Gumilyuv, Z. Gippius etc., is also a mourning of an era in Russian history, the one previous to the catastrophe of 1917.

«CONCORDANCE»

«СОГЛАСИЕ», 1994, № 2

## РЕДАКЦИОННО–ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексий,

**А.М.Адамович,** Г.П.Алференко, В.М.Борисов,  
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,  
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,  
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,  
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,  
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,  
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,  
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,  
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,  
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,  
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,  
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,  
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,  
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,  
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков